ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ИГРА

МГНОВЕНИЯ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ИГРА

РОМАН

МГНОВЕНИЯ

МИНИАТЮРЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84Р7
Б81

Оформление художника

В. ЛЕРМОНТОВОЙ

Б $\frac{4702010200\text{-}337}{028(01)\text{-}87}$ 46-88

ИГРА

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В такси по дороге из аэропорта Крымов чувствовал недомогание, испарина выступила на висках, было душно, жесткий воротничок прилипал к потной шее, и он несколько раз опускал стекло с ожиданием облегчения, откидывался на заднем сиденье — тогда летний сквозняк, пропитанный теплыми выхлопными газами, обдувал его лицо.

Он смутно удивлялся праздному, казалось ему, многолюдству в эти утренние часы на улицах, на остановках автобусов, у дверей магазинов, видел еще нежаркий блеск солнца в листве, в стеклах витрин, а перед глазами каруселью вращались другие улицы, витрины, столики на тротуарах под тенью красных тентов, другие толпы, одетые в пестрое, цветное, другое солнце, знойное даже в раннее время. И эта сверкающая, чужестранная карусель высокомерно стирала, чем-то унижала скромность московских улиц, всегда грустно трогающих при возвращении из-за границы домой. Но неприятно было то, что в прошлые свои приезды он не ощущал такого болезненного удушья в горле, как будто подкатывали и застревали невылитые рыданья. Он не понимал, что происходило с ним, готовый смеяться над собой и презирать себя за сентиментальность, для которой не было причин.

Да что такое? Ведь все было прекрасно в этом гостеприимном Париже — шесть дней праздничной заграничной шумихи, ни к чему не обязывающих приемов, кондиционированных кинозалов, коктейлей, дискуссий, ночных шоу в кабаре со сладко-пахучим багровым полумраком, бархатными диванами, бледными женскими телами на сцене, а утром тщательное бритье, в завтрак две чашки кофе, придающих бодрость, просмотры фильмов и, наконец,—

почетный приз за режиссуру, неожиданный и ожидаемый. Все было на фестивале удачным и благосклонным, но от этих приятных и сумбурных дней за границей оставался вязкий привкус горечи и стыда, о чем не хотелось вспоминать.

Он закрыл глаза, стараясь настроиться на прежнюю московскую жизнь, на ее привычный ритм, где снова начнутся студия, худсоветы, подготовка к съемочному периоду, но почему-то раздражающее беспокойство нарастало, и он подумал: «Я вернулся раньше срока и два дня отдохну дома».

Но когда уже подъехали к дому на Ленинском проспекте, повернули во двор под ветви тополей, когда он вошел в каменную прохладу подъезда, в исцарапанную кабину лифта, затем увидел знакомую лестничную площадку и обитую коричневым дерматином дверь с кнопкой поющего в передней звонка, он не мог преодолеть томившее его чувство, сдавливающее горло слезами, и вынужден был, чтобы успокоиться, немного постоять на лестничной площадке.

Он позвонил четырехразовым звонком (семейный шифр), прислушался и позвонил вторично, ожидая услышать за дверью голос жены, дочери или сына, однако за дверью — тишина, в квартирной пустыне ползли невнятные шорохи: дома, по-видимому, никого не было.

«Счастливыми объятиями меня встречают любимая жена и любимые чада»,— подумал он, усмехаясь.

И открыв дверь своим ключом, втащил чемодан в переднюю, опахнувшую теплотой домашней пыли, и вдруг почувствовал, что все-таки ему нежданно-негаданно повезло. Да, он чертовски устал, и хотелось побыть одному, и помолчать, и полежать на диване в бездумной расслабленности, и полистать журналы, просмотреть газеты, пришедшие в его отсутствие письма.

Сбросив пиджак, он прошелся по комнатам. Ясно: семья уехала на дачу, окна во всей накаленной солнцем квартире были наглухо закупорены шторами. Всюду стояла спертая духота, кое-где на паркете, на коврах, на мебели лежали проникшие в щели штор солнечные нити, а в кухне с незанавешенным окном пахло горячей клеенкой, и счет за телефонный разговор, упавший на пол с тумбочки, пожелтел на солнцепеке, полузакрученный в трубочку.

Каждый раз, когда он возвращался из-за границы, было ощущение длительно прожитого вдали ненастоящего, придуманного игрой жизни периода, и ему надо было

в разговорах с друзьями освобождаться от чего-то коктейлеобразного, многоречивого, ресторанного, чем вынужден был заниматься некоторое время, теша честолюбие, наслаждаясь собственным любопытством.

И сейчас хотелось смыть с себя тяжкую и вместе игрушечную усталость от своих и чужих искусственных улыбок, интеллектуальной болтовни, парфюмерную сладость чужого туалетного мыла, в котором было нечто нарочито женственное, химический запах синтетики, пропитавший парижские кинозалы и номер отеля,— все, что было уже позади.

Холодный душ омывал его дождевыми иголочками, вода плескалась с весенним, свежим шумом. Дверь в ванную была открыта, и, казалось, морское эхо отдавалось в пустой квартире. Растираясь полотенцем, он босиком ходил по комнатам, голыми пятками по нагретому паркету и, еще не одеваясь, в столовой сказал вслух: «Ладно, все проходит и все пройдет»,— налил рюмку коньяка, выпил, колючая волна ожгла его, и стало как будто легче.

Потом он лежал на диване в кабинете, просматривал вынутые из переполненного почтового ящика журналы, газеты, разные приглашения на встречи, на выставки, разбирал письма, но не читал их, проглядывал лишь обратные адреса, надеясь встретить знакомую фамилию. И будто споткнувшись глазами, медлительно отложил на угол журнального столика голубоватый конверт, где резко бросился в глаза незнакомый официальный штамп «Главное управление Министерства внутренних дел», сразу вызвав у него скользкую тревогу.

«Значит, началось снова... вернее — все продолжается?» И помедлив, Крымов надорвал конверт, бегло прочитал, что ему, Крымову Вячеславу Андреевичу, надлежит явиться 12 июля к следователю Токареву по адресу: Петровка, 38, второй этаж, комната 200-я, имея при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. «Зачем второй раз? Мы уже встречались с ним на студии. Да, Токарев Олег Григорьевич, воспитанный, умный молодой человек с аккуратными усиками. Но что бы со мной ни было, я на Петровку не поеду, милый Олег Григорьевич, я не хочу, чтобы вы стали тенью того, что случилось».

Он в раздумье отложил повестку и начал проглядывать рецензию на фильмы парижского фестиваля, чувствуя

какую-то фальшивость принятого минуту назад решения и вульгарную искаженность в оценке своего фильма, наивное противопоставление «социалистической нравственности и душевной чистоты жестокости западных героев, внутренний мир которых напоминает пустую раковину».

«Ну и ловкие ребята наши рецензенты, только зачем этот жалкий примитив?— И Крымов сердито засмеялся, отчетливо вообразив мясистое лицо знаменитого американского режиссера, по происхождению выходца из России, человека талантливого и ядовитого, показавшего на фестивале потрясший всех фильм «Содом и Гоморра» о гибели сумасшедшего дома, что символизировало смерть человечества, утратившего милосердие.— Мой оппонент Джон Гричмар похохотал бы со мной вместе. «Чистота», «нравственность», «высота» — какие стершиеся слова, бог ты мой, взяли мы себе в доказательство и защиту, вооружились ими с ног до головы. Мы, избранники, невзирая ни на что, присвоили себе ангельскую непорочность, оставив все сатанинское за бугром».

Он уже с раздражением начал читать другую рецензию, где вновь замелькали назойливые фразы о сексе, патологии, безнравственности в фильме Джона Гричмара, и не дочитал до конца, отбросил газету, повторяя вслух:

— Кретинизм, черт бы его взял, кретинизм...

Они вместе получали премии, вместе приглашались на ленчи (два режиссера двух великих держав), каждый вечер встречались в баре отеля после просмотров кинокартин и, встречаясь, угощали друг друга виски и водкой больше чем надо (хотя американца перепить было невозможно), две ночи по приглашению Гричмара провели в клубах, всякий раз спорили о судьбах России, до взаимной неприязни разъединенные противоположностью позиций и в то же время чем-то объединенные — может быть, неутоленным любопытством одного к другому.

Вторая ночь в клубе была особенно изнурительна яростными спорами, чрезмерностью пития и зрелищ, а утром в вестибюле отеля перед просмотром он с больной головой листал на столике «Пари-матч», моля судьбу избавить его сегодня от коктейлей, туго завязанного галстука, от разрушительного яда рассуждений Гричмара и дать возможность передохнуть, бездумно побродить одному по вечерним улицам Парижа. Огромный вестибюль, не с французской, а с восточной роскошью застеленный тол-

стыми коврами, американское роскошество зеркал, широкие кресла, диваны, обитые красной синтетической кожей, движение фигур возле стеклянных дверей и конторки портье, приглушенные голоса, горькие и теплые запахи сигарет и духов — все было обычным для отеля, виденным Крымовым не раз в других странах, и он изредка скользил взглядом по знакомым и незнакомым лицам продюсеров и режиссеров, до гладкости выбритым или бородатым (два равно встречающихся в современном мире типа лиц), по неумеренно затянутым спортивным фигурам кинозвезд и неизвестных знаменитостей, прелестным, молодым и молодящимся со следами бессонной ночи в чересчур блестящих глазах. Но что-то мешало его привычной наблюдательности, то ли тяжесть в голове, то ли ртутная яркость в глубинах зеркал, и он видел одновременно всех в этом пространстве утреннего вестибюля, собравшихся после завтрака, и вдруг покрылся испариной, подумав, что все они вместе замечают его наблюдающий взгляд. Он перевел внимание на страницу в «Пари-матч» и в ту же минуту услышал их смех, снисходительно иронические фразы; они говорили о его невежливом любопытстве, с каким он не имел права разглядывать их, и тотчас почувствовал почти физическое прикосновение на своем лице. Он поднял голову от журнала и увидел, что кто-то из группы продюсеров и режиссеров смотрит на него со спокойной пристальностью, кто-то очень знакомый, с проседью, в сером костюме, человек, которого он не однажды встречал. «Я знаю его, но кто это? Кто?» И точно выныривая из давящей толщи воды, он стал постепенно узнавать прическу, лоб, седину в волосах, галстук, стараясь встретиться с человеком глазами, но именно глаза оставались в тени, оттуда неподвижно глядя в его сторону,— и с внезапно окатившим пòтом слабости, боясь, что задохнется сердце, он понял наконец, на кого похож был этот человек...

Несомненно, причиной галлюцинаций могло быть нервное перенапряжение, он слышал о разного рода стрессах у людей его профессии, но не знал, что подобное случается именно так. «Невозможно, глупости, чепуха! Дурман какой-то!» И тогда он встал, бросил журнал на столик и, возвращаясь к решимости военных лет, твердо и прямо пошел к этому человеку, стоявшему в толпе продюсеров. Но человека в сером костюме уже не было... На его месте стоял французский режиссер Клод Мелье, сухой, жилистый старик с подкрашенными куцыми ресницами; он

светски любезно поклонился Крымову, показывая еще влажные от туалетной воды, мастерски начесанные на плешь волосы. И Крымов тоже поклонился, выдавил любезно: «Бонжур, мсье»,— и, справляясь с неловкостью, прошел в конец вестибюля, к бару, где, как всегда, увидел за стойкой Джона Гричмара, обрадованно замахавшего рукой. Гричмар пришел в этот миг как спасение: «О, я рад тебе, Вячеслав!»

Через день нечто похожее повторилось в самолете, где, казалось, все заграничное, превышенно пестрое, ежедневно связанное с душевным напряжением, тратой сил, кончилось, и в полупустом салоне родного Аэрофлота с милыми стюардессами было светло, легко, слышалась русская речь... Было удивительно и то, что здесь, на девятикилометровой высоте, оказались две мухи, они ползали по стеклу иллюминатора, до золотистости освещенные солнцем, а по горизонту слепили застывшей курчавостью облачные торосы, и плоская равнина нижних облаков представлялась Ледовитым океаном, сквозь прорехи которого в немыслимой глубине едва виднелись затопленные подводные города, волоски дорог, темные леса.

Крымов смотрел на гигантские лохматые айсберги, на мух, ползающих по иллюминатору, и было весело думать о несоответствии величественной высоты, стерильной белизны облаков и двух путешественниц, залетевших в салон либо в Шереметьеве, либо в аэропорту Орли. Как? Для чего залетевших?

И подумав об этом несоответствии и неизбежном «зачем», увидел с наслаждением и особой ясностью самого себя чьей-то властью освобожденным от самолета, от его металлической материальности, от кресла, в котором сидел (но сохраняющим эту позу в воздухе), увидел себя летящим над белой пустыней, беспредельным сиянием облаков, омываемым ветром и солнцем.

«Я знаю, что со мной было,— уверял он себя, силясь объяснить свое состояние.— Была реализованная в моем сознании мечта. Мне всегда хотелось иметь летательный аппарат вроде одноместного вертолета. И иногда страстно хотелось в конце дня уйти от всех, подняться с земли, лететь без дорог, опуститься где-нибудь на сказочной поляне, угасающей под закатом, где лесная тишина смотрится в озеро... Но в связи с чем я подумал об этом? Тогда в вестибюле отеля я увидел самого себя — одинокого в толпе человека, хорошо одетого, умеющего творить чужие чувства, но лишнего за границей,— и мне стало не по

себе... Но чем объяснить, что я сейчас физически испытал давление воздуха в лицо, мучительное замирание в груди и полное освобождение от материального?..»

Стройно покачиваясь на каблучках сапожек, улыбаясь встречающей улыбкой, подошла стюардесса с подносом, на котором пузырилась в бокалах минеральная вода, спросила, не хочет ли он боржома,— она приблизилась к нему из светлого салона (вот оно, прекрасное, материальное в образе женщины), а он молчал, не спеша улыбнуться ей в ответ, слушать милый щебет, смотреть на это внешне совершенное молодое существо, знавшее, откуда он возвращается, и видевшее его фильмы. Все стало грубо реальным по сравнению с мукой томительного замирания в освобожденном полете над бесконечностью закрывавших землю облаков. Он отказался от боржома, попросил коньяку и отвернулся к иллюминатору. Этой замкнутости Крымов раньше за собой не замечал. Он на минуту прикрыл глаза, и в гуле, реве реактивных моторов почудился ему сатанинский вой, крик и плач жертв, духовые оркестры, смешанные с симфоническим крещендо. Крымов пытался уловить, запомнить какую-то определенную ноту, но громовая музыка ежесекундно менялась, нарастала до гигантского рыдания, гремела в уши, как угрожающий всему миру звук Вселенной, и он продолжал думать в полуяви: «Ирина... Все сместилось после ее гибели...»

А по стеклу иллюминатора ходили солнечные спектры, беловолосая стюардесса расстелила салфетку, по-прежнему улыбаясь юными губами, вновь спрашивала его о чем-то,— он не расслышал, равнодушный к еде и этой ее заученной улыбке. И тут мелькнула неожиданная мысль, что сейчас захлебнутся реактивные двигатели, самолет гибельно споткнется в воздухе и всей стальной массой начнет валиться вниз, падая с высоты.

Как страшно закричит она, эта стюардесса с юными накрашенными губами (никто их уже не поцелует никогда), и как страшно, дико, предсмертно закричит весь салон!.. «А я?— задумался он тогда.— Что сделаю я в тот момент? Буду ждать последнего удара и прощаться с жизнью? Я знаю только, что не буду кричать и молить о пощаде...»

Он поморщился, глядя на мух, ползающих по стеклу иллюминатора, и ему захотелось вернуть нарушенное счастливое состоянье — парение, как во сне, голубиным перышком на воздушных волнах, когда нет ни страха, ни обязанностей,— какое блаженство!

«Страх? Я подумал о страхе?»

Телефонный треск будто ударил его в висок, и он, стряхивая дремоту, вскинулся на диване, машинально потянулся к трубке на журнальном столике. И быстро отдернул руку — пока еще никому не было известно, что он вернулся в Москву, а первый разговор по телефону из дома — это уже быт, обязанность, забота. Ольга не знала, что он приехал на два дня раньше, поэтому не могла звонить с дачи.

И он снова лег, мечтая погрузиться в блаженное плаванье забытья, но повторный звонок заставил его снять трубку.

— Да,— тихо сказал он, ожидая услышать бодрый голос директора картины Молочкова, и поторопил, удивленный осторожным дыханием в трубке: — Да, я слушаю, говорите, не стесняйтесь, если уж набрали номер!

— Это я-а,— протяжно запел почти детский голос, засмеявшись.— Здравствуй, папа. Ты приехал? А я позвонила наугад — и неожиданно ты подходишь. Просто потрясающе! Мы на даче. По просьбе мамы я звоню тебе из автоматной будки возле пляжа. Она предчувствовала, что ты приедешь раньше. Я рада, папа...

— Танька, милый мой пес,— заговорил Крымов растроганно, с внезапной хрипотцой.— Я тебя не видел и не слышал целое столетие. Как вы жили без меня? Как мама?

— Мама? Потрясающе.

— В каком смысле потрясающе?

— Я думаю, что мама — самая терпеливая женщина в мире, но она очень скучала без тебя. Это по секрету. Не выдавай. Знаешь почему? Вечерами она сидела в твоем кабинете и читала... О ужас! — Она озорно завизжала.— Тут к автомату подошла целая компания за мной и монеткой стучат в стекло. Папа, я рада, и мы тебя ждем! Пока! Машина в гараже. Мы добрались на электричке.

— Передай маме, что я задержусь по делам в Москве, приеду завтра,— сказал Крымов и, слушая звуковые пунктиры в трубке, опущенной дочерью в неведомой автоматной будочке возле загородного пляжа, внятно ощутил вкус Ольгиных губ, вопросительный взгляд ее темных глаз снизу вверх, когда она подставляла губы при встрече, ее ласково-спокойное: «Ну вот и ты»,— и с неприязнью к себе подумал, что способен не говорить ей правду, скрывать то, что унизило бы ее, не виновную ни в чем.

И насильно взбадриваясь, он соскочил с дивана, раздвинул штору, раскрыл окно в солнечную искристость тополиной листвы, вдохнул асфальтовый жар городского дня. Лицо защекотал тополиный пух, летевший по всему юго-западу Москвы, поплыл в кабинете, и Крымов сдунул пух со щеки, подошел к зеркалу.

«Знаю ли я его? — подумал он иронически, рассматривая в зеркале усталого, седеющего человека с прищуренными серыми глазами, кровно родственного, близко знакомого и вместе с тем незнакомого, и вдруг вспомнил утренний вестибюль отеля, того, другого человека с несвежим лицом в толпе знаменитостей, праздного, хорошо одетого, чужого здесь, и содрогнулся от стыда, от бессмысленности шестидневного пребывания в Париже. — Что же это за дьявольщина? Кажется, я живу какой-то нереальной, косвенной жизнью. Хожу, ем, произношу необходимые слова, езжу за границу, получаю ненужные премии, а душой там, в том страшном июньском дне, когда погибла Ирина».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обычно Крымов входил в приемную уверенной походкой человека, знающего, что здесь, перед солидно обитой благородной кожей дверью, не пропускающей студийные шумы в недра директорского кабинета, его встретит неизменно приветливая, аккуратно причесанная секретарша, и в ее сопровождении он войдет в кабинет, уже издали обласкиваемый всплеском рук Балабанова, раскатистым возгласом: «Да кто это к нам собственной персоной!» — и, распространяя уважительную доброту, умиление, из-за огромного письменного стола выкатится жизнерадостным старым ежом Иван Ксенофонтович и распахнет объятия, точно готовый умереть тут же, на месте, от заблиставшего в его кабинете ослепительного солнца.

Но когда Крымов на следующее после приезда утро вошел в приемную Балабанова, выказывая секретарше обычную дружелюбную беспечность: «Как самочувствие, Ниночка?» — тотчас что-то новое ощутилось им в ее вялой ладошке, в пустоватом взоре поверх его головы, и было что-то новое в ее фразе, когда, не пропустив его сразу, она мгновенно скрылась за дверью: «Я сейчас узна̀ю». И через минуту, кивком приглашенный ею в кабинет, он почувст-

вовал, что ветер, должно быть, изменил здесь направление со дня его отъезда во Францию.

— А, заходи, заходи, парижанин! — проговорил грудным басом Балабанов, против обыкновения сидя за столом, не подымая ежеподобной головы от бумаг, которые вроде бы сосредоточенно читал, и рукой махнул на кресло против стола.— Прошу. С приездом. Остальные послезавтра прилетают? Н-да-с. Поздравляю с международным призом. Капитализм гнилой отметил, и слава богу. Пусть чихают и утираются. Ну а что раньше времени прискакал, Вячеслав Андреевич? Париж есть Париж: модные женщины, роскошные витрины, бары, кальвадос...— продолжал он гудящим голосом, углубленный в бумаги, прикрывая опущенными бровями крошечные глаза.— А ты раньше сроку! Неясно-с. Игривый город, игривый... Н-да-с!

И Крымов, увидев эту фальшивую занятость, равнодушное небрежение, чего даже в намеке нельзя было представить совсем недавно, сел в кожаное кресло и нетерпеливо поморщился при последней фразе Балабанова:

— Кто-то хорошо сказал о Париже: город городов...

— Бары, витрины, кальвадос — ребяческая сказка для взрослых дураков,— с досадой перебил Крымов, бросая недокуренную сигарету в чистейшую пепельницу на столе Балабанова, наполненную скрепками.— Вы, насколько я понимаю, серьезно заняты, Иван Ксенофонтович? Может быть, зайти, когда вы освободитесь от увлекательного чтения? Назначьте время — я подожду.

— Н-да-с, дорого куплен контрабас... Н-да-с, все мы дураки.

Балабанов раздвинул одутловатые веки и астматически задышал, засучивая рукава сорочки, как для борьбы, недовольно повел раскосмаченными бровями в сторону пепельницы, затем, словно дохлую мышь, взял двумя пухлыми пальцами окурок и бросил его в мусорную корзину под столом, поплевал на пальцы.

— Н-да-с, сожалею, бросил курить пять лет назад,— проговорил он напоминающе и в настороженной рассеянности пошевелил бумаги на столе.— Чем же мне обрадовать вас, многоуважаемый Вячеслав Андреевич? Очень хотел бы обрадовать, очень, но — чем?

— Ничем сверхъестественным,— ответил Крымов, еще не вполне догадываясь о причинах этой сухости и уклончивости Балабанова.— Раньше срока я приехал из игривого, как вы заметили, города только потому, что через

месяц начинаются съемки моей картины. Меня интересует сейчас главным образом только это,— договорил Крымов, подчеркивая нежелание подделываться под что-то неясное, сложившееся в его отсутствие, и, подчеркнув интонацией «только это», продолжал официально-любезным тоном:— Надеюсь, Иван Ксенофонтович, на студии не изменилось отношение к моему сценарию? Если изменилось, то в чем?

— Всею душою хотел бы вам помочь, всею душою...— Балабанов с опущенными веками перебирал скрепки в пепельнице.— Но... Неужто вы не понимаете?..

— Я хочу понять,— с тихой досадой произнес Крымов,— что вы решили с моей картиной, черт возьми?

— Н-да-с, позволю огорчить, к общему сожалению.— Балабанов опять астматически, свистяще задышал, засучивая рукава на бревнообразных волосатых руках.— Как вы можете, Вячеслав Андреевич, снимать картину сразу после таких трагических обстоятельств, вы уж меня извините?.. После гибели Ирины Скворцовой у вас нет главной героини. На грешную землю опуститься придется. Н-да-с, дорого стоит контрабас!

— Оставьте свои контрабасы, Иван Ксенофонтович,— сказал Крымов сухо.— Вы со мной неискренни. Я прошу объяснить, что произошло вокруг картины, и прошу не лгать мне и не водить за нос, с вашего разрешения.

«Почему я сказал «лгать»? С какой стати?»

— А я хочу заметить, что директор студии пока еще я,— выговорил Балабанов, плотно багровея, отчего седой ежик его волос рядом с малиновой багровостью широкого лба приобрел первозданный цвет выпавшего снега.— Не вы, извините, а я отвечаю за производство. И за вашу картину в том числе, Вячеслав Андреевич! Несмотря на вашу известность, которая, смею сказать, вскружила вам голову!— крикнул он толстым басом, все так же тревожно копаясь короткими пальцами в пепельнице среди скрепок.— А вы, как можно понять, не хотите нести никакой ответственности за свою картину, будто вам все позволено! Шалите, шалите, Вячеслав Андреевич, очень уж как-то!..

— Ответственность? Шалю?— пожал плечами Крымов.— Что за нелепость!

— А, не притворяйтесь и не наивничайте, Вячеслав Андреевич!— Балабанов отодвинул пепельницу, веки его наконец вздернулись, и оловянного цвета глаза поискали что-то на переносице Крымова, загораясь колючим огонь-

ком.— Я зависимый человек и, как бы я лично к вам ни относился, ничем не могу сейчас помочь, несмотря на ваши требования не лгать,— проговорил он оскорбленно и еще гуще побагровел.— Я сожалею... И сомневаюсь, что эту картину придется снимать вам. Это уже не в моей компетенции.

— Сомневаетесь? Почему? А в чьей компетенции?

— Вы отдаете себе отчет, Вячеслав Андреевич, что в связи с тем, что произошло в вашей съемочной группе, вам угрожает суд? Или вы считаете, что на вас, человека известного, не распространяются советские законы?

— То есть?

Он произнес это «то есть», и душное чувство стало надвигаться тоской, неумолимым рычажком поворачиваться в его душе, что началось после того рокового дня, когда, казалось, надолго приостановилось естественное движение жизни и он, Крымов, не скоро вернется к работе. Но перед отъездом во Францию состоялся часовой разговор с Балабановым, сожалевшим о происшедшем, скорбно сочувствовавшим, искренне заинтересованным в продолжении работы над фильмом, и эта исходившая теперь от директора студии сухая официальность, к которой он из осторожности прибегал нечасто, вызвала у Крымова усталое отвращение.

— По-моему, вы сказали — суд?— проговорил Крымов, выказывая притворное удивление.— За что же меня хотят судить?

Балабанов перестал копошиться в скрепках, раздраженно махнул лопатообразной ладонью.

— Позвольте вам доложить, Вячеслав Андреевич,— заговорил он, задыхаясь,— что и меня приглашали в следственную, так сказать, инстанцию... по поводу того невиданного... невероятного... Я говорю об этом трагическом... Об этом чрезвычайном деле...

— Выражайтесь немного определеннее, Иван Ксенофонтович. Я вас с интересом слушаю.

— Как выяснилось, Вячеслав Андреевич, вы были в интимных отношениях с трагически погибшей актрисой Скворцовой, потому и взяли ее на главную роль...

— Если это и так, то какое это имеет отношение к чрезвычайному делу, как вы изволили деликатнейшим образом выразиться?

«Странно — я опять вижу себя со стороны,— подумал Крымов, разглядывая щекастое, налитое кровью лицо Балабанова и вместе с тем немного затуманенно различая

в кресле напротив стола самого себя — свое лицо с тенями утомления под глазами, летний костюм, голубоватую, свежую, но ставшую влажной под мышками сорочку.— Сколько лет вот этому человеку с сединой в волосах? И похож ли он на внешне респектабельного убийцу своей любовницы, на героя какого-то детективного зарубежного фильма из жизни самовлюбленных интеллектуалов?»

— Вы повнятнее выразите, Иван Ксенофонтович, что конкретно вы имеете в виду?— повторил Крымов бесстрастно.— И вообще, что вы можете утверждать, не зная ровно ничего? Вернее, не зная ни хрена, говоря по-солдатски...

— Осторожней, осторожней!— выкрикнул Балабанов и затряс тяжелыми щеками.— Вашими делами сомнительного свойства, мягко выражаясь, занимаются другие организации, а я не желаю ими интересоваться! Что же касается вашего безнравственного поведения по отношению к водителю студийной машины Степану Гулину, то здесь...

«...то здесь он, как директор студии, сделает выводы. Впрочем, со стороны это и смешно и непостижимо: я ударил шофера! Интеллигентный человек... Но что бы сделал этот благоразумный Балабанов, когда она лежала без сознания на траве, а машины на месте не было? Что он, Балабанов, сделал бы, увидев кольца губной помады на окурках чужих сигарет, торчащих из пепельницы в дверце машины, прибывшей наконец через сорок минут? Испытал бы он ту ярость против шофера, куда-то уехавшего (вероятно, подвозившего дачников), когда она в это время умирала? Да, непостижимо. Но Балабанов — многоопытный лицедей. Должно быть, поэтому мне особенно неприятен его вибрирующий бас, краснота его лба и шеи, его ежеподобная голова и, главное, его ежиные глазки, которые он упорно прячет, сохраняя солидность, опасаясь посмотреть на меня».

— Вполне могу вообразить, как вы перестрадали в том серьезном учреждении, отвечая на вопросы. Приношу извинения за доставленные вам неприятные минуты,— насмешливо проговорил Крымов, глядя на неспокойно заелозившие брови Балабанова, и вновь увидел себя в затянутой туманцем дали: овал бледного лица, та же поза в кресле — и больно кольнувшее опасение впервые серьезно обеспокоило его: «Что же я — до предела устал? И не могу выйти из штопора? Так я пропаду».

Балабанов сказал густо:

— Вы правы, не испытывал удовольствия, отвечая на вопросы, н-да-с!

— Вы недоговорили: дорого стоит контрабас. Однако, надо полагать, ваши ответы не были одного только черного цвета. Поэтому я не спрашиваю, Иван Ксенофонтович, что и как вы отвечали. Я хочу другое знать: что вы решили с фильмом в дни моего отъезда?

— Сожалею. Снимать вы пока не будете.

— Что значит «пока»?

Крымов оттолкнулся от подлокотников и быстро встал с напряженностью, с секундной темнотой в глазах («О, как мне нехорошо, какая слабость!»), и тотчас перед ним — через стол — возникла неуклюжая фигура Балабанова, покатоплечего и толстого в поясе, всполошенно поднятого из кресла силой какого-то страха, смывшего багровость с его лица. И Крымов, дивясь смешной мысли, представил, как растерянно вскрикнул бы он и отшатнулся, опрокидывая кресло, этот осторожный еж Балабанов, если бы только одним пальцем погладить его сейчас по крупному носу, говоря: «Милый вы мой страдалец за истину».

— Извините, я, кажется, испугал вас,— сказал Крымов, насмешливым наклоном головы успокаивая Балабанова.— Во всех смыслах вы не сдерживаете свою буйную фантазию, и это вас далеко уводит. Так что же означает «пока»?— повторил он.— Пока, пока... Пока я не осужден, пока не в тюрьме, ответьте: кто принял это решение? Вы? Комитет по делам кинематографии? Посоветовало серьезное учреждение на Петровке?

Балабанов надел пиджак, висевший на спинке кресла, и, внушительно застегиваясь, затягивая, как корсетом, круглый живот, заговорил с придыханием:

— Я тоже прошу извинения, уважаемый Вячеслав Андреевич! Мне надобно сейчас уезжать. Но!.. Помилуйте!— И он сделал плачущее лицо, затоптался подле кресла, растопыривая руки.— Помилуйте, дорогой! Неужели после того невероятного, что произошло, вы еще надеетесь? Вы еще требуете? Вы еще иронизируете? Да вы по земле ходите или в небесах витаете? Да вы отдаете себе отчет, в чем вас обвиняют? Я ведь уважал и любил вас...

— Обвиняют?— холодно удивился Крымов и прибавил учтиво:— Благодарю за полуискренность последней фразы. Я отдаю себе отчет, что не вы решаете мою судьбу, Иван Ксенофонтович. Всего наилучшего!

«Какой бессмысленный, несуразный разговор! Зачем он был нужен?»

Перед отъездом на парижский фестиваль Балабанов пригласил Крымова к себе в кабинет, добродушно шевелил бровями, угощал чаем, настоятельно убеждая, что в данное время, кроме него, Крымова, послать к капиталистам некого, а ему после всего случившегося развеяться надо, и полезно на буржуазию поглазеть, и себя показать, и какой-либо приз наверняка в Москву привезти, на что надеются и он, Балабанов, и люди рангом повыше. Говоря так, он тыкал чайной ложечкой в направлении потолка, похохатывал, прихлебывал чай, и обычная его шумность, оживленное засучивание рукавов (точно нетерпеливое приготовление к важному делу) — все было знакомо Крымову не один год, все должно было свидетельствовать, что Балабанов добрый старикан, меценат, либерал со всем известной особенностью моментально багроветь и от удовольствия и от негодования, громогласно распекать подчиненных, что, в общем-то, не приносило вреда никому, ибо он не был любителем кляуз и интриг на студии, всякий раз сглаживая, заминая возникающие в съемочных группах обострения.

Но сейчас Крымов выходил от Балабанова с ощущением тупого разрушительного наваждения, обманной подмены прежней привычной реальности нелепой новой, еще полностью не осознанной им. А едва он переступил порог директорского кабинета, секретарша в приемной с непроницаемым лицом дернула плечиком, затем деланно ласково сказала кому-то солидному, длинноволосому, в замшевой куртке, сидевшему на диване: «Заходите, товарищ Козин!» — и тот, вскользь и озлобленно глянув на Крымова, поплыл к двери с достоинством оскорбленной знаменитости, которую заставили долго ждать.

«Экий глупец этот Козин»,— подумал Крымов, узнав режиссера с телевидения, неизменно льстиво-приветливого при встречах, расплывающегося в медовых улыбках и неузнаваемого теперь с этим пронизанным высокомерной злобой взглядом.

Однако более всего мучило потом то, что, по давнишней привычке быть безобидно дружелюбным, безобидно ироничным с коллегами, он по инерции кивнул Козину, и тут же со стыдом проклял свой кивок, вроде бы имеющий значение слабости, и даже приостановился в приемной.

— Не сердитесь на старого глупого старикашку, не поимейте обиду, о великие соплеменники! — сказал он ёр-

нически-умиленно, с монашеским истовым поклоном, ставшим почему-то в последнее время модным, как и сентиментальные мужские лобызания в актерской среде, и, робко, покашляв в кулак, ссутулясь, бормоча «чичас я, чичас», услужливым жестом лакея из пьесы прикрыл из коридора дверь, с удовольствием заметив при этом обмершие лица Козина и секретарши.— Клоун, паяц, грошовый актер,— сказал он вслух и засмеялся в полутемном коридоре, презирая себя за то, что было противно ему, но с чем не мог и не хотел сейчас справиться неизвестно почему. «Да что это за нелепое паясничанье! Как будто я в неуемной гордыне лишаю всех способности быть разумными людьми. И какой же второй человек во мне подсказывает эту игру, которая противна моей душе?»

Но, идя по коридорам студии в съемочную группу, попадая то в затемненные туннели коридоров, то в солнечные обвалы обильного света на стеклянных галереях, за которыми открывался студийный двор (а там над тополями стояло счастливое сияние летних облаков), он снова вспомнил день гибели Ирины, похожий на сегодняшний день жарой, блеском, зеленью. Тогда он тоже шел в съемочную группу, а она ждала его в комнате директора картины, чтобы поехать в Спасский монастырь на освоение натуры, где предполагалась съемка одного из эпизодов. В тот день он шел вот по этому коридору не сомневающимся в прочности всего земного человеком, и было у него утреннее, свежее настроение. Все складывалось удачно, обещающе, найдена наконец и утверждена актриса на роль главной героини, и съемки должны были начаться в августе.

Теперь в закоулках и переходах многочисленных коридоров ему поминутно встречались знакомые лица, одни будто бы случайно отворачивались с деловым выражением спешащих людей, другие, похоже было, здоровались неуловимым движением подбородка, иные жадно засматривали прямо в зрачки с остренькой неутоленностью любопытства, которое терзало многих, готовых и защищать и осуждать его за щекочущую нервы тайну смерти молоденькой и талантливой актрисы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Зимой она жила на Ордынке, у родственницы, но в начале лета переехала в простенькую гостиницу «Балчуг», сохранившуюся на Пятницкой, против старого моста через

Канаву. Это был уголок относительно тихий, замоскворецкий, где, мнилось, понемногу кончалось буйство центральных улиц с их бегущими толпами на переходах, нескончаемым сверканьем машин, грохотом, вонью выхлопных газов, очередями за мороженым и соком, переполненными до банной духоты кафе, людскими круговоротами на Театральной площади, в Столешниковом, на Петровке. Уже близ гостиницы узкие улочки по ту сторону Канавы напоминали бывший купеческий город некой обманчивой уравновешенностью, крошечными булочными с тюлевыми занавесками в витринах, старомодными зеркалами парикмахерских (опахивающих из дверей облаками «Шипра»), древними липами, еще оставшимися там, где раньше были заборы, арками ворот, голубятнями в заросших травой двориках. Эту часть Москвы с открытым небом, не всюду уродливо и прямоугольно загороженным американоподобными чужестранцами, Крымов снимал в довоенных эпизодах картины о сорок первом годе и полюбил скромный уют этих не полностью разрушенных переулков и тупичков.

Когда в один жаркий полдень он подъезжал к «Балчугу», то с радостью узнавания заметил и жидкую тень деревьев на сонной набережной, и сонную воду Канавы, и брызжущую радугу поливальной машины, недоумевая, зачем Ирина придумала встречу в гостинице, вероятно прожаренной солнцем в эти часы. Но, вспомнив ее по-детски вскинутую голову, уголки ее губ, приподнятые улыбкой, ее наивную театральную фразу: «Назначаю вам деловое свидание в «Балчуге», — он понял, что это игра, в которой ей интересно и приятно было его участие. И он согласился не без любопытства, и в вестибюле гостиницы молодой портье не остановил его, не спросил, к кому он идет, только кивнул приветливо, видимо предупрежденный ею, а когда на втором этаже дошел по малиновой дорожке до ее номера в конце коридора, сразу вообразил за дверью маленький номер, зеленый от лип за окнами.

— Пожалуйста, входите. Я с нетерпением жду. Но, к сожалению, без бального платья. Меня можно простить?

И он увидел в раскрытую дверь ее взгляд, устремленный ему в глаза с выражением веселой доверчивости, что обычно рождало и сложность и простоту в общении с ней.

— Не так ли встречались в добром девятнадцатом веке? — сказала она и сделала реверанс. — Здравствуйте, Вячеслав Андреевич!

— Возможно, и так,— шутливо согласился Крымов и не сдержался, легонько обнял ее, чувствуя, как она вздрогнула в растерянности, вся отдалась его рукам, опасливо прижимаясь к нему и, казалось, даже озябнув от этого объятия.— Каковы ваши намерения?— спросил он галантно.— И куда ехать прикажете?

— Я сейчас все продумаю и посоветуюсь кое с кем,— сказала она строго и отошла, коснулась носом зеркала и вздохнула.— Нет, нет, на бал, я думаю не стоит, рано. А не поехать ли нам в Австралию? Во-первых, там на каждом шагу чудесные кенгуру с кенгурятами...

— И как это ни странно, люди ходят вверх ногами,— сказал он улыбаясь.— Но, может быть, нам стоит заменить Австралию на что-нибудь отечественное? Сокольники, например. Побродим там, пообедаем, а потом поедем на студию. В три часа нас там ждут. Сделаем кинопробы. Кинематограф даже интереснее Австралии, Ирина, вот увидите.

— Хорошо. Согласна на отечественное. Без общества кенгуру.

Он долго не был уверен, что она даст согласие сниматься. В тот год была снежная зима, лютые морозы, метельные вечера в однокомнатной квартирке ее родственницы, уехавшей в Архангельск, и медленное узнавание, поражавшее его.

В один ненастный вечер он отпустил такси на углу, пошел пешком по Ордынке, закутанный с ног до головы метелью, еле видя впереди на тротуаре светлые пятна от окон, где вьюжную пыль закручивало спиралями, а вверху мимо скрипящих фонарей снег то плыл наискось, то проносился белыми волнами, и везде было ярое, хлещущее неистовство. А он шел, наваливаясь на ветер, и в нем подымалось ощущение физической полноты жизни, здоровья, непонятного умиления. Он позвонил, она открыла дверь, он снял в передней заснеженную, продутую стужей дубленку, возбужденно сказал:

— Зима.

Она вскинула глаза, в них промелькнуло выражение счастливого соучастия.

— Метель на улице, да?

— Метель.

— Снег кружит?

— Снег.

— Холодно, и, наверно, фонари... скрипят и качаются. Хорошо сейчас ехать куда-нибудь в поезде и слушать вьюгу, правда? А я вас очень долго не видела. Вы как будто вылезли из саней, и от вас пахнет степью.

И она прислонила ладонь к его холодной щеке.

— Но уверена, вы ни по кому не скучали. Пожалуй, забыли обо всем на свете на своей студии среди суеты.

— Суета была,— сказал он и невольно обнял ее, целуя в изгиб шелковисто-мягкой брови.

— Я хочу, чтобы вы не уходили сегодня,— прошептала она, отодвинулась с затаенным страхом, села на диван и по-детски погрозила пальцем ему, затем самой себе, смешливо говоря: — Спятили оба. Конец света.

Он тоже сел рядом, а она тихонько легла, вытянула руки, спросила загадочным шепотом:

— Скажите, в чем смысл жизни?

— То есть? В каком отношении?

— В торжественном.

— Вы думаете, Ирина, что кто-нибудь может ответить точно?

— Но ведь все-таки должен быть какой-то главный смысл в том, что происходит между вами и мной. Вы ведь меня не любите. Разве не так?

Она прикусила губу, и ее зеленые глаза незащищенно засветились лукавством.

— Нет, я не то спрашиваю. Скажите, неужели вам что-то интересно во мне?

— Ну вот...

— Вы не хотите ответить?

— Я сейчас шел и думал о вас, Ирина. Я думал, как вы иногда таинственно улыбаетесь. В улыбку Джоконды был влюблен Леонардо да Винчи...

— А вы?

— Обо мне и говорить нечего.

Она ответила ему откровенно радостной улыбкой.

— Нет.

— Что?

— Ничего не знаете.

— Что не знаю?

— У меня просто талант обаяния, и все.— Она боязливо обожгла глазами самые его зрачки.— Значит, такие, как я, вам нравятся? И наверное, вы хотите, чтобы я хотя бы ненамного была вашей женой? Или нет?

— Хочу. И не хочу. Вы — девочка из другого мира. Из другой галактики. С летающей тарелки.

— А вы руководите меня,— сказала она шутливо и с опаской отодвинулась от него: — Руководите, вы ведь всё знаете. Я подчинюсь немножко.

Они не были близки, и он наклонился, осторожно целуя ее сомкнутые щекотно-колкие ресницы, а пальцы его гладили, скользили по мягким волосам, по тонкой выгнутой шее, и тут он вдруг почувствовал ее слабые детские позвонки, робкие, стыдливые движения ее тела, и, охваченный пронзившей его жалостью, отдернул руку с желанием встать. А она, закрыв глаза, запрокинула назад голову, влажно белели сцепленные зубы, открытые ее полупечальной, полурадостной улыбкой; она прошептала:

— Наверно, так бывает, когда умираешь. Очень страшно...

Он видел ее непостижимое в своей влекущей изменчивости лицо, улавливал знобящий ветерок ее шепота, и на какой-то миг хотелось вообразить, что ему, вполне серьезному, опытному человеку, не пятьдесят с лишним лет, а она не моложе его больше чем в два раза, что он влюблен без памяти, как был влюблен в послевоенные годы в Ольгу, подчиненный наваждению, дурману, от которого невозможно было спастись. Но, обнимая Ирину, он почему-то испытывал охлаждающее состояние терпкого предела, виновато царапающую жалость.

— Ирина,— сказал он,— нам не следует, пожалуй, забывать о том, что мы рискуем оказаться смешными. Я говорю о себе, конечно.

Он сейчас помнил: в тот зимний вечер на Ордынке она, стараясь улыбаться, смотрела ему в грудь моргающими глазами, и в них пеленой накапливались слезы. Она молчала и молчанием как будто умоляла его о какой-то помощи, а он, чтобы заглушить ноющую муку неопределенности, говорил успокаивающе:

— Ну что вы, право? А то я тоже заплачу. Так и будем реветь оба.

— Меня любят собаки и дети,— неожиданно сказала она тихо, вытирая слезы кулачком.— Стоит на улице любой псине сказать: пошли, дурачина,— и она будет бежать следом. Я замечала на бульварах — дети подходят ко мне, как только посмотрю... А вы не любите меня, а жалеете. Любите вы совсем другое. Но я не марсианская женщина. Скажите, за что сильный мучает слабого?

И она заглянула в его зрачки своей лесной зеленью беззащитных глаз. Он, оглушенный ее горькой убежденностью, сказал в полушутку:

— Вы принимаете меня, Ирина, не за того, кто я есть, а за того, кем я не хочу быть.

— Все равно вы сильнее меня. Мужчина — царь природы, добытчик, защитник, а я — слабая особа женского пола, которая должна печь хлебы и рожать детей.

— Поэтому сильнее вы.

— Я-а-а? — протяжно спросила она. — Это серьезно или вы, как всегда, шутите?

— Да нет, конечно. Я сильнее. Во-первых, у меня стальная воля и я не могу видеть чужих слез, особенно когда плачет женщина. Во-вторых, когда бьют ребенка, я готов ненавидеть все человечество за его жестокость. Но чаще меня охватывает жалость ко всем и ко всему, и тогда я готов простить людям самые страшные прегрешения. И себе, конечно. Царь природы, лишенный власти и не желающий власти. Пока продолжается род человеческий, царица природы — женщина.

Она остановила его слабым движением бровей.

— Нет, я вижу вашу доброту и любопытство ко мне, к некой бедненькой и славненькой девочке из балета Большого театра, которая так хорошо начинала. И с которой случилось несчастье. Ах, как я не люблю, когда меня жалеют и сочувствуют: «Как же тебе не повезло, Иринушка!»

— Жалеют и сочувствуют? А так ли уж это плохо?

— Плохо... Я понимаю, какое несоответствие между нами. Между вами и мною. Вы уже много сделали. А я как будто взломала замок и вошла в чужую богатую квартиру. Но я любила танец с детства. И мне не нужно было ничего. Ни денег, ни славы, ни ценностей, ничего. Знаете... — Она опять посмотрела на него несмелым взглядом, и ее губы изогнулись в виноватой улыбке. — Знаете, я иногда очень сержусь за это на себя, очень... когда бывает не по себе.

— Я могу вам чем-нибудь помочь, Ирина?

— Мне — никак. Не нужно. Я справлюсь. У меня все хорошо.

— Значит, все хорошо? — повторил он.

— Абсолютно, — сказала она и захлебнулась слезами, прерывисто втягивая воздух носом, спросила сжатым голосом: — Слышите?

— Что? — Он обратной стороной пальцев вытер жаркие ниточки слез на ее щеках. — Ну зачем это?

— Слышите, какая тишина в доме? Метель... и какая тишина...

— Да бог с ней, с тишиной.

— Нет, нет. Тишина — это, знаете... какой-то странный звук, похожий на звук несправедливости и смерти.

— Вы еще ребенок, Ирина, и вам еще многое предстоит узнать.

— Думаете, я не знаю, что такое несправедливость? И неудача?

— Ответьте искренне: как вы живете, Ирина?

Но она уже молчала, слезы высохли на ее устало прикрытых ресницах, и подрагивали брови, точно в дреме она прислушивалась к чему-то сокровенному, недоступному ему, а он думал, что надо прекратить эту добровольную пытку, расстаться с этой милой девочкой, которая влекла его беспомощной хрупкостью, какой-то неразгаданностью своей жизни.

Каждый раз она встречала его то с открытым восторгом, то с серьезной взрослостью, глаза ее то влюбленно, то грустно лучились, и порой синие круги скрытого недомогания проступали под ними. Иногда, по-видимому не один час прозанимавшись у балетного станка, она лежала на диване, одетая в спортивный костюм, и, не вставая, печально улыбалась, рассматривала его лицо, но едва он пробовал заговорить, ладонью прикрывала ему рот, просила шепотом: «Не надо, давайте сегодня помолчим». Он не раз заставал ее в задумчивой рассеянности с книгой, погруженную в одиночество, отрешенную от всего мира. Иногда же ее охватывало ребяческое веселье, и она, оживленная, с блестящими глазами, тянула его на люди, в толпу, в Центральный парк культуры, к которому у нее была ребяческая привязанность из-за «чертова колеса» и «комнаты смеха», в загородные рестораны (чтобы случайно не встретить знакомых из театра), где учила его современному року, не стесняясь никого и привлекая общее внимание дерзкой молодостью, гибкостью, светлыми, почти белыми волосами.

И все-таки он не знал, как она жила и чем жила. Ирина никогда не напоминала о своей травме, не позволяла Крымову наблюдать за своей тренировочной работой у станка и, казалось, почасту занималась чем-то посторонним и лишним. Однажды он пришел на Ордынку в седьмом часу вечера и застал ее за необычным занятием. В спортивном костюме она лежала на полу, вокруг валялись справочники по тригонометрии, таблицы Брадиса,

листки бумаги, исчерченные углами и линиями, а она, подперев щеку, писала формулы в школьной тетради, то и дело восклицая:

— Косинусы, синусы! Гадость какая!

Он, развеселившись, спросил, что происходит в этом доме, она возмущенно ответила, что решает тригонометрическую задачу, которую когда-то по причине полной ненависти к формулам не решила на контрольной работе в девятом классе, и, ответив, сейчас же смешала листки, закрыла таблицы, хмуро покусала кончик карандаша.

— Контрольная по тригонометрии иногда снится мне как кошмар. Я хочу отделаться от него и не могу. А кошмар случился в день моего рождения несколько лет назад.— Она досадливо щелкнула пальцами.— Кстати, у меня сегодня торжество. Останьтесь. Увидите моих знакомых — актеры, художники, всякие милые хулиганы...

Эти «милые хулиганы» с криками, шумом, гоготом ворвались в квартиру Ирины в десятом часу вечера: целовались, вопили восторженные приветствия, кидая пальто и куртки на пол в передней, потом тесно заполнили всю комнату — худенькие девушки в брючках, молодые люди в толстых свитерах. Один низенький, черноволосый, с угольными глазами, сквозными от хмеля («Татарин, невообразимо талантливый художник»,— сказали Крымову позднее), просторно раскидывая руки, кричал: «Ира, Ириночка, свет души моей!» — и размахивал, дирижировал бутылкой коньяка. Его не слушали. Тогда он взобрался на стул и, изображая губами и горлом саксофон, завилял бедрами в диком танце.

— Ирка! Золотце ты наше! Поздравляю!..

— Затормози, Диас!— останавливал его кто-то ярым актерским голосом.— Тихо! Я хочу произнести тост! Тихо, банда! Абсолютная, химическая тишина!

Озябшие девушки в брючках протискивались, садились за стол, сразу словно бы разгромленный, залитый вином, засыпанный мокрым пеплом сигарет, молодые люди церемонно раскланивались перед Ириной, не обращая внимания на Крымова, только мужчина средних лет, рыхловато-полный, с косящим глазом (из расстегнутого воротника шерстяной рубахи был виден несвежий тельник), пожимая руку Крымову, сказал спотыкающимся голосом:

— Вас я где-то видел!— И пьяно качнулся, придвигая стул к столу.— Где-то...

— Мне тоже кажется. Где — не помню

— Абсолютная!.. Хим-мическая тишина! — гремел актерский яростный баритон. — Этот дом... в этом благословенном доме новорожденной мы можем оставаться до утра! Мы любим этот дом потому, что можем прийти в него в любое время суток! Да здравствует солнценосная, ура!.. Тихо, банда! Маляр Диас, заткнись! Дядя, дорогой дядя, вы потом расскажете, сколько женщин вы имели и когда!.. Тишина! Мертвейшая тишина! Я не досказал...

— Вы слышите? Вы их понимаете? Они орут на меня, — зашептал удрученно рыхлый мужчина с косящим глазом. — Вот этот татарин, очень своеобразный художник, работает в своей мастерской, родственники ему ее построили. Ухарь, видите ли, всадник, буян, но тронут цивилизацией. В генах небо, степь, ветер, под седлом кусок сырого мяса — вот что питает его талант. А этот Всеволод, луженая глотка, — актер, сын того, знаменитого из МХАТа... Слышите, как кричит! Мальчишка, а кричит!

— Дядя, в тельнике! Вы к нам присоединились в ЦДРИ, поэтому чужой, и — молчать! Кончайте разговор о женщинах, у вас много их было... Тихо! Тихо! Я читаю стихи! Я прочту стихи! Гениальный Блок! Слушать всем! «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне...»

— Слышите? — недоуменно зашептал мужчина с косящим глазом. — Они чего-то хотят...

— Чего именно? — спросил Крымов, оглушенный хаотическим шумом за столом.

— Чего-то они хотят, — заговорил мужчина обеспокоенно. — Мы с вами их не знаем — чего они хотят? Они чего-то хотят или вот так пропивают талант? Распыляют жизнь. Я сейчас скажу им, я все им скажу...

Он встал, нетрезво пошатываясь, теплая мешковатая рубаха его была обсыпана сигаретным пеплом, сизое лицо потно, губы подергивались.

— Молодые люди, мы в наше время... у нас была твердая цель, — проговорил он. — Мы страдали, но мы видели цель, мы знали... Мы ходили в лаптях, но мы...

— Дядя, садись! — перебил его актерский баритон с трагической значительностью. — Дядя, вы пьяны, но вы мудро сказали тост! Дядя, вы гений! Скажу только два слова: ге... ний!..

— Я хочу прочитать Гумилева! Всеволод, установи тишину!

— Диас, поставь бутылку! Кто пьет из горла?

— Они действительно милые, хотя и грубоватые хулиганы,— сказала Ирина на ухо Крымову.— Вы сидите сейчас в сторонке, тихо, как мышь, смотрите и слушайте. Это очень интересно. Они сейчас будут спорить.

— Хорошо, я буду сидеть, как мышь в углу.

— Я не мученик и не герой... Как назвать это? А?

— Не-ет, это хорошо, что он раскрылся, что он весь как на ладошечке. Он обнажился, разделся перед всеми. Эт-то стриптиз!

— Коля-а, а ты как относишься к евреям и русским?

— Ищу среднее.

— Ложь распространяют завистники.

— В каждой подлости есть наивность, так же как в глупой наивности — подлость! Но ты — завистник.

— В добре — тоже подлость?

— В беззубом, сюсюкающем, ясно?

— Абсолютная, хим-мическая тишина! Тих-хо! Кто хотел читать Гумилева?

— Я предлагал.

— Тих-хо, гангстеры! Где мои пистолеты с инкрустированными рукоятками? Гриша, читай Гумилева!

— Я хочу вам сказать, молодые люди! Гумилев после.

— Опять вы, дядя? Ну давайте, давайте говорите! Дайте сказать ему, банда! Слушать тост человека, который познал все страдания мира!

С угрюмым, уже вконец хмельным, малиново-сизым лицом, кося глазом, снова по-медвежьи поднялся рыхлый мужчина, сосед Крымова, и он внезапно вспомнил: его знакомили с ним лет десять назад на каком-то вечере в Доме актера как с сыном известного писателя, погибшего на Севере в тридцатых годах.

Тот всосался ртом в рюмку, выпил с жадностью.

— Древние говорили: торопись, но медленно! Это касается всех нас! А вы? Кто вы? Что вы знаете?..

— Мысль о смерти — страх перед смертью.

— Потребители жизни. Что вы знаете? Труднее всех на свете живется талантливому и честному человеку.

— Все твои уважаемые классики — сентиментальные вруны!

— Натан, как ты ко мне относишься?

— Я романтик, и это спасает меня от реальной оценки вещей. Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Прав тот, у кого больше прав.

— Циник.

— Откройте окно, пусть ворвется свежий ветер в эту накуренную комнату! Прекратите курить все!

— Диас продал пейзаж за пятьсот. Оформляет сейчас спектакль, кажется, на Таганке.

— Если работа — жизнь, то она наполнена до краев. Не хватает времени.

— Так что же — значит, ложь огромна, богата, сильна, а правда мала, ничтожна, бедна?

— Чепуха! Искусство — всегда метафора действительности.

— Самая лживая ложь охраняет и поддерживает жизнь всех правд человеческих!

— А бездарность всегда лжет!

— Не бесполезное ли это умствование?

— У нас шестнадцать процентов всех мировых запасов леса, двадцать процентов всей мировой воды, а бумаги не хватает!

— А что такое ложь — самозащита?

— А если ложь есть правда? А правда есть ложь? Не корчь рожу, сам умею!

— Тихо! Слушай сюда! Я прочту вам стихи Ахматовой! Божественные строки!

— Роза, как насчет твиста? Учти, я не способен. Диас! Гений! Изобрази губами что-нибудь про твист или шейк!

— А Всеволод на сцене умеет здорово хлопотать мордой. И голосом. Орет, как иерихонская труба!

— Знаешь, что такое критика? Автограф под собственным невежеством.

— А ты вот ушами хлопаешь, как дверьми! Подай бутылку, родной! Зафилософствовался!

— О ком говоришь? Кто бездарность? Ерунду заявляешь и даже не бледнеешь. О художнике надо судить по лучшей его работе! А не по худшей. Злые мы стали, завистливые до ненависти.

— Ты — о ком? Или уже вдребодан? О ком ты?

— О тебе. Тиркушка ты.

— Что за тиркушка? Офонарел?

— Птица такая. Малю-у-сенькая. Уживается с крокодилом. Разевает пасть, а она чистит ему зубы. Клювиком — раз-раз! После того как он сожрал кого-нибудь.

— О, как интересно — зло уживается с добром?

— В каком смысле это тебя интересует, Светланочка? В житейском или философском? Когда ты мне говоришь «нет» — это зло по отношению ко мне. Но ты считаешь это

добром по отношению к себе. Не так? Вот сейчас я хочу уйти с тобой в ванную...

— Прекрати глупить, Натан. Я серьезно.

— Зло, девочка, это то, что разъединяет людей, как бы злые люди ни были объединены. Это в философском смысле.

— А бог? Есть ли тогда бог? Куда он смотрит?

— Он смотрит на направление главного пути, а не на извивы человечества. Ты хочешь меня углубить, девочка?

— А может быть, истина и есть в этих извивах? Спроси у бога, Натан, где теперь любовь?

— Хочешь в философском смысле? Пожалуйста...

— В любом. Ты все затуманил. Говори так, чтобы тебя понимали.

— Изволь, дорогуша моя. В американском журнале «Плейбой» помню рисунок: ошарашенный вожделением карикатурный папаша сидит в кресле с сигарой в зубах, а возле него три обнаженные девицы. Подпись: разделение труда. Одна девица зажигает спичку, дает ему прикурить, другая возбуждает этого толстого хряка, а третья лежит в постели, ждет его. Здесь я способен понять и позавидовать. Ха-ха! Что касается правды или истины, то, пожалуй, лучше всего, чтобы тебя не понимали. Я хочу тебя — это понятно?..

— Ты смеешься?

— Света, пошли к дьяволу этого циника от философии! Я за свободу дискуссий! Поэтому не обижайся: чуши он тебе нагородил — лошадь не перепрыгнет. Наоборот: человек только тогда человек, когда боится умереть, только тогда он может познать свою ценность и ценность других. В этой слабости его величие. Не боится смерти только нуль, пустота, ничто!

— Троекратное ура мудрецу...

— Тихо, банда! Слушать сюда, когда говорят взрослые! Кто сказал «ценность других»? Архитектура? Позорище века! Стыдоба! Кривая дорога ослов! Не слушай их обоих, Светка! Единственное, что еще стоит чего-то... что еще объединяет людей, это любовь. Все остальное — полкопейки!

— Какая любовь? Любовь — талант, а я, возможно, бездарен в этом отношении.

— Н-да, господа, глупость нельзя отделить от нашего Всеволода, как причину от следствия. Гип-гип, я пью за причину и следствие.

— Погромче, Диас. Бормочешь чего-то...

— Говорю: все в живописи соцреализма идет от идеи, старик, цвет — лишь средство. Считай, что я рисую для себя, потому что уважаю идею самого цвета.

— И колорита?

— Я уважаю серебристый колорит.

— Кто — Всеволод талант? Или Натан? Не-ет, это планеты, а не звезды. Звезды — редкость, родной мой.

— Почему планеты?

— Отраженное... не свой свет. Кто мог быть, пожалуй, звездой из всех нас, так это Ирина. Но не стала, не повезло. Знаешь, как в жизни — все вдруг. Вдруг разрыв связок, и на год врачи запретили танцевать. Подожди, дай-ка я скажу тост. Всеволод, наведи порядок! Все галдят как сумасшедшие, не прорвешься.

— Тихо, банда, стрелять из бутылок шампанского буду! Тост! Химическая тишина, когда говорят великие журналисты, не разбойники пера, а борцы за правду!

— Дорогая Ирина, прелестнейшая и талантливейшая женщина нашего времени, мы все влюблены в тебя, и я хочу от всех нас, твоих друзей, сказать, что ты могла быть замечательной балериной...

Крымов, никого из гостей не знавший, оглушенный толчеей вокруг стола, криком, хохотом, спорами этой нестеснительной молодой компании, сидел на диване, в тени, ничего не ел, не прикасался к рюмке, понимая, что здесь он чужой, курил, наблюдал украдкой за безмолвной Ириной, за переменчивостью ее лица, которое в зависимости от направления спора становилось то веселым, то виновато-растерянным, потом, когда сухопарый длинный парень в очках, «великий журналист и не разбойник пера», стал произносить тост, лицо ее выразило страдание. Она вытянула из пачки Крымова сигарету, прикурила от его зажигалки, тотчас загасила сигарету в пепельнице и, подняв глаза на парня в очках, проговорила грустно:

— Милый, о чем ты говоришь? Все это неправда, все это слова, слова, от которых мне стыдно... И тебе потом будет стыдно.— Уголки ее губ тронула полупечальная улыбка.— Вообще все, что вы говорите, так далеко... и это, наверно, все не нужно, все лишнее. А мы лжем самим себе и уже не помним... мы забыли, кто мы есть. Мы — частички земли, крохотные частички и больше ничего. А мы перестали ее любить, потому что любим самих себя. Друзья мои, вы ведь любите только себя... Я не лучше вас, я такая же, но я не хочу лжи, не хочу обмана, не хочу слов, я хочу любить землю...

— Кого любить, дьявол-передьявол? — загремел иерихонский баритон актера. — Ты предала нас, Ира! Ты обманула нас, неверная!

Ирина сказала дрогнувшим голосом:

— Я никого не обманула, я хочу любить небо, землю... а может быть, потом — всех вас. Небо, землю и, конечно, горизонт, — повторила она с той страстной наивностью, которая делала ее и независимой перед всеми, и обезоруженной. — Да, я люблю горизонт.

— Где ты видишь горизонт, Ириночка? Чем ближе к горизонту, тем он дальше. Даже в любви его не догонишь! Каким образом, дьявол-передьявол, ты хочешь любить горизонт? Аномалия! Причуды амазонки! Патология!

— Пусть. Я так хочу, — кивнула она со своей неуловимой полуулыбкой и вдруг поднялась за столом, сказала внятно и по-прежнему независимо: — До свиданья. Мой день рождения окончился. Я никого не предала. Через неделю можете приходить ко мне в любой час дня и ночи.

А после того как гости разошлись, затихли голоса на улице, она в раздумье подождала в передней, погасила свет и, слабо темнея силуэтом, остановилась у окна, раздернула занавеску — там, за стеклом, в ветреной тьме над Замоскворечьем в ледяном холоде пылали зимние созвездия.

— Какие они все чужие, — сказала она. — Подойдите и посмотрите, — добавила она шепотом. — Как блестят изумительно!

Крымов подошел к ней и, по-новому чувствуя и ее беззащитность, и упрямую пружину сопротивления, не предполагавшуюся им раньше, подумал о том, что она умеет держаться на людях с какой-то спокойной, не обижающей твердостью.

— Я не понял, Ирина, кто — чужие? Ваши друзья?

Она, не отвечая на вопрос, проговорила тихо:

— Неужели все мы будем в прошлом? Были, надеялись, ждали... И Сократ и Чехов в прошлом. И Сафо и Анна Павлова. И миллиарды людей, что когда-то жили. И мы с вами будем в прошлом. Скажите, Вячеслав Андреевич, почему тогда люди делают не то, что надо? Они не чувствуют это?

— Когда вам разрешат танцевать, Ирина? — спросил он, не желая поддерживать ее настроение. — И могу ли я вам в чем-либо помочь? Простите меня за этот навязчивый вопрос, но мне хотелось бы...

— Я потерплю,— сказала она строго.— И мне не надо ни в чем помогать. Если вы еще раз скажете о какой-то помощи, то я рассержусь... Хотя я совсем не хочу на вас сердиться...

— Спасибо.

— Знаете что? Ваша жена — очаровательная женщина, и ее нельзя не любить, и я не хочу говорить вам лживые слова. А я не смогу быть женой и никогда не буду ничьей любовницей. Гадкое слово, противное... Пока вам или мне не надоест, мы с вами останемся друзьями. Вы согласны?

— Согласен,— ответил он с преувеличенной покорностью и спросил:— А если не секрет, чего хотят ваши молодые друзья? У них все хорошо? Или все плохо?

— У них, пожалуй, все хорошо. Но что значит хорошо? Они зарабатывают деньги. Но все они считают себя неудачниками, так как мечтали о мировой славе. Вы не замечаете, что в последние годы стало много самонадеянных неудачников? У них как будто все так, как надо. И какое-то несовмещение...

— С чем?

— Ну, с жизнью... Вернее, как бы вам сказать... Желаний с жизнью. Мы слишком многого ждали...

— И у вас тоже... несовмещение?

— Я разве сказала? И вам нравится жалеть меня?

Она повернулась к нему, на ее волосах чуть заметно проступал звездный свет, глаза были опущены, и в изгибе рта чудилось ему нечто упрямое, своевольное, детское. И он, осуждая себя за назойливость любопытства к этой упрямой девочке, проговорил:

— Знаю свою слабость — нетактичен и невежлив, как оглобля.

— Все имеет свое начало и свой конец, не правда ли?— сказала она.— Но мне никто не может помочь.

— Никто?

— Да. И вы не можете. Только я сама. Я должна постоянно говорить себе: «Ничего, мы еще повоюем...»

Она отошла от окна и села на диван, еле различимая в потемках.

Слово «повоюем» никак не соответствовало ее слабой улыбке, слабой тонкости ее рук и шеи, порой возбуждавшей у него безотчетное чувство опасности, которая, мнилось, угрожала ей поздними московскими вечерами, когда она одна возвращалась на Ордынку,— его воображение рисовало мрачные подъезды и на углах поджидающие

темные фигуры с жестким взглядом убийц, ее лицо, запрокинутое, мертвое, ее окровавленное тело, брошенное на цементный пол в закопченном, сыром подвале. Он так отчетливо чувствовал ее хрупкость и беззащитность рядом с грубой силой, что эти картонно-зловещие театральные картины возможной беды порой заставляли его звонить ей по вечерам, оправдывая звонки привычной иронией: «Я хотел проверить, соблюдаете ли вы режим».

— Верно, мы еще повоюем,— сказал он и сел возле нее на диван.— А если уж так, Ирина, делаю вам официальное предложение: я хотел бы, чтобы вы снялись у меня в фильме. Съемки начнутся летом. Признаюсь: год назад я видел вас в «Жизели» и сделал выбор, от которого трудно отказаться. Давайте попробуем, а?

— Нет,— прошептала она.— Никогда. Я не хочу разучиться танцевать.

Ранней весной она согласилась. Это было за два месяца до ее гибели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А тот летний день под Москвой был не совсем раскрытой тайной и для него.

Перед старым, сделанным из шатких жердей мостком, не способным выдержать «Волгу», шофер остановил машину, и отсюда, с берега, стали видны вдали низкие купола и белые стены Старого Спаса. Сначала они пошли тропкой мимо зарослей орешника, потом через зеленеющее кукурузное поле до опушки рощи, куда подымался горячий на взгорке древний проселок, должно быть помнивший лапти калик перехожих, покорную поступь молчаливых монахов, прикосновения босых ног разувшихся в дальнем пути богомольцев, хозяйственную припечатку купеческих сапог, и танец сапожек деревенских красавиц, и смиренную притомленность разного сана грешниц, ходивших сюда из Москвы спасать душу. И Крымов, подходя к монастырю, вообразил пекущий июньский день, потные под платками белые лбы этих столичных грешниц, скромно опущенные ресницы, серо-запыленные в покаянной дороге юбки, увидел до того реально, точно вчера сидел вот здесь, в тени придорожного вяза, на пахнущей влагой земле, слушая сонный плеск ручья под бугорком.

Проселок через рощу привел к невысокому храму, окруженному полуразрушенной стеной. Над разросши-

мися липами жарко горел в глубокой синеве золотой крест, и вместе с теплым воздухом, настоянным цветочной горьковатостью пересушенного сена, наносило сыровато-березовой плесенью дров, уложенных штабелем в бывшем монастырском дворе.

Да, во всем был разгар лета, ослепительность, синева, зелень, радостная густота листвы, и Крымов особенно чувствовал молодой блеск глаз Ирины, ее особенно живую, необычную отзывчивость и позднее, восстанавливая этот день в памяти, почему-то хотел подробно вспомнить и ту минуту около церкви, когда она задержалась подле паперти, где стояла под навесом липы кем-то оставленная тут детская коляска со спящими младенцами-близнецами, распаренными зноем (кажется, тогда она сказала: «Какие у них чудесные носики, какие смешные рожицы!»), а он спустился по ступенькам из слепящего полдня в холодноватый полумрак церкви, где две старухи в темных платках шептались на лавке у стены, клоня головы, молясь и время от времени по-деревенски опрятно утирая края губ.

В церкви Старого Спаса веяло студеностью каменного пола, тускло отблескивали фрески на стенах, под куполом, и было слышно, как в тишине летнего светоносного блаженства на заросшем монастырском дворике ворковали голуби. Крымов задержался у иконы богоматери, в озарении свечей взирающей неземными глазами на дела мирские, но, заслышав стук каблуков по гулким ступеням, обернулся. Проем входа был ярко залит солнцем полного июньского дня, как-то сладостно ощутимого из каменного подвала церкви, и он увидел в проеме неистового солнечного сияния ее фигуру, ее легкую юбку, пронизанную сзади золотистым светом, и древние гранитные ступени, по которым гибко ступала она, чуть покачиваясь. Он заметил, что старухи перестали шептаться, осуждающе повернули в ее сторону головы, а она приблизилась к иконостасу, приветливым взглядом здороваясь с ними. И Крымову стало весело оттого, что старухи осуждали ее молодость, приветливую невинную свободу, открытую этому дню, и взору святых, и скорбящей богоматери, и огонькам свечей. Он увидел поднятые глаза Ирины, как бы отделенные от лица, сияющие в полутемноте влажным блеском, и, сдерживая легкомысленное в храме желание улыбнуться ей, сказал, указывая кивком на икону слева:

— Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.

— Да, да, удивительно,— отозвалась она шепотом.

Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские врата под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах, о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.

Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине текла река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были когда-то тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря.

— Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика,— сказала она и легла на траву, ласково погладила ладонью цветы, затем повернулась на спину, мечтательно говоря:— Вот так бы лежать все время и смотреть в небо. Неужели оно было таким всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней...

— Где-то я читал: поблизости с полевой гвоздикой должна быть и ягода...— сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее колен.

Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом и, как по заказу, нашел вблизи землянику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. «Благодарю, поделим поровну»,— сказала она и, продолжая глядеть в небо, рассеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным памяти путям вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Идена, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах.

— Скажите, есть ли на свете человек, свободный, как ветер?— спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у его героини.

— Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения,— ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земного лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.

— Значит, мы с вами несчастливы,— сказала она разочарованно.— Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливцы...

— Почему несчастливы? И почему счастливцы?

— Я не о том,— поправилась она и нахмурила брови.— Я не смогу сыграть женщину, которая проклинает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите — есть бог? Я спрашиваю серьезно.

— Есть мировая гармония, по-видимому.

— Тогда почему существует зло? Объясните.

— Дерево растет в высоту — чего оно хочет? Молнии?

— Конечно, нет...

— Тогда, значит, красоты,— продолжал он с шутливой доказательностью.— Красота помогает подыматься в небо, к недостижимому. Или вернее — она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло врастает в землю.

— Нет.

— Почему?

— Вы говорите — красота. Но что это такое, в конце концов? Совершенная красота греческих статуй — скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность — боже, какая мертвечина! Нет, это не безупречность, нет! — договорила она страстно.— Красота — в пластике движения. Вот смотрите...— И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.

— Красота — это западня,— сказал он по-прежнему шутливо.— Прикоснулся — и она захлопнулась, и нет выхода.

— Чепуха, неправда. Всегда есть выход.

— Из этой западни нет ни у кого. Но я обобщаю рискованно. Здесь спасает чувство реальности и самоирония. И боязнь быть гостем на чужом пиру.

Она задумчиво посмотрела на него, заговорила с грустным непониманием:

— У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девчонку и говорите со мной, как со школьницей, с ученицей девятого класса? По-моему, вот уже полгода вы меня тщательно изучаете как режиссер. Скажите искренне — я действительно бездарная?

— Ирина, отчего вы вдруг?

— Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?

— Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?

— Не важно. Почему скромность стала уже как порок?

— Да в чем дело? Я озадачен...

— Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде...

— С вами что-то случилось?

— Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины, или танцовщицы, почти все глупенькие...

— Не все, ясно же,— сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения.— Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, часто идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головах... жалких два миллиметра отделяют нас от животного. А все остальные — пять миллиметров — инстинкты, инстинкты.

— Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.

— А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудновато и хлопотно. Говорить друг другу правду — иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем...

Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.

— Меня сегодня судили... и очень жестоко,— тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания.— Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они...

— Кто?

— Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.

— Простите, Ирина. Так что было около гримерной?

— Я случайно услышала: одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не пони-

маю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого?..

— О, завистливые страусихи, черт бы их взял! — выругался Крымов, не сдержавшись. — Самые грубые комплименты расточают только бесталанному гению, который не способен соперничать с ними!

— Вы не любите актеров?

Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам хвалы и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказываемому счастливо преуспевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопятся поздравить, в упоении толкаясь локтями («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности его и ее, презирающих и едва терпящих друг друга, но вынужденных по воле режиссера изображать на съемочной площадке влюбленную пару, — привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно-доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно разит их яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших, теперь обойденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб за ней следили каким-то всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, полувиноватая, полупечальная улыбка, ее стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замечаемое Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего среду неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждаемой славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта все же не позволяла пере-

шагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отрава ревности переставала изливаться на счастливца, едва он был утвержден на роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время — неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой невинной мечтой о возмездии, что обязано настигнуть заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис у гримерной, намеренно начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неуемной женской мстительностью.

— Пожалуй, вы должны были знать, что в искусстве властвуют в определенную пору две царицы,— сказал Крымов с досадой.— Это зависть к чужому успеху и ревность к чужим возможностям. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все.

— Работать? Я согласна. Только работать. Но, пожалуйста, посмотрите, как работают эти страшные люди. И всё в одни сутки. Письмо получила вчера. Сначала не хотела говорить вам... Но кто-то на студии, или даже все, меня терпеть не может. А я добра со всеми. Я не умею ссориться. За что же они? Ведь у меня горе. Я же восемь месяцев не танцую...

Она села, зубами покусывая травинку, прислонилась лбом к коленям, посидела так в задумчивости, потом, взглянув на Крымова вопросительно, достала из сумочки помятый конверт, сказала ломким голосом:

— Вот это. Я была бы не права, если бы не показала. Мне стыдно, что письмо касается и вас.

В конверте лежала записка, состоящая из нечетких и неровных машинописных строк (видимо, автор их не часто печатал на машинке), и Крымов прочитал:

«Многоуважаемая Ирина!

Извиняюсь перед Вами, не знаю, как по отчеству.

Ваша доброжелательница хочет предупредить Вас о том, что Вы поступаете, то есть ведете себя, неосторожно, можно сказать, заносчиво и вызывающе. Мало того что вся студия знает о Вашей бесчестной связи с режиссером Крымовым (он Вам, милая девочка, в отцы годится!), но Вы использовали свои женские чары молодости и заставили его дать Вам главную роль в фильме, к чему у Вас нет ни способности, ни призвания. Ведь Вы уже показали свою несостоятельность в балете. Поверьте, не Ваше это

дело искусство, а Ваше дело хорошо выйти замуж и быть красавицей для мужа.

Ирина! Умоляю Вас, будьте милосердны и разумны, оставьте в покое всеми уважаемого человека и не убивайте его жену, достойную женщину, которую Вы можете довести до гибели.

Умоляю, умоляю, опомнитесь!

Ваша доброжелательница, любящая Вас».

— Конечно, без подписи,— сказал Крымов сухо.— Скромный памятник зависти в эпистолярном жанре. Спаси меня, милосердный, от доброжелателей моих, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Послание почтенной корреспондентки весьма трогательно и требует самого искреннего и короткого ответа: к чертовой матери!..

Он решительно разорвал письмо, отбросил клочки в сторону, но тон фальшивого соучастия, похожего на мучительство, исходивший от неумело напечатанных на машинке фраз, и эта лицемерная защита его семейной чести пакостно царапнули в душе.

«Так кто же они, друзья беспощадные, которые ничего не прощают: ни молодости, ни чужой радости?» — подумал он, уже не удерживаясь в том блаженном летнем настроении, какое появилось в монастырском храме, когда Ирина из льющегося солнечного потока сходила по ступеням.

— Как же они меня ненавидят,— проговорила Ирина.— И вас из-за меня.

— Я режиссер и привык ко всему.

— А я не хочу, чтобы ваши несчастья шли от меня.

— В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада,— заговорил он спокойно.— Представьте, что я ваш Вергилий и проведу вас по этим кругам сравнительно безопасно. И стены Иерихона падут. Я верю в вас. Признаюсь, я долго присматривался. Вы всё сумеете.

— Нет,— сказала она.— Стены Иерихона не падут.

— Почему?

Она обхватила колени руками, положила на них подбородок, наблюдая горообразное облако с пепельными, точно подпаленными краями, заходившее из-за леса на том берегу, где за огнистыми вспышками реки везде тоже жгуче сверкало, струилось в жару пестротой зелени, бликов, густой тенью орешника, дремотным покоем перегретых лугов.

— Нет,— проговорила она, и строгая морщинка про-

легла у нее на лбу.— Вы мне ни разу не говорили — ваша жена знает, что я есть на свете?

— О вас она ничего не знает.

— Все в этом мире связано, Вячеслав Андреевич?

— Все. Или почти все.

— Хорошо.— Она протянула руку.— Помогите мне встать.

«Она боится неловко встать, вспомнила о травме связок? Именно сейчас она вспомнила об этом?»

И он стиснул ее хрупкие пальцы, аккуратно поднял ее с земли, она выпрямилась, задела его юбкой по ногам, но тотчас вслед за тем отступила на шаг, вскинула, страдальчески дрожа бровями, незнакомо улыбающиеся глаза.

— Что, Ирина?

— Простите меня... Я не буду играть в фильме,— сказала она.— Простите за то, что я подвожу вас и нарушаю планы. Я знала, что со мной плохо кончится. Я виновата, виновата, виновата. Перед вашей святой женой. Перед этими дурами — актрисами. Перед вами. Перед фильмом. Я уеду в Ригу к отцу. И так будет лучше. Для всех. Нет, пожалуйста, ничего не говорите!— заторопилась она и тут же, видя, что он готов прервать ее, и почему-то с улыбкой, кокетливо делая ему большие умоляющие глаза, в которых стояли слезы, повторила:— Я знаю, что вы скажете! Но я не передумаю. Так надо! Простите меня...

Порой чьи-то вскользь брошенные слова заставляли его бессонно ворочаться в постели, плохо спать ночью — он называл это сверхмнительностью, неврозом двадцатого века. Но то, что говорила она, не могло быть смягчено ни иронией, ни шуткой, этим утешающим оружием, с которым было легче жить. Он смотрел в ее кокетливо («Зачем?») расширенные, полные слез глаза, и его охватывало такой давно не испытанной растерянностью, такой новой болью перед ее покорным отступлением, беззащитной наивностью, которых он совсем не встречал последние годы, что ее насильственная сейчас и жалкая кокетливость, ее невыплаканные слезы показались ему мученическими. И Крымов, окончательно утратив недавнее благостное настроение, понял, что все планы со съемками на август полетели в тартарары. Он представил ее отъезд в Ригу как состояние еще не законченного действия, но выхода уже не было, и он произнес наконец единственную и вряд ли что спасающую фразу:

— Не делайте этого, Ирина.

— Спасибо. Я сделаю это. Я уже решила,— сказала

она, глядя исподлобья с виноватой осторожностью, и пошла вниз по тропке к реке, чуть покачиваясь в талии, не разгаданное и не познанное им существо.

Позднее, вспоминая, что произошло потом, он в бессилии думал, что был в тот день непростительно и эгоистически расчетлив, глуп, туп, а в это время безумие настигало их черным крылом на том холме неподалеку от монастыря Старого Спаса.

И ему чудилось, что когда они спустились к расплавленной зноем реке, некое бесцельное безумие было и в самом солнце, которое остро, паляще давило, угнетало, поднявшись в высоту, а туча, сгущенная до черноты, заходила и заходила из-за леса, стремительно расширялась, клубилась краями, тянулась в зенит, совершенно черно сбоку загораживая солнце, отчего монастырь на вершине холма разительно вспыхнул какой-то девичьей белизной. Крымову стало душно, на берегу тянуло жарким, парным, затем пошли, побежали темные полосы по воде, резко потянуло свежестью, и Крымов даже задохнулся от орудийного раската в поднебесье, от застучавших по лицу крупных капель и неясно увидел, как тот берег, река, небо слились в мелькающий ливневый мрак.

— Ох, как хлещет, как он хлещет!— услышал Крымов сквозь шум дождя ее голос.— А как хорошо, как хорошо купаться сейчас!

Они стояли под мостом, окатываемым струями дождя, звеневшего над головой по железу пролетов, его удивило это «хлещет», слово, явно пришедшее к ней в тот миг из детства, но более удивило другое, тоже бессмысленное, ненужное, безумное. Она говорила быстро: «Отвернитесь, не смотрите»,— и торопливо снимала с себя насквозь промокшую, потемневшую кофточку, юбку и, вышагнув из туфель, побежала по откосу вверх, на мост, оглядываясь с уже спутанными на щеках волосами и маня его рукой: «За мной, за мной, за мной!..»

Почему он не сообразил, не понял тогда, зачем она подымается к мосту, и почему не остановил ее? («Да так вот и не смог предупредить и остановить ее...») Раскаяние было запоздалым, бесполезным, отравляло его ожигающим душу ядом, но оправдываться было не перед кем и изменить нельзя было ничего.

И все-таки последние ее минуты на земле, минуты ее отчаяния или радости перед тем неистовым дождем, когда она подымалась к мосту, никак ясно не представлялись его сознанию.

Ее беспомощно качающаяся от толчков машины голова лежала на его плече, и от каждого толчка ее влажные, по-детски слипшиеся волосы касались его щеки. И так близко было ее лицо, уже источавшее земляной холод, уже неземное, с потеками краски под полуприкрытыми ресницами, и он так явственно сознавал, что никуда не уйти от всего этого ужаса, от всего этого немыслимого, час назад случившегося с ней, что, казалось ему, в беспамятстве умолял кого-то пощадить, спасти ее, но после не помнил ни слова, лишь смутно видел, как оборачивался шофер — вдруг впереди него появлялись высосанные страхом глаза, по-рыбьи онемело раскрывающийся рот и струйки крови, текущие из ноздрей. И тенью проскальзывали те леденящие минуты, когда, вытащив Ирину из воды, он кинулся к оставленной за мостком машине и не нашел ее там. В бессознании она еще дышала в те секунды, а он метался по берегу, кричал, звал, ругался сумасшедшими ругательствами с единственной надеждой, что шофер не мог уехать надолго. Но машина вернулась минут через сорок, и он, готовый к невозможному, увидев сытое, распаренное лицо шофера, не владея собой, не сдержал бешенства.

А больница была в районном городке, и пятьдесят километров проехали по тряскому проселку в предгибельном адском бреду: вероятно, гроза проходила над дорогой, что-то горячее, намокшее в ливне, неприятно зеленое проносилось в шуме, в гудении за стеклами, он стонал, стискивал зубы и снова чувствовал неживое, беспомощное прикосновение ее головы у себя на плече, безнадежное молчание Ирины...

Долго искали в городе больницу, вернее проезды в больницу, дороги повсюду были перекопаны газовыми траншеями, наконец и вся эта мука кончилась, они остановились под тополями парка, у самого подъезда. Как он вылез из машины, оставив ее одну на заднем сиденье, вошел в подъезд, в сумеречный провал, где замельтешили незнакомые лица, как поднялся на второй этаж, пропитанный нечистым человеческим запахом, заставленный по всему коридору койками, как раскрыл дверь в кабинет хирурга, он помнил туманно. В те минуты перед глазами повторялось одно, застрявшее в его сознании, вероятно навсегда: вот она встала на перила моста, видимая сквозь дождь, сложила руки над головой и, крикнув что-то ему, плавно изогнулась, прыгнула в воду.

Потом он ожидал, пока его позовут, стоял на крыльце, курил и не докуривал сигарету за сигаретой и тер сжима-

ющееся горло, плохо понимая, для чего солнце с летней радостью горело в лужах, освеженно и радужно переливалось на отяжелевших листьях в мокром парке, на мокрых лопухах, на омытой чистой траве, почему тяжелые капли звучно падали с крыши в полное до краев цинковое ведро, отчего зеркальные блики зыбко колебались, прыгали по навесу крыльца, а она была там, на втором этаже, лежала на каталке, закинув голову с влажными светлыми волосами, с неподвижно полуприкрытыми ресницами, под которыми все не просыхали потеки туши, лежала в комнате, стерильно белевшей кафелем, где не было надежды.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В комнатах съемочной группы, куда заглянул Крымов, было безлюдно, предобеденное солнце накалило паркет, и пахло, как в музее, пыльной обивкой старых кресел. Из кабинета директора картины доносилось торопливое постукивание, и едва он открыл дверь, оглушило очередями пишущей машинки, понесло сквознячком, всколыхнулись листки на столе против раскрытого окна, где молоденькая машинистка зашлепала ладошками по кипам бумаг, оглядываясь на Крымова в замешательстве.

— Один?— спросил Крымов и толкнул дверь в смежную комнату, откуда ручейком пробивался журчащий голос.

Директор картины Терентий Семенович Молочков, маленький, сухощавый, с непременно бодрым и приятным лицом, распространяющим уважительное внимание ко всем, заканчивал деловой разговор по телефону, любезно договаривая: «Взаимно, взаимно»,— и, положив трубку, проворно вскочил и бросился к Крымову, выражая озабоченность и немедленную готовность к действию.

— Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С приездом, с победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем от всей души!..

И говоря это, Молочков снизу ткнулся губами куда-то возле подбородка Крымова; его яркие леденцовые глаза засветились преданностью и счастьем поклонника и киномана, которому повезло прислониться к славе кумира.

— Привет, Терентий,— сказал невнимательно Крымов, подходя к тумбочке и наливая из сифона газированной воды, зашипевшей, застрелявшей пузырьками в стакане.— О льстец, запомни, прошу не в первый раз:

страшны не те стервятники, которые пожирают трупы, а те, которые лестью пожирают заживо. Не сожрешь ты меня, Терентий, не клюю я на восклицательные знаки, черт тебя дери! Здравствуй, успокойся и рассказывай, как дела в съемочной группе.

— Господи Иисусе, да кто это может вас сожрать, Вячеслав Андреевич! — И Молочков с восторженным возмущением воздел руки к потолку, отчего рукава его чесучовой куртки сползли до локтей. — Кто может вас пошатнуть, такую глыбу! Вас!.. Ах, Вячеслав Андреевич, плохо вы себя любите и цените!..

— Умерь пыл, пожалей слова, — прервал Крымов и отпил из стакана, брызжущего пузырьками, охлаждающими горло льдистыми иголочками. — Думаю, ты в курсе дела. Не так ли? По-видимому, не я буду снимать эту картину...

— Как? На каком основании? Как так? — изумленно вскричал Молочков и забегал по комнате, мотая полами широкой на его плечах куртки, мелькая узкими помятыми брюками. — Откуда вы принесли такую новость? Из самого Парижа? Вы меня режете без ножа!

— Сядь, Терентий, прекрати свою страусиную беготню. Это раздражает. Давай поговорим.

Молочков с послушным ожиданием опустился на диван и, заранее пугаясь, заморгал круглыми желтыми глазами. — Без ножа убиваете. По первому разряду убиваете.

— Так вот, Терентий, — сказал Крымов и медленными глотками допил воду. — Снимать фильм я не буду. Впрочем, скажу тебе откровенно, — добавил он сдавленным от холода газировки голосом. — Я вообще не должен был браться за эту картину. Просто я не понимаю, Терентий, что такое современная молодежь и что такое их современная любовь.

— Правду-матушку побойтесь, Вячеслав Андреевич.

— Боюсь. Но это так. Каждый должен знать, на что он способен.

И он присел на подоконник, полуповернулся к Молочкову — из окна наплывало лиственным жаром тополей.

Молочков схватился за голову, воскликнул взвившимся тенором:

— Я догадываюсь, в чем ваша причина! Нет тут вашей вины, нет! А если кому не в разум, так это дело скоро пройдет. Вячеслав Андреевич! Меня неделю назад тоже вызывали в инстанцию... Или вроде приглашали для разговора... Задавали вопросы о ваших отношениях с артист-

кой Ириной Скворцовой. Им, стало быть, никто не запретит докапываться до середки, если дело о гибели человека при неизвестных обстоятельствах...

— При неизвестных обстоятельствах? — переспросил Крымов и, оттолкнувшись от подоконника, прошелся по комнате. — Кому неизвестных? Тебе или следователю, который тебя спрашивал? По просьбе следователя до своего отъезда на фестиваль я изложил все обстоятельства письменно. Я был единственным свидетелем... единственным. И никто не может ничего добавить. Ни Балабанов, ни ты. Смысла не было вас вызывать — или как там? — приглашать для разговора.

— Не одних нас. Знаю, что и шофера Гулина. С ним-то вам не надо было связываться, темный он с ног до головы, — добавил Молочков с негодованием. — Никак я не возьму в толк: неужто не верят они вам?

— На этом свете все возможно.

— Шофер Гулин сейчас ко мне зайдет, — заговорил Молочков, понизив голос. — Вы поговорить с ним не хотите?

— Охоты нет.

— Настроен он весьма по-идиотски, агрессивно, можно сказать, и собирается в суд подавать. Ох, не надо было вам, ох, не надо с дураком связываться! Господи Иисусе, вспомнил я вас офицером, и страшно стало мне... А ведь тридцать пять лет прошло. И тут рискуете, Вячеслав Андреевич, опять рискуете смелостью.

— Что не надо, ты сказал?

— Избивать подонка такого, пьяницу, как стало известно, ловителя рублей... Беспокоюсь я за вас, Вячеслав Андреевич. Мне, может, ваше здоровье и нервы дороже всего. Без вас мы все в съемочной группе ровно щенки слепые или сироты, можно сказать. И я без вас — нуль, никто, сопля воронежская, в чужих вроде санях. Потому на душе кошки скребут, Вячеслав Андреевич, нехорошо как-то чувствую себя, когда вас кто плечом задевает...

— Давно хотел тебе сказать, Терентий, — прервал недовольно Крымов. — Мужские сантименты в деловых отношениях давно бы пора бросить. Ну скажи мне, директор, почему, ради чего ты заискиваешь передо мной?

— Напрасно обижаете. Очень я уважаю вас, Вячеслав Андреевич... — сказал Молочков, потупив влюбленный взор. — До гроба не забуду, что сделали вы для меня. Я всем вам обязан, и жена моя Соня весьма вам благодарна...

— Ставишь меня в дурацкое положение! — раздраженно сказал Крымов, с отвращением понимая, что не сдерживается, позволяя себе прежнюю, осужденную им самим слабость молодости: вспыльчивость. — Роль благодетеля и благодарного — архаичное понятие в наше время! — заговорил он, не сумев подавить раздражение. — Мы с тобой хоть друзьями на войне не были, но какую-то пору воевали вместе. И наши отношения должны быть равными. Сними напряжение, Терентий, ты мне ничем не обязан! Тем более что и друзьями мы никогда не будем...

«К чему я так грубо и откровенно? Что меня заставляет говорить ему все это?»

— Я хотел бы... мечтал, да только вы, Вячеслав Андреевич... далекий, — забормотал Молочков, и руки его кругообразно задвигались на коленях. — Да чего мечтать? Много вы для меня сделали, а неблагодарных свиней я весьма не люблю. Вы птица большого полета, а я кто ж такой... из сопливой деревни да из грязи болотной в князи выбился. Образовался на курсах. Считать, правда, я хорошо научился. А в сравнении с вами — необразованная балбешка. — Молочков стукнул жилистым кулачком себя в лоб. — Хоть курсы администраторов кончил. И на войне дурак дураком был, и после войны. Пока вас не встретил, Вячеслав Андреевич...

— Самоуничижение паче гордости, — сказал Крымов. — Я сделал для тебя не больше того, что мог бы и другой. Ну хорошо, Терентий. Если нравится, изображай из себя благодарного раба, а я буду в позе благотворителя наслаждаться твоим гордым самоуничижением.

«А ведь он похож на кузнечика. Сидит на диване, шея вытянута, весь напряжен, руки на коленях, глаза налиты умильной преданностью, вот-вот готов прыгнуть и задушить в объятиях, несмотря на мою грубоватую откровенность...»

— Боюсь, Терентий, тебе когда-нибудь надоест быть благодарным...

«Что толкает меня говорить подобную глупость?»

— Никогда. Крепко меня обижаете, — искренне запротестовал Молочков и, сощурясь в сладостном оцепенении, договорил горловым выдохом: — Меня бы Соня прокляла... и умер бы я за вас...

«Прокляла Соня? Умер бы за меня? Или он безумец?» Крымов переспросил:

— Соня?

— Моя жена Соня, Софья Павловна,— скороговоркой пояснил Молочков.— Она прямо души в вас не чает. Она все ваши фильмы наизусть помнит.

Да, Софья Павловна недавно стала женой долго жившего в одиночестве Молочкова, а накануне женитьбы, пьяный от счастья, он приводил ее сначала домой к Крымову, затем на студию, с гордостью знакомя и представляя съемочной группе будущую супругу. По профессии она была учительница пения, и Крымов поразился ее сильным толстым ногам (наводившим на мысль о хозяйственной склонности ума), мужской величине ее плеч, полноте бюста и басистому голосу, когда по просьбе ликующего жениха она нестеснительно пропела, мощно притопывая ногой, песню Сольвейг под аккомпанемент звукооператора, приглашенного к пианино в актерскую комнату.

— Ах да,— сказал Крымов, вспоминая свою неловкость при этом знакомстве.— Да, интересная женщина, талант, лирическая натура, но не это я хотел сказать, Терентий,— оборвал он себя, чтобы не сбиться на привычный иронический тон, некстати высмеивающий малознакомую, в сущности, жену Молочкова.— Так вот что я хотел сказать, Терентий. И это серьезно,— добавил Крымов.— Картину я снимать не буду. Этого моего решения я не сказал Балабанову. Так что тебе, по всей видимости, придется работать с другим режиссером. Второй такой актрисы, как Скворцова, нет. И я не верю в удачу. Впрочем, удача или неудача — теперь не имеет значения. Так что, Терентий, вероятно, с год я побуду в простое, если, разумеется, не законопатят в тюрягу. Ибо все может быть в наши насыщенные созидательными событиями будни...

— Зачем вы так шутите?— зябко поежился Молочков.— Когда вы не будете смеяться над всем?

Крымов ответил полусерьезно:

— Не над всем. Над самим собою. В этом есть надежда, коли мы не исповедуемся в церкви. Высшая мудрость приходит тогда, когда начинаешь понимать, что все может быть.

— Ой-ёй-ёй!— покачался на диване Молочков, и леденцовые глаза его всполошились, замерцали.— Боязно мне за ваш язык, Вячеслав Андреевич, люди стали обидчивые очень, гордые, грамотные, не так поймут и мнение составят нехорошее.

— Ах, мой золотой Терентий! Вокруг столько фальшивых репутаций, неимоверно надутых пузырей, случайных известностей и неизвестных знаменитостей, что мое

развенчание «нехорошим мнением» ничего не убавит и не прибавит в деталях моей биографии.

— Злые есть люди-то... Все норовят съесть кого...

— Посмотрим на их аппетит. А я пока поехал на дачу. Ну, будь...

Он сказал фамильярное «ну, будь» и с неприязнью к этим кинематографически-богемным словам пошел к двери, на ходу потрепав Молочкова по плечу.

«Нет, обман! Независимо от собственной воли я ничего не могу поделать с собой,— подумал Крымов, мучаясь мерзким неудовлетворением.— С милым ерничеством развлекаю и его и себя. А на самом деле болен неврозами двадцатого века, как и все в искусстве, которые не могут насытиться ни тщеславием, ни славолюбием. Честолюбив и самолюбив, как вчера, как тридцать лет назад на войне. И вот совестно признаться, что совсем не безразлично, что̀ подумают обо мне... Так, может быть, вся моя жизнь была трусостью, если я боялся за свою репутацию и хотел понравиться? Ради чего? На войне — ради орденов? После войны — ради успеха? Кто я — лжец или честолюбец?»

Выйдя в комнату, где на сквозняке работала машинистка, бегло бьющая по клавишам, Крымов задержался, внезапно столкнувшись с чем-то посторонним, мешающим, и не сразу сообразил, что ощущение возникло при виде парня, ссутуленно сидевшего на стуле сбоку шкафов, набитых сценарными папками. Сидел он, наклонив голову со свисающими черными волосами, и меж раздвинутых колен нервно тискал, мял узловатыми руками кепку — и нечто назойливое заставило Крымова внимательно взглянуть на парня, рывком вскинувшего голову. Он мигом узнал эти крепкие щеки, крепкий лоб, большие губы, на которых тогда, в тот день, была кровь, и тогда он, этот парень, оборачиваясь, дыша толстой шеей, слизывал языком кровь... Это был шофер Гулин. Его воспаленные, с красными белками глаза злобно рыскнули мимо Крымова, желваки буграми затвердели на скулах. И Крымов, загораясь, вспомнил свое бессилие в ожидании машины и оправдательное бормотание шофера, его задушливый хрип, когда он, жалкий, не сопротивляясь, размазывая кровь по лицу, отступал боком к раскрытой дверце, где виднелись в пепельнице окурки.

«Значит, он на прием к Молочкову?» — мимолетно определил Крымов.

И не справившись с соблазном бесовской игры, подмываемой темной, знакомой когда-то в молодости силой,

вдруг взрывавшей в нем порой послевоенное благоразумие, он взял Гулина за потный подбородок и, приподняв его, с ледяным спокойствием, какое появлялось в моменты крайней решимости, спросил негромко:

— Ну что, ненавидишь антиллегенцию, парень? Покрушил бы их, миллионщиков, бездельников, развратников, ежели бы твоя воля?

— А-а! — Гулин вырвал подбородок, вскинувшись, подобно взнузданной лошади, и выражение ненависти плеснулось в его зрачках, он выговорил осипло: — Не приставайте, свидетели есть! — И ткнул пальцем в сторону обомлевшей машинистки. — Обратно избить хотите?

— К сожалению, не могу позволить себе запретного мальчишеского возмездия, — сказал Крымов и вышел в коридор, пугаясь того возможного удовольствия, какое, наверное, испытал бы при этом.

За воротами студии он подошел к машине, необъяснимо почему думая о том, что при всех минусах, в общем-то, много лет был баловнем судьбы, хотя сдавал каждую готовую картину с задержками, с длительными диалогами в начальственных кабинетах, вызывая время от времени тревожный переполох в Комитете по делам кинематографии, опасающемся принимать фильм без необходимых поправок. Вместе с тем его раздражали студийные мальчики с медальонами на волосатых грудях, значительно и умно бормочущие в кулуарах о его новаторской левизне, и не менее раздражал ядовито доползавший шелестящей змейкой шепот о его взбалмошной неуправляемости. А он, в разновидных общениях познавший и левое и правое лукавство, не желал слыть ни левым, ни правым, ни управляемым или неуправляемым, стараясь оставаться, может быть, не в меру открытым и в меру нежным, особенно в прошлых картинах о юности своего поколения, о войне с ее оголенной скорбью потерь и, наверное, в последних фильмах о семидесятых годах с их микробом потребления, вялой радости, нравственного равнодушия, сиюминутных забот и безлюбой любви.

Но, слава богу, он должен был сейчас ехать на дачу, соскучившись по детям, по Ольге, ее тихому взгляду снизу вверх, медлительному ровному голосу, который порой умилял его, по ее стыдливой близости, шутливому вопросу после первого поцелуя: «Ты все-таки не очень забыл меня?» И он тоже несколько шутливо отвечал ей, что погибал в ностальгии, тосковал по чадам и домочадцам, в первую очередь по Таньке, смешливой и озорной дочери, младшей

в семье, откровенной его любимице. Он был спокоен в отцовском чувстве к сыну Валентину, студенту третьего курса Института кинематографии, не без отцовского совета пошедшему по его стопам, однако малоразговорчивому, замкнутому, порой непримиримому по отношению к ностальгии «предков» и их искусству — то есть освобожденному от всякой сентиментальной чепухи, отжившей и устаревшей в век техники и прагматизма. Молчаливая отчужденность сына, его нелюдимость не сближали их, не создавали родственной взаимности, да к тому же Крымов из-за всегдашней загруженности работой и отсутствия воспитательных способностей не искал особенно близких точек соприкосновения и считал сына вполне современным парнем, но заурядным будущим оператором, лишенным художественной жилки, исповедующим приемлемую одним разумом, достойную времени формулу: надежда мира в технологической цивилизации.

По дороге на дачу Крымов заехал на московскую квартиру, и, когда вошел в душную тишину и увидел столбики солнца сквозь щели штор в духоте комнат, летняя заброшенность квартиры повеяла сиротством, и уже не захотелось быть здесь одному, как в день приезда. Он выпил рюмку коньяка, чтобы снять головную боль, положил под язык валидол, чтобы отбить запах (на случай непредвиденной встречи с ГАИ), взял чемодан с сувенирами, которые всегда за границей покупал «своим женщинам», и спустился к машине.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дачном поселке, скрытом в буйстве июльской зелени, он остановил машину возле калитки, затененной липами, вылез и тут же через штакетник увидел в саду между яблонями три расставленные шезлонга и свою дочь, свою любимицу Таню, девятиклассницу, коротко подстриженную под мальчика. В спортивной майке, открывавшей ее загорелые плечи, она лежала в траве на коврике, грызла яблоко, болтала босыми ногами и читала. С просиявшим лицом Таня обернулась на скрип калитки, сейчас же гибко вскочила и, швырнув в кусты огрызок яблока, завизжала радостно:

— Папань, с приездом, ур-ра! Привет и салют!..

— Здравствуй,— сказал Крымов и пошел в хлещущей по ногам траве навстречу дочери, бежавшей к нему.— Ну

здравствуй, чертенок, пигалица моя,— проговорил он, целуя ее в волосы, пахнущие солнечным теплом.— Слушай, Татьяна-сан, я тебя вроде бы не видел целый год, и нос у тебя облупился до невозможности, и вся ты обгорела до негритосности! Что, целый день на солнце?

— Ах, папашка-букашка, я так рада, так рада, я по тебе соску-училась!— весело говорила Таня с той принятой между ними доверчивостью дружбы, которая более всего была ценима Крымовым.— А ты похудел в своих заграницах и стал какой-то очень изящный и бледный! А мы с мамой читали в «Советской культуре», что твой фильм получил приз и был показан в переполненном зале. Так, а? Ничего не приврали работники пера? А то ведь они умеют так перестараться, что хоть караул кричи!..

— В данном случае — нет,— ответил Крымов, ощутив в себе под веселым взглядом дочери счастливую ироническую легкость, наслаждаясь ее озорным голосом, умиляясь ее задорным обгорелым носом.— Зал был битком набит, кассы поломаны, пожарники помяты, зрители сидели, лежали и стояли, кто-то висел на портьере, самые ловкие устроились на люстрах и во все горло кричали то ли «шайбу!», то ли «режиссера с поля!».

— Ну вот, начинается!— воскликнула Таня с осуждающим восторгом единомышленника, быстро уловившего знакомый прием.— Опять, папа? Не поймешь у тебя, где шутка, где серьезно. Подожди, мамы нет, она на Солнечной поляне работает. Садись в шезлонг, вот сюда садись!

Она потянула его за руку, посадила лицом к солнцу, сама села напротив, откинулась в шезлонге, таинственно взглядывая из-под мохнатых, белесо опаленных солнцем ресниц.

— Папа, я хочу у тебя спросить — правда или нет? Хотя я ни капли не верю...

— Чему именно, дочь?

Таня наморщила нос.

— Ужасно глупые слухи, от которых уши вянут. Вчера на пляже ко мне подошла эта толстуха Симка Анисимова, крокодилица известная, ну, дочь бывшего твоего оператора, который сейчас дачу в нашем поселке купил, и ехидно так говорит: «Ты знаешь, что с твоим отцом?» — «Нет, а что ты знаешь?» — «Значит, не знаешь, что уже все знают?» — «А в чем дело?» — спрашиваю. А она: «Ну ничего, все узнаешь, когда надо будет!» И глазки блестят, как у ведьмочки. Потрясающе!— Таня хмыкнула.— Я, конеч-

но, назвала ее кухонной скалкой, но кто-то глупые слухи выдумывает...

— Какие, дочь? По-моему, ты недоговорила.

— Будто у тебя в съемочной группе погибла молодая актриса... и будто ты к ней был неравнодушен,— сказала Таня и покраснела, независимо тряхнула головой, протестуя и не соглашаясь.— Всем ясно: слухи распространяют кухонные скалки...

— Танька ты моя милая,— сказал Крымов, видя на лице дочери искренность, неумение лгать, озабоченность защитой семейной чести, которую он, ее отец, не способен был уронить.

— Вот уж, называется, наговорила! Да это же слухи, папа!— воскликнула озабоченно Таня и хлестко щелкнула себя по коленям.— Ничего не слушай! Я тебя сейчас удивлю и развеселю! Знаешь, у нас скоро свадьба — наш Валентин Вячеславович, студент третьего курса, знаешь что? Выходит замуж. То есть я всегда путаю... Ха-ха, просто женится. Это еще почти тайна, в газетах об этом еще не шумели, интервью не брали, но, но, но...

— И что «но», Таня?

— Но все идет к этому. Мама в панике. Просто невероятно! Как только жених приезжает со своей избранницей, мама себе места не находит, берет свой мольберт — и на целый день на этюды. Не приходит к обеду, в лесу, наверно, питается ягодами. Ужасно переживает, а мне смешно, хотя виду не показываю. Нашел себе... непревзойденную Джульетту — утя, утя, утя!

Крымов уловил в ее голосе плохо скрытую ревность, но она тотчас засмеялась так звонко, так естественно и, вся загорелая, с льняными волосами, заискрилась юностью, беззаботным здоровьем, а его на секунду сжало необъяснимое пронзительное чувство опасения за нее: случись что с Таней — и ничто не удержало бы его на земле.

— Утя? Ее звать Утя?— спросил он вполголоса, непроизвольно связывая это секундное чувство опасения с тем страшным июньским днем и холодом мокрых светлых волос на его щеке.

— Утя, утя, утя,— смешливо повторила Таня и показала поцарапанными пальцами, будто вытягивает свой облупившийся нос.— Непонятно? У нашей невесты утиный носик, такой остренький носик... и башмачком, его так и хочется потрогать, я прямо удержаться не могу, но она — знаешь?— с самомнением. Да ты ее увидишь. Студент с утра ее на пляж повел. К обеду придут.

— Ты не слишком ли к этой уте? А?

— Ни капли. Мне интересно за ней и Валентином наблюдать. Он просто спятил, изображает индюка, а она — павлиниху, даже мизинчик оттопыривает, когда стакан берет. Утю звать Людмила. Вот тебе — Руслан и Людмила. До невозможности юмористично! Ранние произведения Антона Павловича Чехова. А мама — в ужасе.

— Я соскучился по тебе, Танька,— сказал ласково Крымов и встал с шезлонга.— Что ж, ясно. Пойду к себе. А ты открой чемодан и выбери подарок. По-моему, тебе понравятся вьетнамки на шнурках.

В кабинете были распахнуты окна, дверь на балкон и мягко ходил садовый воздух.

Он оглядел свою мансарду и сразу заметил постороннее вмешательство, чужое присутствие в ней.

На диване, где он любил лежать у раскрытого окна, глядя на закат, на тихое угасающее золото на березах, предаваясь томительной власти вечерних мыслей (как определяла это Ольга), сейчас белели подушка и простыня, наполовину прикрытые одеялом — наспех прибранная постель,— возле на спинку стула был небрежно повешен женский халатик; коричневая сумка с ремнем забыто брошена на коврик близ письменного стола. Ему непривычно было, что его проигрыватель раскрыт, книги на полках кем-то потревожены, на краю журнального столика отблескивало на подставке круглое зеркальце, а рядом лежали тюбик губной помады, плоская коробочка с пудрой, женская расческа. И то, что в его кабинете ночевала, по-видимому, невеста сына, задевало Крымова простодушным и бесцеремонным вторжением в его обжитые владения, где неизменно царствовал выбранный им и заведенный для работы порядок.

«Значит, так уже далеко зашло, если она ночует на даче?» Он снял пиджак, походил по кабинету, насквозь светлому, всегда покойному его убежищу, постоял против журнального столика, поглядывая на зеркальце, в которое утром, вероятно, смотрелась невеста сына, с ироническим удивлением отметил, что зеркальце ее поставлено на кипу вариантов режиссерского сценария, сказал вслух: «А это трогательно»,— и вышел из кабинета.

Перед тем как спуститься вниз, Крымов заглянул в комнату жены, маленькую, уютную, куда ему приятно было заходить, в мир ностальгии по прошлой Москве два-

дцатых и сороковых годов, ныне ставшей холодным многоэтажным городом, потерявшим прежнюю душу.

Здесь, в уголке Ольги, было то, что любила она: плавность линий и изгибов, стройность, округлость в архитектуре, распространяющей тепло, успокоение, радость силуэтов,— рисунки и фотографии Пречистенского бульвара, храм Христа Спасителя с видом на Замоскворечье, Сухарева башня с белыми узорами, ярусами и открытой галереей, весеннее Зарядье, его утренние переулки, вековые часовни и Ольгин московский пейзаж, весь в ледяной розовости зари, с обросшим инеем первым трамваем на пустынной улице, а рядом пейзаж дачный, грустно влекущий настроением сумерек: за окном голубеет зимний воздух, синеет снег на покатых крышах меж черных елей, а кое-где уже теплятся огоньки в домах.

Всякий раз Крымова овеивало здесь нетронутой чистотой, исходившей от старых фотографий, пейзажей на стенах, от чертежного стола с лампой на гибкой ножке, от тюлевой занавески до пола, в слабых волнистых движениях которой было что-то женственное, опрятное, так же как в опрятно застеленной кровати Ольги.

Когда пятнадцать лет назад строили дачу, эту комнатку отделали первой и не в Москве, а на даче встречали Новый год, возбужденные строительными хлопотами, деловыми разговорами с плотниками, исполненные самых радужных надежд на будущее, уповая на то, чтобы летом жить, работать в саду, принимать гостей, разумеется, только за городом. Но та первая встреча Нового года на даче была случайной и особенной, потому что, задержанные обильной метелью, завалившей дороги, они не поехали в Москву и, отрезанные снегопадом, остались вдвоем в недостроенном доме, скипидарно пахнущем холодными стружками на лестнице и воском свечей, оттаявшей хвоей в Ольгиной натопленной комнате, сотрясаемой вьюгой целый вечер. И все, что тогда делала, говорила Ольга, было наполнено ее любовью к нему: в ее безобманных, бархатных глазах, подставленных его взгляду, проходила то улыбка, то вырастала робкая нежность, когда он касался ее, своей жены, уже родившей двоих детей, но такой же нерешительной, как в девическую пору, отчего-то стеснявшейся его нетерпения.

Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев гирляндами, он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал, видел

ее наклоненную гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, поворачивал к себе. А она, завороженно глядя ему в лицо, говорила растерянно:

— Это год лошади, поэтому тебе надо надеть коричневый костюм.

— Ах так, Оля? Обязательно коричневый? К несчастью, забыл свой гардероб из пятидесяти смокингов в Буэнос-Айресе в апартаментах отеля «Хилтон». Пустяки. Дам телеграмму.

— Какая забывчивость! Что же делать? Сбруя ведь коричневая, в общем-то. Знаешь, какой ритуал? Нужно, чтобы было надето на нас что-то кожаное. И чтобы висела на мужчине золотая цепочка. Нагни голову. Я надену тебе свою.— Она сняла с себя и застегнула на его шее крошечную цепочку, сказала озабоченно:— А мне дай твой коричневый ремень от брюк. Я подпояшусь. На столе должна стоять игрушечная лошадка. В блюдечке перед ней — овес и кусочек сахара. Еще что? Ровно в двенадцать шампанское пить нельзя. Да у нас и нет его. Как хорошо! Только коньяк или водку. Это, слава богу, у нас есть. За минуту до полуночи открыть дверь и выпустить старый год. Ровно в двенадцать войдет новый год. Закрыть дверь. И тогда надо выпить за него. Давай так встречать Новый год, по лунному календарю.

И он с великой охотой принял ритуал встречи Нового года по лунному календарю, не ведая до сих пор, есть ли год лошади в этом летосчислении, и Ольга, мягко светясь глазами, сидела за столом, подпоясанная мужским ремнем, у него же на шее висела Ольгина цепочка, сохранявшая, мнилось, ее телесное тепло, трогательная в женской невесомости на его грубом свитере, и стояла на середине стола игрушечная лошадка, и было блюдце с кусочком сахара. А ровно за минуту до полуночи он предложил Ольге: «Пошли встречать конягу, только возьми свою рюмку»,— и вышел в пропитанную смолистостью стружек темноту лестницы, где еще не было проведено электричество (как и во всем доме), спустился с мансарды в тамбур, распахнул входную дверь на ветер, несущий наискось сизые космы, гул метели, окативший их обоих глухим волчьим холодом непроглядной ночи. И почудилось, что они несутся в потемках по краю Вселенной, он и она, оторванные от земли, в соединенном счастливом одиночестве, как бывало в молодости, когда им не нужно было ничего, кроме

старого, продавленного дивана в снимаемой за тридцать рублей комнатке в коммунальной квартире на Якиманке.

— Вот он идет, слышишь? Топает валенками между сугробами и крякает в бороду,— сказала Ольга, неумело шутя и вздрагивая.— Слышишь? Выпустил старый год и вошел. И холод внес с собой. Чувствуешь?

— И снегу натащил, старикашка.

Он захлопнул дверь (вьюгой успело нанести на пол белые холмики), обнял Ольгу, согревая, чокнулся с ее рюмкой и поцеловал в холодные, сладко-горькие от коньяка губы, сказал полусерьезно, скрывая захлестнувшее волнение:

— С Новым годом, моя любимая жена!

— Ты сказал так, будто у тебя гарем. Любимая жена и нелюбимая жена,— ответила она и, вздохнув, тоже легонько поцеловала его.

А он опять поразился тому, что она поцеловала его не согревающимися от холодного вина губами так же наивно, неопытно, вызывая прежнюю неутоленность, как когда-то в целомудренной молодости после войны, не научившись тому, чему еще до встречи с ней научили его послевоенные знакомства, и, наслаждаясь ее неуменьем и неразвращенной чистотой, он сказал:

— Ты, чудесная моя женщина, опять целуешься, как галчонок, и все время закрываешь глаза и вздыхаешь.

В два часа ночи метель утихла, и, до глухоты окруженные безмолвием оцепеняющей стужи, они вышли в первозданную лесную пустыню, деревенскую, сугробную. Скрип снега под валенками был так пронзительно и остро звонок, что перехватывало дыхание. В оранжевых морозных кольцах светила луна, сыпалась изморозь, и Крымов видел в лунном дыму скольжение теней на свежем покрове снега, как отражение солнечных бликов на песчаном дне.

Ольга шла рядом, говорила о чем-то (он плохо слушал, думая о том, что никогда не переставал любить ее). Она иногда трогала его за рукав, взглядывая снизу с улыбкой, а он, немного оглушенный своей точно первой влюбленностью, глядел на ее приглашающее к спокойной радости лицо и тоже улыбался и ее взгляду, и этой новогодней ночи, и стреляющему треску деревьев в лесу, где изредка срывались текучей пылью снежные пласты с отяжеленных этажей елей.

Но Крымов помнил и солнечное серебристое утро первого дня Нового года, когда, проснувшись, увидел, что она,

зажав ладонями виски, смотрела на него неподвижно и задумчиво, точно хотела запомнить его, перед тем как расстаться надолго.

— Ты что? — спросил он встревоженно и обнял ее, опять загораясь желанием.

— Я проснулась и увидела, как ты спишь. И подумала, что наши дети не похожи на тебя. И тут мне стало так страшно. Неужели через десять или пятнадцать лет мы больше не увидим друг друга? Как мне жаль и тебя, и детей, и всю нашу короткую жизнь на земле.

— Почему жаль, Оленька?

— Мне показалось, что мы с тобой только вдвоем на целом свете, но ты не любишь меня. Нет, мы все-таки одиноки. И ты и я...— Ее тихие бархатные глаза дрогнули, и, пряча лицо, она повернула голову к стене, а он с разрывающей душу горечью стал целовать ее слабые, ускользающие губы и шепотом говорил, переводя дыхание:

— Ты напрасно, Оля. Наверно, мы с тобой были иногда счастливы.

Он говорил это, опасаясь, что Ольга возразит и разрушит его новую влюбленность, ставшую за несколько часов их оторванности от Москвы смыслом его близости к ней, влюбленность в посланную ему благосклонной судьбой святую женщину, ни разу не обманувшую в чувстве, хотя сам бывал в молодости грешен не однажды.

— Какая несправедливость,— сказала она шепотом и прижалась, вдавилась носом ему в грудь.— Я не хочу с тобой расставаться.

— Я знаю, тебя пугают сны,— проговорил он.— Забудь о том, что привиделось тебе.

Спускаясь по лестнице из мансарды, выйдя в теплынь сада, на посыпанную речным песком дорожку, исполосованную тенями, Крымов опять среди солнценосного июльского дня как наяву увидел ту пустынную зимнюю ночь, лунные сугробы и морозное утро в комнате Ольги с их счастливым одиночеством.

— Тебе помочь найти маменцию? — крикнула Таня издали, отрываясь от книги, и заболтала босыми ногами.— Мама на Солнечной поляне. Проводить?

— Не надо, дочь. Я найду.

«Да я и не переставал любить ее,— подумал он, направляясь по тропинке в конец сада, к калитке в лес.— А ей как будто не хватает моей искренности».

Он нашел Ольгу под березами на краю поляны. Она стояла перед утопавшим в траве мольбертом и чуть устало отклонялась от холста, приложив обратную сторону ладони ко лбу. И все было родное в ней: и этот мягкий жест усталости после долгой работы, и узел черных волос, и линия спины и плеч, еще молодых, девически крепких, видимо благодаря занятиям гимнастикой и тибетской йогой, чему она отдавала ежедневно не меньше часа, поверив в этот восточный «секрет» здоровья и вечной молодости. Она увидела его, опустила кисть, молча повернулась и так в ожидании стояла до тех пор, пока он не приблизился.

— Здравствуй, ненаглядная жена моя...

«Откуда появилась во мне пошлость? Какая сила управляет мной?»

И он обнял ее так стесненно, неловко, словно не имел права на объятие и поэтому преодолевал, перебарывал запрет и недозволенное.

— Здравствуй, ненаглядный муж мой.— Она подставила ему не губы, а щеку, взглянула с насмешливым интересом из-под выгнутых бровей.— Разве я столб или дерево? Ты не рассчитываешь свою силу, Вячеслав Андреевич.

От ее сдержанности исходил осенний холодок, и он догадался о возможных причинах этого неприятного заморозка, но все же нашел мужество пошутить, смягчая ее холодноватость:

— Вероятно, Оля, за неделю, пока не видел тебя, я разучился обращаться с драгоценными вещами, старый осел.

«Опять пошлость! Что это я горожу? В самом деле — непроходимый глупец!»

— Тогда отпусти меня, свою драгоценную вещь.

Ее глаза заблестели тою же спокойной недоверчивостью, она осторожно высвободилась, он сказал виновато:

— Я соскучился, если ты можешь хоть капельку поверить...

— Ты приехал вовремя. Мы сейчас идем обедать. Помоги мне собрать мольберт.

Она не попросила его по обыкновению «покоситься на этюды», на еще влажные, непросохшие акварели («Что ты скажешь — ничего это тебе?»), которые он оценивал довольно-таки снисходительно, ибо считал чистый пейзаж лишь зеркальным отражением изменчивой действительности, предпочитая ему портрет природы — пейзаж философский, с разумной, естественной красотой, противоречащей нещадно разрушительной человеческой силе;

этому выражению современного урбанистического мира, порочного и заманчивого для многих, любимого бывшими сельскими людьми, составляющими большинство теперешних горожан, и вместе ненавидимого ими. Ольга не сердилась, не возражала, а Крымов обычно заканчивал свою наполовину шутливую критическую проповедь добродушно («Ты у меня незаурядный пейзажист, хотя и архитектор») и целовал ее в прохладные губы, по-младенчески отвечающие и не отвечающие ему.

Но, собрав мольберт и глянув на свежую акварель — поляну под палящим полуденным солнцем,— Крымов решил, что снисходительность или шутка сейчас обидят Ольгу, поэтому сказал миролюбиво:

— В твоем пейзаже знойно и кажется, что из травы подымается дух переспелой земляники. Ты просто молодчина.

— О, наконец я дождалась твоей похвалы,— сказала она без всякого выражения.— Я благодарна за то, что мое искусство стало тебе чуть-чуть нравиться... Но для чего ты говоришь неправду?

— Оля, могу я узнать, в чем провинился? В чем я виноват?— спросил он по-прежнему дружелюбно, ужасаясь тому, что неискренен с ней.— Ты, кажется, не рада, что я приехал?— продолжал он, взяв ее за плечи, нагретые солнцем.— А я действительно до черта устал, соскучился по всем вам и вернулся раньше срока.

— Что на тебя нашло такое?— И Ольга вздохнула с обреченным видом.— Мы сейчас утонем в океане жалких лирических слов. Оставим это. Умоляю тебя об одном: поговори сегодня с Валентином, по-моему, он делает непродуманный... безумный шаг. Ты знаешь, что он собрался жениться? Чудак, неопытный мальчик... Но он ничего не слушает, потому что не принимает меня всерьез. Как, впрочем, и ты.

— Черт возьми, хочешь, я встану перед тобой на колени и объяснюсь в любви?

— Какая ты прелесть, Вячеслав, и всегда неотразим. Твой любимый черт, черт и черт. В тебе осталась солдатская жилка. Хочется ругнуться, а ты крепкие выражения заменяешь чертом. Просто рыцарь!

Она пошла по тропинке впереди него, и крепкая спина ее и бедра, еще молодо-тугие в брюках, которые она надевала для работы, испачканных краской, облепленных цветочной пыльцой, опять напомнили радостное, не забытое им долгое сумасшествие в невозвратимые годы надеж-

ды после войны и в ту новогоднюю глухую вьюгу на даче, так остро позднее уже не повторявшееся по его ли, по ее ли вине. И Крымов едва не сказал: «Оля, милая, кто это с нами все делает?» — но промолчал и безмолвно пошел за ней к дачному поселку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Так что же нового у молодежи?

Солнце, с утра проламываясь сквозь листву, накалило на террасе и стол, и соломенные стулья, и деревенские половички, но березы заслоняли открытые окна, и все-таки тут не припекало так давяще, как в этот час в саду.

За обедом хотелось пить, и Крымов время от времени подливал себе ледяную колодезную воду, тяжелую, искрящуюся в графине, мало ел, мечтая о том, как хорошо бы сейчас постоять под душем, затем полежать в тишине кабинета одному среди книжных полок, полистать журналы в бездумной расслабленности. Однако он считался хозяином дома (что в занятости своей никогда обремененно не сознавал и не помнил) и должен был по просьбе Ольги в меру соблюсти правила этикета главы семейства при знакомстве с невестой сына.

Они, Валентин и его невеста, пришли к обеду с реки юные, дочерна загорелые — он неуклюже рослый, в шортах и сандалиях, с мохнатым полотенцем на шее, она босиком, в короткой красной майке, не заправленной в джинсы, открывавшей великолепный плоский живот, вся миниатюрно-маленькая, огромные противосолнечные очки затемняли половину лица. Она не сняла очки и после того, как Валентин, не выказывая сыновних чувств, бегло чмокнул отца в щеку, сказал: «Познакомься, прошу. Это моя невеста — Людмила». Она же, сделав гибкое полуприседание, протянула выпрямленную ладошку, пропела птичьим голоском: «Люся»,— и Крымов заметил, как напряглось худое серьезное лицо сына: он явно ждал ответных слов отца, чтобы понять, какое впечатление произвел его выбор. Крымов с приветливым поклоном несильно пожал влажные пальчики, сказал, что ему очень приятно видеть невесту сына в своем доме, сказал, удивляясь Ольге и Тане, их ревности и неприятию этой девицы, ничем особенно не отличавшейся от многих современных девиц-студенток.

«Что ж, у невесты все от времени... Но личико, личико показала бы на минутку, невестушка. А очки не снимаешь не из застенчивости ли?» — думал Крымов, украдкой наблюдая Людмилу, сидевшую напротив рядом с Валентином, и угадывая за синей темнотой очков ее настороженные взгляды.

— Так что нового у молодежи? — повторил Крымов.

Он спросил это для того, чтобы прервать затянувшееся молчание, которое становилось уже тягостным, неловким, ибо с начала обеда Ольга не промолвила ни слова, с воспитанной сдержанностью исполняла роль хозяйки, даже слабо улыбнулась Людмиле, подвигая хлебницу, когда та вилкой потянулась к хлебу, и упредительно посмотрела на Таню: она, косясь направо и налево, склонилась над тарелкой, готовая прыснуть смехом, и в серых глазах ее резвились бесенята.

— Папа, вопрос: ты считаешь меня молодежью? — спросила Таня, озорно сияя. — Или так себе — глупым подростком?

— Несомненно, разумным представителем передовой молодежи, — шутливо ответил Крымов. — Без предрассудков.

Таня почесала наморщенный нос.

— Тогда вот какие новости: в созвездии Персея в результате мощного взрыва вспыхнула сверхновая звезда. Расстояние от Земли — сто пятьдесят миллионов световых лет. Такое же явление в нашей Галактике наблюдалось во втором веке нашей эры. Вот какая штука произошла, просто голова за голову заходит...

— Очень интересно, — сказал Крымов. — Слава богу, одной звездой стало больше.

— Это коллапс, — строгим голосом проговорил Валентин.

— Что-что? — воскликнула Таня, подпрыгивая на стуле. — Объясни, пожалуйста, что такое, в самом деле? Ты у нас все знаешь, что, куда, зачем и так далее.

— Не все, — поправил Валентин и покосился на Людмилу; она аккуратно отрезала от огурца колечки, макала в сметану и аккуратно ела, опустив остренький нос к тарелке. — Я знаю то, что знаю. Все знать нельзя, дорогая сестра. Что касается твоего рассказа о рождении новой звезды, то это результат коллапса, сжатия материи в космосе при термоядерных реакциях.

— Ай, как здорово! Потрясающе! — произнесла Таня и, тоже скосясь на Людмилу, с мальчишеской лихостью

откусила половину огурца, захрустела им так аппетитно и звучно, что Ольга остановила ее с упреком:

— Таню-уша, ты всех оглушаешь... В конце концов ты девочка, а не грузчик.

— Мамочка, я живу в демократической стране и могу жевать как хочу! Да здравствует свобода, ура и прочее!

«Эту молчаливую Люсю не приняли ни моя насмешливая Таня, ни сдержанная Ольга»,— вновь решил Крымов, почему-то жалея чужую, остроносенькую, в марсианских очках девушку, появившуюся в их семье, и, пытаясь разрядить напряженность за столом, сказал:

— Знаешь, дочь, у Чехова в его прекрасной «Степи» есть место, где один персонаж, Дениска, ест огурец. Там приблизительно так: он отошел в сторону, сел и так стал грызть огурец, что лошади оглянулись на него.

— Вот какой молодец!— воскликнула Таня и захлопала в ладоши.— Вот это, я понимаю, мужичок — перепугал насмерть лошадей. Но я не читала «Степь». Мы не проходили. Я только видела фильм. А мы вот что проходили: Ванька Жуков, пятидесятилетний мальчик, отданный в учение сапожнику Алехину, в ночь под рождество не ложился спать и так далее...

— Пятидесятилетний мальчик?— пожал плечами Валентин.— Что за глупость! Что за нелепица!

— А потому что чертовски надоело слушать на уроке литературы про Чехова — Ванька да Ванька, бедненький, забитый, без золотого детства, и еще: дети при царизме жили в невыносимых условиях, в лаптях, работали по четырнадцать часов в сутки и питались селедкой. А потом еще: сумерки человеческой жизни, все погрязли в пошлости, в разведении крыжовника, и только одна мечта — о небе в алмазах и садах через двести лет. Терпеть не могу нашу Маригенриховну... жердь, сухарь в юбке, старая дева, губы накрашены бледной краской, а говорит в нос: гу-гу-гу...

Таня, продолжая грызть огурец, изобразила выражением своего подвижного мальчишеского лица Маригенриховну, «сухаря в юбке», и это гудение под нос, потом вызывающе скорчила рожицу Валентину, глядевшему на нее суровым взором, заговорила, все больше оживляясь:

— С ней с ума сойти можно! Однажды она вызвала к доске Кудинова, есть у нас в классе такой балбес с гиппопотамским басом, чтобы тот прочитал стихотворение Маяковского «Паспорт». Кудинов вышел, ногу отставил и начал буквально орать: «Я волком бы выгрыз бюрокра-

тизм!» — а Маригенриховна вдруг встала, зажала уши, зашла Кудинову со спины и оттуда как завизжит: «Что за безобразие!» Кудинов остолбенел, ничего не сечет, как корова перед фотоаппаратом, и никак не может рот закрыть от растерянности, а потом затоптался, как верблюд на сковородке, поворачивается к Маригенриховне, и мы тут чуть со смеху не умерли. Кто-то из наших остряков приколол ему на спину листок бумаги, а там большими буквами: «Не хочу учиться, братцы! Хочу жениться!» Понимаешь, папа? Прелесть какая...

Таня захохотала неудержимо, лукаво оглядывая всех, сверкая юной чистотой зубов, льняными, сплошь выгоревшими на солнце волосами, и Крымов не смог удержаться при виде веселья своей любимицы. Он прикрыл лоб ладонью, затрясся в беззвучном смехе, казалось, вовсе некстати, и тут вновь донесся до него укоряющий голос Ольги:

— Таню-уша, какая ты, право! Ты никому не даешь ничего сказать. И постоянно употребляешь какие-то невероятные слова из вашего школьного жаргона.

— Бред,— фыркнул Валентин.— Абракадабра.

— Не бред, а прелесть,— возразила Таня и с тем же лукавым вызовом мелькнула глазами в направлении молчаливой Люси, спросила неожиданно важно: — А вы, Людмила Васильевна, тоже, наверное, думаете, что это бред? А? Правда?

Людмила подняла от тарелки марсианские очки, старательно и опрятно вытерла губы бумажной салфеткой, выпрямилась за столом так, что ее жалкие в своей неприметности грудки обозначились под майкой гордыми бугорками, сказала тонким голосом совестливой девочки:

— Они хулиганы. Так нельзя издеваться над учительницей. Их надо исключить из школы.

— Не хулиганы, а хорошие ребята,— живо возразила Таня.— И не их надо исключить, а Маригенриховну. За то, что задушила нас скукой и всякой примитивной чепухой!

— Она несчастливая женщина...

— Счастливыми бывают только дураки!

— Значит, они не дураки, дочь.

— Не понимаю, папа...

Крымов вмешался в разговор с предосторожностью, какую всякий раз проявлял, когда Таня начинала горячиться, доказывая свою правоту, разрушая все на пути к собственной истине, и, заметив вишневый румянец на щеках дочери, этот первый признак несогласия, угрожаю-

щего перейти в бесполезную страстность истиноискания, договорил примирительно:

— Не дураки, дочь, потому что счастливы.— И успокоив взглядом засмеявшуюся Таню, обратился к Людмиле давно выработанным тоном почтительной простоты, каким разговаривал с приглашенными на кинопробу молодыми актрисами:— А вы, Люся, на одном курсе с Валентином учитесь?

— Нет.

— А чем вы занимаетесь? Где учитесь?

— Я работаю.

— Где?

— Вячеслав Андреевич, вам не понравится моя профессия.

— Но раскройте секрет, если это возможно.

— Отец,— вмешался Валентин, насупив темные брови,— ты задаешь Людмиле вопросы, как на экзамене. Не все ли равно, в конце концов, чем занимается невеста твоего сына. Любят не профессию, а человека.

— Ты прав,— сказал Крымов.— Но профессия — половина человека.

— А другая половина?

— Это несовершившееся, неудовлетворенное, это мечты, упование на жар-птицу, иллюзии.

— Все мы, отец, живем придуманной жизнью. Все дворники, все министры и все наполеоны от догматизма.

— Мы живем в неблагополучном мире. Так вернее,— поправил Крымов, пожалев о несокрушимом с детства упрямстве Валентина, и снова дружелюбно обратился к Людмиле:— И тем не менее я любопытен. Чем вы занимаетесь, Люся?

«В сущности, какое я имею право задавать ей вопросы? Да еще с настойчивостью начальника отдела кадров, что уже неприлично во всех смыслах...»

— Я работаю, Вячеслав Андреевич.

— Наверное, в каком-нибудь НИИ лаборанткой? Ходите в белом халате и называете своего начальника шефом? Не угадал?

— Не угадали. Я работаю закройщицей в женском ателье.

— Ах вот как? Интересно.

«По какой причине я так удивлен? Ждал другое? Хотел для сына невесту иной профессии? Что именно я хотел?»

— Вячеслав Андреевич, вы как-то странно на меня посмотрели...

Люсин голосок прозвучал с кокетливой обидой, но не голос смутил его, а та противоестественность, какая представилась в возможном соединении всегда мудрствующего, углубленного в себя Валентина, студента Института кинематографии, с этой миниатюрной закройщицей в противосолнечных очках, с капельками пота на остром вздернутом носике. Ольга сидела молча, в скорбном безучастии, ложечкой чертила вензеля на скатерти.

— Странно посмотрел? Извините, Люся. И примите это за присущее мне любопытство,— проговорил Крымов вежливо.— Меня попросту интересует ваша профессия. Что вы конкретно в ателье делаете? Я понимаю, как трудно бывает иногда угодить жрицам моды.

— Это вовсе не интересно, Вячеслав Андреевич,— сказала Людмила.— Моя профессия очень обычная. А вот я люблю ваши фильмы. Такие сильные, такие добрые люди — почему только они у вас почти все погибают на войне? Мне жалко их. А последний ваш фильм, который сейчас в Париже премию получил... Как он называется? «Необъявленная война»... Вы там хотите сказать, что люди губят природу и губят землю и самих себя? Я запомнила: у вас там один герой, ученый, очень грустный, говорит своему другу: «И все-таки человек живет не для того, чтобы превратиться в пищу для шести пород могильных червей. Найти смысл жизни — счастье. А счастье — это то, чего мы сами не испытали...»

— У вас хорошая память, Люся.

— Людмила — киноманка, отец,— сказал Валентин с ласковой снисходительностью.— Она не пропускает ни одного нового фильма.

— Я читала в интервью, Вячеслав Андреевич, что вы выбрали на главную роль молодую актрису из Большого театра, которая должна была сниматься,— тоненько проговорила Людмила, и голос ее запнулся.— Я слышала, что с ней произошло несчастье, и мне так жалко... В этом интервью была ее фотография — чудо, какая красивая!

— Ты говоришь об актрисе, которая недавно погибла?— спросил Валентин, хмуро вглядываясь в противосолнечные очки Людмилы.

— Я запомнила ее фамилию — Ирина Скворцова. Я слышала, что у нее была травма, ей запретили танцевать, а вы ее взяли на роль, Вячеслав Андреевич. Какой вы добрый!..

— Она была одаренной актрисой.

«Как их соединить? Каким образом? Ольга, Люся, Валентин... Где связь? Где ниточка логики? Выдержанная Ольга, святая женщина, и рядом остроносенькая Люся, ограниченная, видимо, довольно девочка с глупенькой смелостью. Что сближает ее и чересчур серьезного, погруженного в себя Валентина? Физическое влечение?»

— Мне так жалко ее,— повторила шепотом Людмила, клоня голову.— Ой, как мне жалко, Вячеслав Андреевич...

Валентин мрачновато сказал:

— Лю-уся, ну что за сантименты! Лишняя трата нервных клеток. Произошел несчастный случай, каких в одной Москве происходит каждый день сотни.

— Не командуй, жених, ты еще не муж!— вмешалась Таня задиристо.— Людмила Васильевна сама знает, когда ей тратить нервные клетки, а когда нет. Тоже мне командир нашелся!

— Как непонятно, дико, нелепо...— одними губами прошептала Ольга, неслышно положив ложечку на скатерть, и Крымов почувствовал, что у него сдавило сердце от ее скрытого страдания.

— Дорогая сестра, я с пеленок противник глупой дидактики, как тебе должно быть известно. Я за полную свободу личности,— возразил Валентин и, неуклюжий, длинношеий, озабоченно сказал Людмиле:— Сними очки, они тебе мешают.

Она послушно сняла очки, а он, словно бы никого не стесняясь, тщательно вытер ей платком лоб и щеки и заговорил хладнокровно, глядя на ветви берез, ломящиеся в распахнутые окна террасы:

— Вот Люся вспомнила о твоем последнем фильме, отец. Я тоже о нем думал. В наш прагматический век ты хочешь, чтобы люди, бессильные муравьишки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга. Ты веришь в свою мысль до конца, отец? Всерьез думаешь, что нравственный прогресс сильней технического?

— Ну, начинается собачья философия!— всплеснула руками Таня с возмущением.— Был молчун, а стал болтун невыносимый, спорщик и никому не дает слова сказать! Заговорил всех до потери сознания!

— Таня, не мешай. При чем здесь собачья философия? Что за глупые выражения? Я долго не видел отца.

— Никому не дано знать полную правду о себе,— сказал Крымов и встретился с умоляющими глазами Ольги.— Человек только потому человек, что живет среди людей.

Валентин спросил упрямо:

— Но добро или зло искони заложено в людях?

— Не жди от меня банального восторга: заложены добро и зло. Время безжалостней людей. Представь диалог с самим собою: «Я стал другим?» — «Нет, я остался прежним. Но изменилось время — и я стал другим». Время изменяют люди, а людей время.

— Поэтому, отец, я убежден, что духовный прогресс бессилен перед техническим. И все судорожные попытки интеллектуалов внести в двадцатый технологический век сентиментальную нравственность прошлого — бессмысленны. Это не цинизм, отец. Человек должен пройти через испытание сытостью и комфортом. Совместить такое с духовностью жизни нельзя. Нужен бензин для машин и нужно вообще топливо — значит, надо качать нефть из земли, нужно для строительства дерево — значит, необходимо вырубать леса. Пиджак и брюки из духовности не сошьешь...

— Твоя смелость, сын,— желание увидеть голого короля одетым.

— Имеешь в виду технологический прогресс?

— И еще маленькую деталь — смысл человеческой жизни, которую не хотелось бы видеть голым королем.

— Если бы человек был бессмертен, он не думал бы о смысле жизни, отец. А бессмертие ему может дать только технический прогресс, технологизация, а не евангелие нравственности и так называемая духовность.

— Ты молод, Валентин. Человеку порой не хватает целой жизни, чтобы понять, что жизнь свою он прожил бессмысленно.

— Парадокс, парадокс.

— Парадокс — одна из форм истины. Очень не хотел бы, Валентин, чтобы ты прожил свою жизнь под знаком техники, которая якобы все решит. Техника и, кстати сказать, твой киноаппарат ничего не решат, если не ты будешь служить ему, а он тебе разумно подчиняться.

— Отец, я не проживу жизнь бессмысленно.

— Как непонятно... Как нелепо...— растерянно повторила Ольга и, поймав взгляд Валентина, спросила чуть слышно:— Расскажи лучше, Валя, как вы с Людмилой собираетесь жить. На какие средства? Ты не кончил институт, тебе еще учиться два года...

Валентин замкнуто молчал, замолчала и Ольга.

— Я получаю сто сорок рублей, Ольга Евгеньевна,— проговорила внезапно Людмила обиженным голоском.— Потом я могу шить и на дому. Я сумею заработать гораздо

больше. Пока нам хватит. Мы будем жить у моей матери... На троих у нас комната восемнадцать метров. Правда, в общей квартире. Ты ведь не против? Знаю, ты не против.

Она слегка погладила руку Валентина, и слишком согласный его кивок сказал Крымову, что незаметная воля остроносенькой девочки распространялась на сына ощутимой властью, растапливая и подчиняя его упрямство, его склонность к постоянным возражениям.

— Не рано ли вы решаете свою судьбу?— сказала Ольга с тихим укором.— Ради чего вы так торопитесь? Я умоляю вас, подумайте оба. Валя, ты способный человек, и, наверное, тебе небезразлично твое будущее.

— Надо жить и настоящим, мама,— возразил Валентин.— Будущее за семью печатями.

— Но печати-то придется срывать тебе,— сказал Крымов.

— Сорву, когда наступит время.

Парна́я неподвижность воздуха стояла на террасе, окруженной послеобеденным томлением в саду, и однотонно, дремотно звенели две осы вокруг блюдечка с горкой размякшей малины; мокрая от пота сорочка неопрятно прилипала к спине Крымова, и то и дело возникала мысль о дождевой благодати душа, смывающего вялость и какое-то недомогание, которое томило его весь день.

— Прошу меня извинить,— выговорил он наконец и сложил на столе салфетку.— Знаешь, Оля, еще чувствуется дорожная усталость, поэтому мечтаю только о душе и прохладной подушке под головой.

Он виновато поцеловал ее в висок и с облегчением вышел.

После освежающего душа в саду, железисто-дождевого вкуса нагретой солнцем воды, речной тепловатой сырости и влажных решеток дощатой кабинки, после всего этого удовольствия Крымов лежал на тахте в кабинете. Слабое дуновение воздуха входило из сада, где уже спадал зной,— день переломился к вечеру, и здесь, в мансарде, вольно открытой воздуху, он в задумчивом одиночестве слушал таинственный свист иволги за дверью балкона.

— Отец, не спишь? Если я тебя разбудил, то прости. Мы уезжаем...

— Это ты, Валя? Нет, я не спал.

— Да вот, я хотел сказать тебе...

И Крымов из состояния полуотдыха, когда можно было, как в пустом кинозале, просматривать киноленту сегодняшнего дня, мгновенно вернулся в реальность, приподнялся на тахте, проговорил будничным голосом:

— Что ты хотел сказать? Говори, Валя...

Весь кабинет был заполнен золотисто-медовым дымом предзакатного солнца, янтарно горели стекла книжных полок, тишина плыла из окон, и в этом светлом дыму стоял против тахты Валентин, держа в руках халатик и босоножки Людмилы, и с некоторым замешательством говорил баском:

— Мы уезжаем, отец, нам пора. Электричка через двадцать минут. Люся тебя стесняется, за вещами послала меня.

«Интересно, было ли у Валентина нечто похожее на то, что однажды я почувствовал в его годы, проснувшись после разведки на сеновале? Я тогда увидел синюю осеннюю звезду над собой и, помню, подумал, что где-то в далеком мире меня ждет женщина, которую я буду любить всю жизнь».

— Понятно,— сказал Крымов, разглядывая худое лицо сына, стараясь найти какие-то черты, похожие на него, молодого Крымова, и попросил: — Сядь на минуту. Так что ты мне хотел сказать?

И Валентин несмело присел на край тахты, комкая халат на коленях, не выпуская из рук босоножки, скосил боящиеся встретиться со взглядом отца глаза в сторону письменного стола, где на полу лежал дымящийся успокоенным золотом солнечный луч, заговорил с заминкой:

— Знаешь, отец, в нашем институте уже известно о твоих неприятностях на студии. В общем, да... И эта трагическая гибель актрисы... Я догадываюсь... я понимаю, что у тебя есть недоброжелатели.— Валентин нахмурился, все не выпуская из одной руки босоножки, а другой без всякой надобности продолжая комкать на коленях Люсин халат.— Только бы до мамы слухи и сплетни не дошли...

— Слухи и сплетни? Таня мне сказала, какие слухи дошли до нее. А что имеешь в виду ты?

— Полнейшая чепуха,— сердито сказал Валентин.— Ересь и гнусность в цветной обертке злого мещанского восторга. Обыватели от родимого кино болтают о каком-то твоем особом отношении к погибшей актрисе. Грошовая сенсация. Для меня истина, что ты не донжуан, а любишь мать. Но ей услышать злорадный шепоток будет больно.

И Крымов в желтом освещении кабинета увидел вблизи руку сына, большую, юношески неуклюжую, но чем-то до безысходности напоминающую вроде бы приснившуюся другую руку, отца Крымова, когда тот приехал домой в туманное, пропахшее паровозным углем февральское утро, руку, гладящую по плечу счастливую мать, а теперь вот мнущую этот модный нейлоновый халатик, и, пораженный силой дедовских генов, испытывая нечастое любопытство к Валентину, отдалившемуся от всех в доме «скорпионистостью» упрямства, проговорил вполголоса:

— Спасибо, сын. Ты прав. А вот как у тебя? Скажи по-мужски: правильно ли ты сделал выбор? Не расстанетесь ли вы через год, когда ничего общего у вас не окажется?

— Разве в этом сейчас дело, отец?.. Ну что ж, я пошел. До свидания, прости, если я...

— Насчет прости — лишнее, пожалуй. Мало кто знает, кто и кого должен прощать... И за что и почему.

— Согласен — господствует случай.

Валентин натянуто кивнул отцу, прощаясь (поцеловать не решился), и пошел к двери, как-то угловато, подчиненно неся халатик и босоножки, и узкими плечами, походкой своей, потертыми джинсами, весь родной и чужой, вдруг корябнул жалостью в душе Крымова. «Я не знаю своего родного сына. Да имею ли я право ему советовать?»

И опять погружаясь в пустой кинозал одиночества, он увидел сверху долину, солнечный туман садов, виноградников, черепичные крыши городка, и тянуло весенним теплом из утренней долины, сладковато-легким воздухом... «А где это было? В сорок пятом году в Австрии?»

Потом послышались голоса из сада, и он с неохотой встал, вышел на балкон. Солнце склонялось к закату, за сосны, везде в саду покой, сонная лень, все пахуче, истомлено, смолкли разморенные за день птицы, протянулись тени на траве под яблонями. И в этом летнем, неподвижном затишье перед прохладой и сумерками стоял у калитки, едва видимой в зарослях сирени, Валентин, держа ловкий саквояжик, должно быть принадлежащий невесте. А она, стройно переступая тонкими ногами, вся выпрямленная, приближалась к нему по дорожке в сопровождении Ольги, слушая ее, и откидывала со щек длинные кофейные волосы.

— Пока, отец!— крикнул Валентин, небрежно помахал своей крупной рукой («рука деда»), и тотчас оглянулась Людмила, мигом обрадовалась остроносеньким личиком,

тоже помахала в сторону балкона, забыв про Ольгу, взглянувшую на мансарду тревожно.

«Ольга не приняла ее. Она испугана, расстроена решением Валентина»,— подумал Крымов и почему-то сравнил миниатюрно-игрушечную Людмилу с подтянутой, вышколенной аскетизмом йогов, еще молодой фигурой Ольги, старше невесты в два раза, с ее подчеркнуто аккуратной прической, какую она носила всегда. И сравнив, почувствовал, как остро вгрызается в душу жалость к Ольге, к Людмиле, к Валентину, что было и несколько минут назад, когда сын уходил из кабинета; жалость, смешанная с любовью, с опасением, похожая на тоску, на вину перед ними всеми за то, что никто не знал ни самого себя, ни друг друга.

Крымов видел с балкона: Ольга проводила Валентина с невестой, возвращалась к дому торопливыми шагами, натягивающими юбку, шла, опустив голову, и он позвал, охваченный порывом сострадания:

— Оля!

И сбежал по лестнице на террасу, куда она всходила из сада, обнял ее, покорно уткнувшуюся ему в плечо как за надежной защитой.

— Оля, здесь мы ничего не можем сделать. Они решат сами, как и мы когда-то.

— Я боюсь оставаться одна, когда ты уезжаешь,— прошептала Ольга и заглянула в глаза бархатной чернотой.— Я боюсь, когда детей нет дома. И мне становится не по себе, когда проходит день и начинает темнеть. Я не хочу, чтобы ты куда-то уезжал...

Он ответил, целуя ее в кончик носа:

— Глупенькая, суеверные люди боятся темноты, потому что у них в крови древняя боязнь ночи. Но ты-то просвещенная женщина.

— Вячеслав, это другое,— возразила Ольга.— Мы живем в каком-то тревожном благополучии. Что-то может произойти.

— Почему ты заговорила о страхе?

— Это больше, чем страх. Ужас перед тем, что может случиться.

— Не понимаю.

— Я боюсь.

— Оля, милая... чего?

— Я боюсь всего: неправдоподобной жары, которой не было сто лет, ужасной темноты ночью и тишины в твоем кабинете. Такая жуткая бывает тишина на рассвете. Мы

живем в каком-то нехорошем ожидании. У тебя, я знаю, неприятности. И Валентин приводит меня в отчаяние. О боже, чего только о тебе не говорят... И чего только я не передумала. Я боюсь, что все разрушается. И я уже не знаю, любить тебя или не любить,— сказала она с горькой полушуткой и провела пальцем по его губам.— Может быть, между нами все кончилось?

«Нет, лучезарного благополучия не было в нашей общей жизни. Она не верила мне. И был постоянно тлеющий след тревоги».

— Оля, я люблю тебя так, как в сорок шестом,— выговорил он хрипло.— Ты можешь в это поверить?

— С трудом.

— Напрасно, Оля.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Уснул он поздно.

С вечера и до глубокой ночи читал дневники Льва Толстого, которые были его отдушиной и его беспокойством, открытые им лет десять назад, когда он был наивен, дерзок, доверчив и бессмертен, ибо не предполагал в ту пору многого, что познал и понял после пятидесяти лет. Он не задумывался тогда всерьез, что в неизбежный срок надо будет сходить на конечной станции и навечно оставить в уютном и грустном земном купе весь свой наработанный целой жизнью багаж, по-видимому ненужный безжалостному будущему с его рационализмом технологической и машинной эры, тем более что память людская — величина непостоянная.

Но всякий раз в дневниках он находил то, что успокаивало Толстого убеждением и возбуждало страждущей верой в усовершенствование мира посредством обращения к самому себе ради увеличения любви друг к другу, любви не плотской, не физической, а духовной. В ее обнаженной, даже насильственной разумности он видел ключ ко всей нравственной жизни великого человека в последние его годы, и, натыкаясь на следующей странице на сострадающую всему человечеству фразу: «Как же мы можем когонибудь не любить, когда знаем, что все приговорены», он снова возвращался к записи о науке и искусстве, которые — «только при братской жизни... будут другие».

«Что сказал бы он?— думал Крымов, положив книгу на грудь, глядя в потолок на зеленый круг настольной лампы,

зажженной у изголовья.— К сожалению, не произошло увеличения любви, братская жизнь не наступила, а мы так неистово ждали ее после войны. Сытость, соблазн и владение материальными благами не сделали многих из нас лучше. Кто виноват? Мы все. Мы слишком заботились о легкой жизни и забыли о главном — во имя чего дана нам жизнь. Да, вот здесь... на тридцатой странице... какие точные, какие современные слова: «Добро, обличающее людей в их зле, совершенно искренне принимается ими за зло. Так что милосердие, смирение, любовь даже представляется им чем-то противным, возмутительным». Почему все-таки не произошло совершенствование? Война? Выбита лучшая часть нации? Вернее всего: мы до сих пор не заделали бреши. Куда исчезли нравственные правила и устои, без которых Россия немыслима? Вот какие он пишет слова неуспокоения: «То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть — в нем жизнь. Как рост дерева. Но сук или силы жизни, растущие в суку, не правы, вредны, если они поглощают всю силу роста». И дальше еще отчаяннее: «Когда будет в людях то же, что в природе? Там борьба, но честная, простая, красивая. А тут подлая, я знаю — и ненавижу ее, потому что сам человек». А вот двадцать шестого июля девяносто шестого года еще безвыходнее: «И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь»...»

Эта ненависть к самому себе, резкое обнажение и неприятие дурного и ложного, когда «все нарядные, едят, пьют, требуют», не зная жертв народа ради этого, и сожаление об утрате молодых радостей, молодого веселья, боязнь «перехода» и спокойное ожидание смерти, ежедневное неустройство в семье («...несть пророк без чести»), возникшее из-за тяжелого непонимания между ним и сыновьями, смирение и вдруг восторг перед сущим («Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого») — все это не было для Крымова чтением. А было особым наслаждением, болью, соучастием в том до предела искреннем подвиге, земном и вместе поднебесном, когда великий добровольный мученик все соединенные пороки, страсти, ложные пути и беды человеческие хотел взять на свою душу, простить нелюбимых и, думая о них с любовью, спасти мир...

Вместе с болью наслаждения, упиваясь душевной обнаженностью чужой мысли, Крымов, порой не без всезна-

ющего современного цинизма (который в те минуты постыдно жил в нем), споря с одержимой и противоречивой верой пророка, начинал ненавидеть и в чем-то прощать собственное честолюбие и неискренность. Он ненавидел взаимную фальшь вынужденного товарищества, взаимного восхищения коллег, что походило на выдуманный праздник постоянного успеха почти у каждого, снявшего мало-мальски сносную картину («О, родной, видел, видел, слов нет, платок доставал, когда у тебя сцена неудачной атаки... Какой ракурс, какая сила! Разреши, друг, от всей души обнять тебя и поздравить!»). И ненавидя это притворное доброжелательство, артистично и не всегда артистично разыгранное, эту узаконенную форму безопасной лести, выражающей не любовь к таланту собрата, а скрытую гордыню, зависть и равнодушие, Крымов сознавал, что со многими что-то случилось этак лет пятнадцать — двадцать назад, нечто разрушающее, пожалуй, самое главное в нем, Крымове («Мечтатель, идеалист!»),— надежду на братство, так всем необходимую надежду, родившуюся после войны и незаметно и постепенно замененную вожделенной и суетной заботой о материальном благе.

«Цивилизация достигла невиданного расцвета во второй половине двадцатого века...», «Человек надел узду на природу...», «Мы живем в разумный век небывалого технического прогресса»,— морщась, Крымов вспоминал выступления оппонентов на парижской дискуссии о его фильме и, вспоминая, представлял прошлогоднюю киноэкспедицию на край света, на Север, на Печору, где он снимал последние кадры «Необъявленной войны»...

Баркас, постукивая мотором, подходил к кольям, вбитым, расставленным поперек Печоры, где четыре лодки, покачиваясь на темной волне, выбирали сеть, вытаскивали ее, тяжелую, намокшую. И жирно, скользко блестели желтые прорезиненные робы рыбаков, их наклоненные над бортами капюшоны, их руки в резиновых перчатках. Они работали споро, оцепливая и суживая кольцо вокруг кого-то, пока еще невидимого в воде, невозмутимо спокойной, черной. И внезапно меж лодок мощно брызнуло белым огнем — над сетью скрестилось несколько сверканий молний. Этот неожиданный взрыв воды вздыбил фонтаны брызг в середине пространства, окруженного лодками, и подхваченным сигналом ударил второй всплеск засверкавших молний, и разом вся вода у кольев зашумела, за-

кипела, дико взбиваемая серебристыми зигзагами огромных мечущихся рыбин, охваченных паникой.

Они били хвостами, рвались, запутывались в сетях, судорожно стремясь выскользнуть, выпрыгнуть на волю из плена, из сжимающегося неумолимого кольца, эти красавицы самки и сильные самцы, выкованные самой природой из чистейшего серебра, исполненные главного инстинкта жизни — продолжения рода и остановленные беспощадной силой на пути к воспроизведению жизни: сети перекрывали Печору от берега до берега. И Крымову тогда показалось, что он услышал вопли о помощи, рыдания, плач, стоны, мольбу о пощаде, что можно было, наверно, услышать возле газовых камер в немецких концлагерях, когда сгоняли к ним раздетых женщин и детей и ясно было зачем...

— Мы их в сетях током убиваем,— сказал Крымову бригадир, смуглый, тонкий в поясе, с синими туманными глазами женолюба.— Вон поглядите как. Два электрода — и готово. Так гуманнее. Раньше палками заканчивали это дело, но крови было много!

— Давай!— крикнул кто-то над ухом Крымова.

И через его голову полетели в воду, кишащую гибкими сильными телами семги, два металлических короба с проволокой. Крупнолицый парень, моторист баркаса, равнодушным взором поглядывая в пасмурное небо, включил мотор, и мгновенно все успокоилось, затихло в воде, плотно оцепленной лодками,— ни всплеска, ни шума, ни сверкания. Метровые рыбины неподвижно лежали, покачивались на сетях слитками серебра, круглыми черными глазами глядя в низкое, с ползущими тучами печорское небо, куда глядел и неулыбающийся моторист, равнодушный, невинный, только что совершивший умерщвление.

И железистым запахом смерти дохнуло на Крымова от этой покойницкой тишины меж лодок, и с томящей спазмой потянуло на тошноту при мысли, что сегодня утром он ел мясо убитой электричеством семги,— так же как в определенный срок нечто ожидающее с жадностью будет есть мясо всех вот этих убийц, кто был сейчас в лодках (и его тоже), ибо закон периодов для семги, червя и человека в природе один, с разницей в ступенях биологической лестницы, при общей равности перед вечностью. Однако призванный им на помощь жалкий, но порой и спасительный цинизм не давал разумного объяснения человеческой неумеренности.

Эти красавицы семги шли из Атлантического океана мимо Кольского полуострова, прорываясь сквозь первое окружение сетей, поставленных норвежцами, шли в Печору, к ее истокам, в маленькие реки, где на перекатах самцы должны вырыть носом ямку в гальке и оплодотворить в ней выметанную самкой икру, зарыть ямку, и, уже обессиленными, погибнуть или, едва шевелясь, вновь скатиться в море. Мальки же через три года должны были направиться вслед за ними, чтобы спустя шесть-семь лет вернуться, томимые любовью, и попасть в плен и на «электрический стул», изобретенный изощренным в способах убийств человеком не для избавления от голода, а для «высокого стола» городских ресторанов и банкетов.

«Напрасно я вспоминаю об этом. Нет ответа на запрограммированную неразумность, которая через двадцать лет умертвит все живое даже на Севере. Этот с женолюбивыми глазами бригадир сказал: «Через десяток лет тут ни одной рыбешки днем с огнем... Мы ее прогрессивным способом добываем. Как лес вроде — валим и валим».

Но больше всего поразила Крымова мертвенность, кладбищенский ветер над той землей, где было последнее прибежище несравненного Аввакума.

Он увидел это через час после Печоры.

...— Вниз посмотрите! Там Пустозерск!

— Где? Пока не вижу!

— Да внизу, внизу город Пустозерск!

Вертолет завис над землей, найдя нужную точку в высоте, но там, внизу, в солнечной пропасти, не было никакого города — там, среди унылой неоглядности равнинного единообразия, блистали, вспыхивали бессмысленной игрой воды зеркала озер, вокруг которых лежала неживая, бурая тундра, сжимающая душу безнадежностью дикого, какого-то вневременного пространства.

Повисев между солнцем и землей, сатанински взревев мотором, вертолет начал быстро снижаться, опускаться к земле, и в окно стало видно, как резко заколебались, легли окружьем под ветром винта пересохшие травы, круто пошли волны по ближнему озеру. Мотор смолк. И в первобытной, ломящей уши тишине все точно очнулись, развязали ремни, поднялись с мест и нерешительно, нетвердо сошли по железной лесенке, приставленной пилотами к борту вертолета, на кочковатую землю. Ослепленный оголенным солнцем, объятый хлынувшей со всех

сторон тишиной, сладким воздухом беспредельного горизонта, Крымов огляделся, отыскивая признаки человеческого жилья, еще не веря, что это место должно было быть городом Пустозерском.

— А где дома? Где тут жили? — спросил недоуменно оператор. — Вот грусть-то, а?..

Безлюдье, солнечный северный день и ветер над плоскими озерами, над всем этим первозданным, богом забытым в своей грубой простоте и древности простором. А там, где некогда стояли крепкие дома с широкими поветями, колодцы, прочные магазины, амбары, школа, — жестокое разрушение прошлось нещадно, не оставляя никаких признаков живого. И печально было видеть заросшие бугры старых могил, останки полуистлевших крестов, и странно выделялись два новых, чрезвычайно крепких креста, недавно покрашенных голубой краской. Кто похоронен был здесь, как довезли сюда, за сотни километров, по северной тундре тела умерших? И какая цель была в этом захоронении, где вокруг ни жилья, ни человеческого голоса? Лишь солнце, озера, глушь, ветер...

Спотыкаясь о кости в траве, Крымов следом за оператором подошел к высокому серому камню на бугорке погоста, сказал:

— Снимите здесь всё.

— Значит, он? Огнепальный? — спросил оператор.

— Да, он.

Это был памятник протопопу Аввакуму, неистовому правдолюбцу, сожженному в Пустозерске царским повелением в семнадцатом веке, умерщвленному огнем в страданиях за неистовый бунт против всемогущего патриарха Никона.

Подле камня Аввакума на высушенной солнцем, давно сбитой кем-то скамейке, потрескавшейся на дожде и ветру, кругло белели два маленьких черепа, по-видимому младенческих, и отмытые временем добела младенческие берцовые кости, зачем-то положенные здесь, вероятно, из разрушенных могил.

— Экими мы тут кажемся жалкими, — сказал оператор и в нерешительности опустил киноаппарат, погладил шершавый камень. — Страдалец. А какая у него силуха была и убеждение!

— Нам всем не хватает убеждения, — сказал Крымов. — К сожалению.

— Мы просто не знаем, где истина,— усмехнулся оператор.— Променяли на модный галстук и модную юбчонку с иностранной наклейкой на заднице.

Они стояли перед камнем, читая на нем слова о не покоренном страданием и смертью протопопе, страстотерпце непоколебимом, никакой властью не наделенном, но поднявшем себя во имя своей правды и веры против царя всея Руси Алексея Михайловича и властолюбивого патриарха Никона. И Крымов с болью вообразил, как он, привязанный, горел вот здесь, в подожженной с четырех сторон палачами избе, проклиная изменников, предателей веры, уже вконец обессиленный, но неистощимый в духовной страсти,— и, сняв шапку, глядя на камень, мысленно просил у него сил, одержимости в режиссерском деле своем, зная, что других сил в помощь, кроме собственных, не будет.

Северное солнце пригревало, ветер обдувал Крымову голову на этой запущенной северной земле, где вместо старого русского городка, деревянных улиц, людских голосов, развешанных на кольях сетей теперь было заброшенное среди озер кладбище, усыпанное разбросанными в траве костями.

Летчики, двое серьезных парней, тоже постояли вместе с Крымовым в молчании, сняли голубые фуражки, потом подошел низенький рыжий радист, оживленно сказал, что недалеко отсюда нашел две могилы, не то людьми, не то зверями разрытые, в одной черепа, в другой кости рук и ног — видать, четвертовали кого-то,— и пригласил посмотреть.

— Нет,— отказался Крымов.— Хватит и этого.

Летчики с оператором ушли, а он присел на скамейку возле камня Аввакума, вблизи которого лежали выбеленные солнцем детские черепа, стараясь понять, почему они были положены рядом с ним, подвижником веры.

Когда вертолет, гудя мощным мотором, стал вертикально подыматься от земли Пустозерска, по-прежнему сияло оловянное предполярное солнце, по-прежнему оловянно отсвечивали озера, пустые, мертвые, никому не нужные сейчас, охраняемые жалкой толпой крестов и развороченных могил на покинутом погосте. По-прежнему здесь властвовало безлюдье, а вертолет уносился в высоту от казненной и сожженной земли. И только на бугре серой свечой без огня торчал камень Аввакума, напоминая о яростной, ненасытной жестокости власти и о ничтожестве и равности всех перед единым небом и еди-

ным солнцем. И тогда Крымову подумалось, что если под этим небом уже нет той энергии духа, подобного несломленному духу протопопа Аввакума, то цивилизация закончится тем, что лет через двадцать над опустошенной землей, над круглой пустыней будет летать некто, с тоской видя лишь черные пятна остывшего человеческого пепелища.

Но что, собственно, было общего между «электрическим стулом» на перекрытой сетями Печоре и Пустозерском? Почему он улетел с Севера подавленный, хотя какая-то тоненькая струйка сознания сопротивлялась в нем, пробивалась беззаботно — в надежде на что-то нескончаемое и спасительное...

«Надежда? Что это — ложь или правда? На что мы надеемся, если нам не хватает веры в самих себя?» — думал Крымов, повернув голову к раскрытому над тахтой окну, откуда вливалась пахучая свежесть ночного сада. С края окна треугольно чернел силуэт чердака в чуть светлеющем над застывшими березами небе, где было покойно и мягко теплились звезды, а под низкой, предрассветной луной серебристыми переливами круглились купы сада, оглушаемого с близкой реки блаженным стоном лягушек.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В десятом часу утра на студийной машине приехал директор картины Молочков, вместе с ним — режиссер Анатолий Петрович Стишов. Это был давний друг Крымова, человек с приятными, не вполне современными манерами, по-старомодному изысканно учтивый, неизменный кумир и любимец занятых в его картинах молодых актеров, зачарованных его благожелательной обходительностью, тонкими чертами лица патриция и его загадочной жизнью вдовца. Увидев входившего в калитку Стишова, высокого, изящного, в облегавшем сухощавую фигуру светлом костюме, Крымов обрадованно кинулся навстречу, обнял его, пахнущего после бритья каким-то заморским одеколоном, и заговорил с волнением:

— Какой же ты молодец, Толя, спасибо, что приехал! Мне тебя очень не хватало, друг мой!..

— Нечто напоминающее ничтожный комплимент презрительно пропускаю мимо ушей,— сказал Стишов невозмутимо и спросил совершенно другим, околдовывающим любезностью тоном: — А где твои милые женщины? Я хотел бы их увидеть. Хотя бы на миг. Такое в этом мире возможно?

— Ох, я тоже хотел бы увидеть ваших красавиц! — воскликнул Молочков, восторженно вращая глазами, и двумя руками потискал руку Крымова.— Ох, как я рад!..

— Ты безудержный льстец, Терентий, что всем известно,— сказал Крымов и взял под локоть Стишова.— Между тем одна очаровательная женщина занимается физическим трудом, перед тем как идти на пляж. Другая, к сожалению, уже в Москве, в своем проектном архитектурном институте.

Крымов, обрадованный приездом друга, в то же время был откровенно озадачен этим нежданным, без телефонного звонка, объединенным приездом (Стишов эгоистично любил одиночество в своей машине), однако ни о чем не спрашивая, повел Анатолия Петровича по дорожке в конец сада, где в утренней тени сосен, теплеющих стволами за крышей гаража, двигалась около машины Таня, немного заспанная, похожая на деревенского мальчишку в засученной по локти рубашке, в подвернутых старых брюках, и звонко била из шланга упругой, радугой пылящейся под солнцем струей в обтекающие ручьями стекла машины, что, по-видимому, доставляло ей удовольствие: ее чуть-чуть припухшие от сна глаза задорно щурились.

— Дочь, к нам гости,— сказал Крымов, но тотчас Стишов опередил его и заговорил с неотразимой учтивостью:

— Милая Таня, хотя разумом понимаю, что привозить из Москвы на дачу цветы — нонсенс, тем не менее не мог не вспомнить подле цветочного магазина, что вы и Ольга Евгеньевна любите гвоздики.

— Как хорошо, что вы приехали, здравствуйте! Вы давно у нас не были, Анатолий Петрович! Спасибо!

И Таня, сияя зубами, радостной юностью здоровья, неизбывным озорством, бросила в траву шипящий шланг, откинула волосы с неумелой кокетливостью женщины-девочки, ревниво удивившей Крымова, двумя мокрыми пальцами взяла букетик гвоздик, с поклоном протянутых Стишовым.

— Таня, кто ваш эксплуататор? Отец? А вы знаете, что такое прибавочная стоимость?

— Я положительный герой нашей действительности. Поэтому вам и папе советую по утрам заниматься физзарядкой,— сказала Таня, нюхая гвоздики.— Вы, понятно, не занимаетесь, Анатолий Петрович?

— Ах, Танечка!— вскричал Молочков, всплескивая руками.— Анатолий Петрович теннисист, вы видите, какая у него спортивная подтянутость!

— Клевета. Наговоры,— возразил Стишов.— Представьте, Таня, человеческому сердцу запрограммировано сделать за свою жизнь, скажем к примеру, сто миллионов ударов. С какой стати ему делать усилия сверх программы? Не лишняя ли нагрузка? Впрочем, я лгу вам — это философия ленивцев. Кое-какие жесты делаю, разумеется, для поддержания формы и романтического настроения, ибо, поднимаясь утром, с оптимизмом смотреть на лучший из миров просто необходимо.

— Да, именно: романтического настроения,— проговорил Крымов с нажимом и повел Стишова в глубину сада, к столу под яблонями, взглядывая на него в некотором раздумье.— Что касается меня, то по утрам у меня настроение еще в младенческой поре... Садись, будем пить кофе. Ты почувствуешь на свежем воздухе, что это за удовольствие. Терентий, ты ведь знаешь, где разогреть кофейник. Будь добр, если нетрудно...

Крымов уловил в своем приказывающем тоне нотку раздражения, точно после вчерашнего разговора в студии директор картины мешал сейчас и ему и Стишову, но Молочков, выказывая всей сухонькой фигуркой счастливую готовность, вскричал с восторгом: «Один секунд, айн момент!» — и артистическим жестом официанта подхватил со стола кофейник, легконого бросился по дорожке к террасе, мотая полами чесучовой куртки.

Они сели за стол под ветвями яблони, сладко обдавшей запахом листвы, еще не совсем просохшей от росы. На чистом воздухе особенно вкусно чувствовался аромат хлеба, аккуратно нарезанного в корзиночке Ольгой, пресный аромат сливочного масла, горкой белеющего в зеленой масленке, свежих ломтиков голландского сыра на тарелке — и эти запахи, и волнистая солнечная сеть на клеенке, и звук осы над блюдцем с джемом были восприняты Стишовым с одобрением человека, понимающего толк в приятностях жизни.

— Давненько я не завтракал на свежем воздухе.

Он освобожденно отклонился в полотняном кресле, расстегнул пуговицу на пиджаке и, нагнув к лицу ветку,

отяжеленную краснеющими яблоками, с наслаждением потянул носом.

— Чудо. Сказка. Джем, осы, масло, созревающие яблоки... Буду приезжать к тебе завтракать, превращусь в нахлебника. Подходя к столу, буду гудеть утробно, с поясными поклонами: «Доброго здоровьица...» — И отпустив ветку, закинул ногу на ногу, взглянул голубыми глазами на Крымова.— А если серьезно, то, несмотря на всю эту прелесть, Вячеслав, вид у тебя не очень... Не будешь возражать, если я задам тебе два вопроса?

— Согласен,— сказал Крымов.— Но сначала скажи, что тебя объединило с Молочковым в этом приезде? Впрочем, могу догадаться. Дирекция студии, по-видимому, предлагает тебе поставить мою картину, которая, как известно, остановлена.

— Боже упаси!— сделал протестующий жест Стишов.— На это я бы не согласился никогда. Ни при каких условиях. Даже если бы мне обещали по сто тысяч за съемочный час и гарем падишаха каждое воскресенье. Я, знаешь ли, как-то еще не почувствовал в себе штрейкбрехера.

— А я был бы рад твоей кандидатуре. Именно твоей. Но для верности они будут искать ремесленника. Средний фильм, как ты знаешь, не вызывает у начальства неудовольствия. Равнобедренный треугольник середины устраивает многих.

— Вячеслав, все пройдет и минует. Фигурки студийного начальства займут на шахматной доске свои места в ожидании, когда их передвинут, и свой фильм будешь снимать ты сам,— сказал Стишов, со вкусом закуривая, гася спичку гибким помахиваньем кисти, со вкусом вдыхая дым, и Крымов улыбнулся с благодарностью к нему за воспитанное умение смягчать то, что едва поддавалось терпеливому уравновешиванию.— Теперь вопрос первый: почему не позвонил, прибыв из Парижа, легкомысленный ты человек?

— Хотелось прийти в себя. Самочувствие было там не вполне как надо.

— А что?

— Да как тебе покороче сказать...— Крымов помолчал, поглаживая небритую щеку.— Два месяца разбираюсь в самом себе. Очаровательная это штука — депрессия. Да и что другое может испытывать русский интеллигент, когда ему кажется, что он виноват перед всем миром.

— Ищешь, стало быть, в этом спасение. Не ты первый. Все мы, Вячеслав, прожили жизнь не так, как хотели бы. Где она, долгоискомая, все примиряющая истина? Как только человек начал думать о себе и братьях своих, он ужаснулся несовершенству сущего и своих близких.

— Не удивляйся, Толя, сегодня ночью я думал о протопопе Аввакуме и о великом самообмане, которому мы все подвержены,— сказал Крымов, нахмуренно разминая сигарету.— Дело, вероятно, в том, Толя, что каждому из нас при жизни не хватает воли быть самим собою. Мы играем заданную роль, а не живем естественно. Знаешь, в чем вина мировой интеллигенции, и в том числе наша с тобой? Сон, инерция разума и покорность обстоятельствам. Все мы пленники обстоятельств...

— А по-моему, попросту твоя гордыня наживает тебе врагов и вызывает недовольное изумление начальства.

— Если бы гордыня, Толя! Игрушки. Я все время думаю об Ирине Скворцовой. Милая, чистая, талантливая... И именно она не выдержала грязи и лжи. Вот это и есть покорность.

— А может быть — наоборот.— С задумчивым лицом Стишов положил руку на колено Крымова.— Но тоже не уверен. Трудно вообразить, чтобы такая удивительная девочка, получив роль, вдруг решилась... Скорее всего несчастный, трагический случай.

— Ее смерть для меня загадка, Толя.

Стишов помедлил, осторожно высвободил чайной ложечкой осу, увязшую в блюдце с клубничным джемом, сказал:

— Слышал ли ты, дружище, что есть на свете средство от бессонницы и для общего успокоения? Валиум. Испробовал на себе, поверь — сплю, как индюк, никаких вечных вопросов, просто в полнейшем недоумении. Отдыхаю, снятся молоденькие индюшки в каких-то коротких фартучках. Возникло игривое направление ума.

— Вот это и есть инерция разума, дорогой Толя.

— Сейчас ты меня будешь ругать еще крепче,— сказал Стишов сокрушенно.— Ругай коварную скотину. Прошу, ругай.

— Выругаю. Но за что?

— Слабым разумом я понимаю, что во всех глупостях мы должны винить прежде всего самих себя. Позволь спросить: кому мстит неудачник? Самому себе. Неудачник насквозь нудила и себялюбец. Хочется хотя бы перед собственной персоной выглядеть поумнее. Неудачник

этот — я. Ибо скот и тряпка. Не мог отказать. Наш турецкий балабан пригласил меня сегодня в восемь утра и в течение получаса багровел так, что от его ужасающей багровости можно было прикуривать, засучивал рукава, уговаривал, сопел, едва не рыдал...

— Да что такое?

— Чтобы быть мне поумней, сперва ответь на второй вопрос, а потом уж в шею, в шею, взашей меня, дурака... Скажи, Вячеслав, у тебя есть желание встретиться с Джоном Гричмаром? Имя это, конечно, тебе известно...

— Что значит «встретиться»? — раздраженно дернул плечами Крымов, не беря в толк, почему Стишов спрашивает его об этом и почему вдруг возникло имя американского режиссера и продюсера Джона Гричмара.— Я в Париже не раз встречался с ним, и, что называется, в кабаках было выпито много виски. Он в Москве, что ли?

— Он приехал вчера. По дороге из Парижа в Америку. И рвется к тебе, хочет встречи только с тобой. И никого другого не признает. Сперва ему говорили, что ты болен, то да се, а Гричмар заявил, что останется в Москве до тех пор, пока не увидит тебя. В общем, балабан в тихой панике, впал в прострацию и, зная о наших с тобой отношениях, чуть не на коленях умолял уговорить тебя встретиться с Гричмаром. Кстати, вся студия говорит, что у тебя с балабаном был крупный диалог. О боже, нашла коса на камень! Представляю, как вы орали друг на друга и ломали в кабинете стулья.

— Был полукорректный разговор, но стульев никто не ломал. Хотя пора бы уже,— сказал Крымов.— Понимаешь, в чем мерзость? Некоторой студийной публике почему-то нравится, когда кто-нибудь из заметных попадает в сложное или неудобное положение. Откуда, скажи мне, такое злорадство? Может быть, это разряженная зависть, которая уже стала сильнее ненависти? Вон, вишь ты, такой известный человек, денег куры не клюют, каждый день небось в ванне с шампанским купается, а че оказалось-то: развратник, пьяница подколодный, убийца, да к ногтю его, к ногтю, сволочь гордую, чтоб знал, как над людьми подыматься, чтоб знал, как жареный петух...

— Прискорбно,— сказал Стишов, следя, как меж ветвей яблонь в высокой синеве расходились, дымами таяли круглые облака.— К великому огорчению, испокон веку посредственность удобна, послушна и неопасна. Таланту же большей частью тайно завидуют, но его побаиваются и любят вынужденно. Ненавидя любят... Так ты будешь

встречаться, Вячеслав, или?. Что мне прикажешь соврать балабану? — спросил Стишов и полулег в кресле, нежась, подставляя лицо воздуху, лучам солнца, сквозившим через листву; его серебряная седина, беспечная поза говорили о благополучии, о безмятежном равновесии духа, но голос звучал неестественно спокойно. — Я бы тебе посоветовал не обострять отношения с Балабановым. Он чиновник опасный и хитрая большая дубина, причем мстительная, что хуже всего. Я не хотел бы, чтобы ты нажил на студии врага номер один. Зачем тебе эти радости?

— А! Пусть идет он, идет и идет... все дальше, как в том известном анекдоте, — сказал рассерженно Крымов и, увидев на дорожке летящего от террасы на легких ногах Молочкова с кофейником, даже щелкнул пальцами, наигранно восхищенный: — Ну что за воспитанный у меня директор картины! Появляется тогда, когда необходимо. Поразительная интуиция.

— Ты на него не сердись, — проговорил Стишов миролюбиво. — Он человек подчиненный во всех смыслах.

Весь излучая бодрость, энергию, услужливое расположение, Молочков подлетел к столу, ловко поставил кофейник на подставку, поводил носом над кофейником, заговорил с блаженством влюбленного:

— Ах, какой аромат идет, прямо голова кружится, умереть можно! Сейчас мы кофейку выпьем на садовом воздухе, как давеча говорил Вячеслав Андреевич, и все будет чудненько, чудненько! — И разливая в чашки дымящийся кофе, преданно скосил на Крымова возбужденные глаза, слабым голосом проговорил с задышкой: — Не погубите, Вячеслав Андреевич, американец, Гричмар-то, только вас требует, а сам Балабанов к вам не осмелится... А на меня так надавил, чтоб вас я нашел, аж не знаю, как мне на студию возвращаться. На колени перед вами встану... Поговорите с капиталистом... Прогонит он меня, Балабанов, ежели не удастся с американцем. Миллионер все же он, картину с нами совместную хочет...

— Ну хватит, хватит тебе, Терентий, изображать несчастненького! — прервал Крымов. — Видеть тебя на коленях безмерное удовольствие. Подозреваю, ты скоро начнешь писать сентиментально-трагические сценарии из жизни директоров картин...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Слушай, Джон, не будем говорить сейчас о мировом кинематографе. По-моему, в Париже мы с тобой перемыли косточки всем режиссерам мира, лучше скажи мне, как живет Америка. И говори по-русски как умеешь, хоть практика для тебя будет. Что трудно, переведет Анатолий Петрович Стишов, мой друг. Согласен?

— О так, хо-ро-шо, я могу немного говорить. С Америкой все в порядке. То есть... Ничего не в порядке, но-о все-таки в порядке. Нью-Йорк на месте. Вашингтон на месте. Я вижу, и Москва стоит громко... Нет, нет, как это называется? Крепко. Правильно я сказал, Вячеслав?

— Пожалуй, правильно.

Они сидели на открытом воздухе в ресторане на последнем этаже знаменитой московской гостиницы, где обдувало то прохладным, то теплым ветерком; солнце уже напекло материю зонтиков, купола их над столиками становились будто все прозрачней, все тоньше. Но здесь, ближе к небу, было несколько свежее, чем на улицах, отдаленно и сложно шумевших внизу. Там, в солнечном туманце, в знойном блеске, отлакированными пунктирами, расходясь по кругу площади и сходясь, скользили, ползли машины мимо Манежа, мимо Александровского сада. Там, далеко внизу, раскаленной пылью осыпались искры троллейбусов и, наверно, вонь выхлопных газов, жара на асфальте, где шевелились толпы людей, была невыносимой.

Джон Гричмар, пожилой человек крупного сложения, толстоватый в плечах, толстогрудый, как это бывает у тяжелоатлетов, ушедших из спорта (хотя спортом он никогда не занимался), чистоплотно обтирал носовым платком мясистое пылающее лицо, отпивал коньяк, курил одну сигарету за другой, жмурясь от дыма, от щекочущих виски капель пота, а маленькие умные глаза его, похожие на переспелые вишни, смотрели зорко и пытливо. Во всей его грузной фигуре не было особо заметно ни летней разморенности, ни вялости, ни лени, и это не удивляло Крымова, ибо после встреч в Париже он знал неутомимость Гричмара в питье, разговорах, сидении за стойкой в баре, знал его уменье не спать ночь напролет, а утром быть свежим, выспавшимся, готовым к просмотру фильмов, к дискуссиям, к крепким напиткам.

— Такая безбожная... Так я говорю?.. Фантастическая жара в Москве,— сказал Гричмар, обмахиваясь платком, и засмеялся, забелели одинаково ровные, подозрительно

молодые зубы.— Такая духота бывает в Нью-Йорке... Ад с перевыполнением плана. Так у вас говорят? И днем и ночью. Апокалипсис идет... К нам и к вам. Так есть? Мы его увидим, Вячеслав. Евангелие от Иоанна.

— Вполне вероятно,— ответил Крымов.— Я знаю, Джон, как ты блестяще умеешь жонглировать словами. Поэтому очень прошу тебя: говори по-английски, где ты бог, а не по-русски, где ты кое-какие краски подзабыл. Иначе как я с тобой буду ругаться?

— О, мы начали ругаться в Париже, и где конец?

— Доругаемся здесь, в Москве, если повезет.

— По матушке?

— Можно и по матушке.

Тут Стишов, со сдержанным вниманием наблюдавший Гричмара, опустил глаза, явно осуждая грубоватость фраз обоих. Он молча рассматривал на столе свою изящную, самой породой выточенную белую тонкую кисть, запонка на рукаве его белейшей сорочки посверкивала кошачьим зрачком; затем потянулся к бокалу с боржомом, лишь непроницаемостью патрицианского лица выдавая непонятное Крымову напряжение. Молочков, только что вернувшись от метрдотеля, удовлетворенно посасывал через соломинку безалкогольный коктейль с растаявшим в нем мороженым («Я, извините, при исполнении обязанностей, и крепкое пить мне нельзя») и всем своим скромным видом распространял успокаивающую деликатность маленького, сознающего соответствующее место человека, которому не по чину без надобности вмешиваться в разговоры крупных людей. Он знал, что в данных условиях обязанности всякого уважающего себя администратора определенны: в случае нужды незамедлительно взбадривать подспудные ресторанные силы для необходимого порядка на столе ради высокого иностранного гостя, как издавна в России заведено.

«А на кой черт, собственно, со мной Молочков?— вскользь мелькнуло у Крымова.— Пожалуй, затем, чтобы сообщить Балабанову, как прошла встреча».

— Терентий,— недовольно проговорил он, намеренный сказать, что не здесь, а в съемочной группе истосковались по его чуткому руководству, но тут же охладила мысль о зыбком положении, создавшемся на студии с картиной, и, увидев покорное лицо Молочкова, способного, казалось, к беспрекословному выполнению малейшего желания Крымова, ничего не сказал ему, а полушутя обратился к Гричмару:— Не уходя от главного вопроса, Джон, давай

восстановим правду современной истории, хотя я знаю, что история — это не биография правды... Или ин вино веритас? [1] Твое здоровье...

Гричмар поднял палец в знак понимания, отпил глоток коньяка, вытер пот на толстых щеках и, не закусывая, затянулся и пыхнул сигаретным дымом, смешанным с добродушным смешком.

— Коньяк — тоже истина. Но-о... Опять история? Сказать по-русски? Нет, будет плохо. Не найду слов. Скажу по-английски. Мистер Стишов, переведите, пожалуйста. (Стишов вежливо кивнул.) История — это не биография правды, а биография лжи. Так? Нет? История Америки — это цепь вынужденных преступлений или просто преступлений — разницы нет. Как и вся история у всех. Я часто думаю, мой друг Вячеслав, что никто в современном мире не ответит, существует ли исторический отсчет дней или все обман. Неужели бог обманул человека, дав ему жизнь? По-русски это трудно сказать,— добавил Гричмар и изобразил трудность кругообразным движением сигареты.— Я когда говорю по-русски, то могу врать смысл... А что ты скажешь об Америке?

— М-да! Ты быстро свернул на меня. Ну ладно. Не кажется ли тебе, Джон, что человек обманул бога, в которого ты веришь?— заговорил Крымов, подхваченный волной сопротивления и загораясь огоньком спора, который всегда приносил ему удовольствие азарта.— Не хочу обижать твои религиозные чувства, Джон, но неужто человека выдумал потерявший разум бог? Нравственности и духа он дал ему до невероятности мало, жадности и глупости — много. И в конце концов, в наш век дьявол взял да и посмеялся над богом и гомо сапиенсом: вынул, а может, купил у него душу и подменил ее, понимаешь, Джон? Вместо духа вложил роскошнейший телевизор и противозачаточные таблетки, гарантирующие девицам и добрым молодцам полную свободу...

— Но-но-но, дальше говори.

— Говорю дальше. Зависть и ложь, ничтожные рабыни, стали владычицами. И почти всем миром управляет безличный рок: банки, мафия, политики-марионетки. И знаешь, что страшновато? Американское невежество и безумие денег стали непобедимыми законодателями мод, и произошла деградация мирового вкуса. Так кто победил? И что победило? Дешевый блеск и худосочные таланты.

---

[1] Истина в вине? (*лат.*)

И на пьедестал возведены мишура, тупость и порнография. Черт знает что такое! Фильм о жрицах однополой любви смотрят миллионы людей, а интеллектуалы восторгаются смелостью вседозволенности. Виват содом и гоморра, господа Мазох и де Сад! Помнишь в Париже дансинг, где французские девочки в платьях моды Мэрилин Монро, а парни в майках с физиономией Элвиса Пресли выделывали дьявольщину под тот же американский рок? Половина девиц мира носит негигиенические во всех смыслах джинсы, натирая задницу и нежные места. Мировая мода! Ей не до урологов и гинекологов.

— Не так грубо, Вячеслав,— сказал вполголоса Стишов.— Ты сердишься.

— А что, собственно, я должен делать — сюсюкать по протоколу? Меня интересует, что думает по этому поводу Джон, а не то, насколько ему приятно слушать меня.

— Ты говори. Я внимание. Я повесил уши. Так говорят?

— Да, Джон, после войны Америка навязала всему миру свой бешеный денежный ритм, а сейчас все чудеса своей американской цивилизации — бесцеремонную пошлость, рекламу, красивые этикетки и милую эстетику атомных бомб. Не думал ли ты, что Америка приучает мирового обывателя воспринимать войну как черту современной жизни? И знаешь почему? Ни хрена вы не прошли через страдания... Анатолий, переведи на английский: ни хрена...

— Нет, ноу!— вскричал Гричмар, вздымая крупные руки.— Мой отец был русский, купец, я понимаю! Говори!..

— Вторая мировая война была для Америки веселой опереттой, военным шоу. Только, правда, голых девиц не было. Тогда вы были скромнее. Пришли к концу боев под звуки «Типперери». Триста тысяч убитых, а не двадцать миллионов. В автомобильных катастрофах погибло у вас больше, чем в войну. А главное, Джон, Америка сейчас несет всему миру разврат духа и великую ложь, которая называется сверхцивилизацией и истиной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или все-таки перевести на английский? Очень многие, Джон, живут под знаком крушения человека, которое несет эта ложная цивилизация, понимаешь? Наш век расшатан безнравственностью большинства ученых. Все бессмысленно, Джон, когда технический прогресс безнравствен. Он создает, чтобы разрушать... Он против человека и превращает человеческую душу в пустыню.

Хочешь, скажу злее? Все эти американские моды в архитектуре, в музыке, в одежде... да во всем, даже в кока-коле,— это бытовой и интеллектуальный концлагерь, который распространяется по миру. Впрочем, многие хотят этого американского концлагеря. Мирового обывателя прельщают мишура, красивая упаковка, его легко обмануть... Вот видишь, Джон, как я сердито говорил о твоей стране. Но, черт возьми, мы с тобой не дипломаты, которые обязаны произносить только «отнюдь», и мне интересно в конце концов, что ты об этом думаешь. Меня, по крайней мере, это мучит уже лет пятнадцать. Ну, возражай, готов слушать...

И Крымов, уже расположенный внимательно слушать, с дружеской усмешкой облокотился на стол, подпер кулаком подбородок, но тотчас по-хозяйски спохватился, сказал: «Это почему мы все так неприлично трезвы? Где русское гостеприимство?» — и наполнил рюмки, шутливо-хлебосольным жестом указал на стол, заставленный закусками, прозрачно покрытый светлой тенью от зонтика.

Но Гричмар — хорошо пьющий человек и поэтому, может быть, или по причине жары — только раз без аппетита поковырял вилкой кусочки семги и отодвинул тарелку. Он в молчании прижмуривал колючие вишневые глазки в одутловатых веках, не выпуская из большой, покрытой волосом руки рюмку с коньяком, и Крымов усмехнулся, заметив, что Стишов, потирая висок, из-за ладони украдкой наблюдал Гричмара с чутким ожиданием — в его взгляде сквозила извиняющаяся неловкость за излишнюю резкость в разговоре, который он должен был переводить.

«Как мы боимся обидеть гостя, особенно иностранца. Да, милый Толя, нашей интеллигентности предела нет. Но интеллигентность ли это, или мы еще не выдавили из себя раба?..» — подумал Крымов, сердясь, и посмотрел на Молочкова («Еще один застенчивый!»), скромно помешивающего соломинкой в коктейле, скулы его порозовели, и вроде бы виновато закруглялись улыбкой края узкого рта.

Гричмар отхлебнул из рюмки, со всхлипом затянулся сигаретой, медленно и хрипловато заговорил по-английски:

— Вся цивилизация — заговор против человека. Но никто из людей даже не вздрогнет, когда подумает, сколько сотен тысяч рабов должно было погибнуть в пустыне, для того чтобы построены были проклятые пирамиды. Для чего они? Могилы фараонов? Безумие. Всегда очень де-

шево стоил человек. Как это по-русски называется?..— Гричмар в сосредоточенности пошевелил густыми бровями, вспоминая.— Малая цена... Мало денег... так?— И неторопливо и твердо продолжал по-английски:— Кто-то из власть имущих хочет, чтобы место всех народов было в операционном зале. Маленькая операция на мозге или инъекция. В первую очередь интеллектуалам. Кто-то хочет превратить человечество в дураков и роботов. Человек в современном мире — ничто, одно гордое звучание. А гордое звучание нужно сильным мира для одурачивания миллионов простаков. Поэтому ложь господствует в мире как никогда. Поэтому политика — вранье о свободе. Мода — вранье о красоте. Искусство — на две трети развлекательное дерьмо, бездумное умствование и секс. Правда — слуга сильных. Значит, она — ложь, которая без стука раскрывает перед собой все двери и беспрерывно твердит о свободе, чего жаждут посредственности. Я понятно говорю, мистер... мистер Стишов?

— Абсолютно. Я перевел вас почти дословно, мистер Гричмар,— ответил Стишов с воспитанным наклоном хорошо причесанной на пробор седой головы и, явно заколебавшись, корректно прибавил:— Однако мне... лично мне не очень понятна ваша фраза о свободе, которой жаждут посредственности. Что это значит?

Гричмар внушительно постучал кулаком себе в лоб.

— Умный человек всегда свободен. Даже за решеткой. Мысль, мысль... Но свобода делает равными посредственность и мудреца, и возникает зависть и несправедливость во взаимоотношениях. Зависть производит ненависть, поэтому свобода ложна. Это ветхозаветная аксиома, мистер Стишов. Для меня. Я понял это лет тридцать назад.

— Вполне возможно,— вмешался Крымов.— Но свобода необходима для главного — для естественного состояния человека, чтобы найти дорогу друг к другу. Птица без воздуха летать не может.

— О, Вячеслав, сейчас мы начнем сильно ругаться. Ты заговорил как поэт. Никакая свобода не поможет разрушить стены одиночества. Она совсем импотентна. Не может остановить ползущую по миру чуму цивилизации. Есть Советский Союз и Соединенные Штаты. Древней Греции и Перикла нет. Нет и Иисуса Христа.

— Не думал ли ты, Джон, что Иисус Христос, может быть, исчерпал себя за две тысячи лет? Может быть, кто-то ждет нового архангела с огненным мечом? И жаждет библейского возмездия человечеству за все его грехи? Кстати,

насчет этого возмездия я слышал в Америке в шестьдесят шестом году в университете Бэркли от одного профессора философии.

— Блага нет в Штатах,— сказал сумрачно Гричмар.— Блага нет и в России, потому что нет пока искупления. История России — трагедия. Ничтожество уничтожало интеллект и талант. Разрушены храмы. Отец убивал сына, сын отца, жена предавала мужа в руки его врагов, сестра ненавидела сестру, брат брата. Уничтожен... почти уничтожен дух русского народа. Нет религии. Я православный, Вячеслав, ты знаешь. Мой отец — купец первой гильдии Гричмаров, выходец из России, он был чайным королем в Петербурге. Капиталист, а не пролетариат без средств производства. Он уехал из России в революцию. Моя мать — ирландка. Я считаю себя по происхождению американцем, по национальности русским. Парадокс? Нет! Русский дух царствовал в нашей семье до самой смерти отца. Я плохой хранитель традиции, но, кроме Иисуса, в моем детстве были еще два бога — Гоголь и Достоевский. Я люблю старую Россию. Я ищу в ней русскую цивилизацию, а чаще всего встречаю европейское. Но не очень хорошее, не первый сорт. Вы во многом подражаете Америке в погоне за богатством. У вас тоже скоро появится лозунг: «Успех любой ценой». Но это попытка повторить чужой успех. Это летать на чужих крыльях, которые не очень надежны. У вас все меньше становится русского, Вячеслав.

— Что ты имеешь в виду?

— Англосаксы исповедуют кальвинистскую философию земной удачи, а Россия всегда была сильна духовной жизнью...

— И ее нет теперь, считаешь?

— Пока еще есть ты.— Гричмар сочно захохотал, поднял рюмку, пригубил ее и вновь заговорил: — И немного таких, как ты, которым больно за все. Но дух уже подменяется практицизмом. Как бы ни был невежествен человек, он хорошо чувствует, когда жмут ботинки. Ваши современные ботинки, которые вы предлагаете, жмут многим, потому что у них смешанный размер: русско-европейско-американский. И практицизм советского производства...

— А я, Джон, думаю наоборот: всему свету жмут ботинки американского пошива. Прекрасная отделка, но внутри жесткая кожа, носить невозможно. Стопроцентный американец, как я понял в Штатах, считает себя поборни-

ком и мучеником демократии: всех спасать от коммунизма. Но мученики легко становятся палачами. Прости за резкость...

— Вьетнам? Проклятый Вьетнам!..

— Не только. Ну ладно, я не об этом хотел... Нет всеобъемлющей и вечной правды. Ум и знания относительны. Придет срок — и мы от многого откажемся, многое переделаем. Если, конечно, жизнь на земле сохранится... Но я не хочу ничего оправдывать. Оправдать можно все. Все свои ошибки. И найти тысячи доказательств ради оправданий. Это уж я знаю.

— Я сомневаюсь, Вячеслав, что сохранится жизнь. Но будет ли возрождение по Иисусу?

— Еще можно остановиться, Джон. Еще... Пора всем нам обожествлять природу, которую мы извратили, оболгали и изнасиловали во имя сиюминутных выгод. А спасать природу — значит, самих себя. И свою совесть.

— Как? Остановить технологический век? Остановиться Америке? Остановиться Советскому Союзу? Японии? Западным немцам? Невозможно, Вячеслав. Ты фантазируешь! Экспресс набрал скорость, в вагонах веселятся, пьют коньяк, как мы с тобой, а машинист сошел с ума, тормозов нет, мы с тобой пьем и знаем: впереди — гибель, пропасть...

— Не хотел бы я гибели этой прекрасной земли. Впрочем, ты злоостроумный человек, Джон. Твое злоостроумие — евангелие ненависти к грешной цивилизации. Но мы с тобой... не имеем права ненавидеть даже священной ненавистью. Уверен ли ты, что художник имеет право выносить неоспоримые оценки... судить жизнь? Наверное, мы должны познавать и жалеть. Все люди чего-то ждут и вместе с тем больны неспособностью ждать. Мы должны искать в мире душу, которую человек потерял в нетерпении жить легкой жизнью. Именно — потерял душу. Но легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть...

— Вячеслав, давай отдохнем, я устал переводить. Разреши... Да и ты устал.

«Да, я устал. О чем мы говорим? Что даст нам это бесполезное умствование? Никому не нужное умствование двух режиссеров, соединенных неприятием безумия цивилизации и ее обмана,— решил Крымов, мимолетно заметив встревоженные голубые глаза Стишова, останавливающе нацеленные ему в лицо.— Опять смысл жизни? Смешно! Большинство живет, не решая этих вопросов. Нет единого смысла жизни: ведь люди не одинаковы по уму

и чувствам. Единомыслие невозможно. Но есть психоз единой глупости и жестокости. Так что же за страшное существо человек, если он мучает себе подобного? Я сказал — жалость? Познавать и жалеть? Не судить жизнь? А это уж похоже на предательство, уважаемый Вячеслав Андреевич. Я противоречу самому себе? Где истина — посередине? Нет. Никогда. Кажется, это Стишов сказал однажды на художественном совете: «Вы хотите единомыслия режиссеров? Пожалуйста. Одно в кулуарах, совсем другое на трибуне. Мы слишком воспитанны для того, чтобы говорить друг другу правду в глаза». Но почему Стишов, дорогой мой, воспитанный человек, так смотрит на меня и почему мне так нехорошо? Милый Анатолий, ты что ли боишься моей искренности перед иностранцем? А что, собственно, я сказал особенного? Да, мы слишком осторожны... до отвращения. Но почему мне так не по себе?..»

На открытой террасе ресторана все было уже догоряча накалено, все дышало неподвижной июльской ленью расплавленного дня, даже зонтик теперь не спасал от жары, и неприятной сухостью пахла материя, пропеченная над головой солнцем. Крымову было душно, хотя он снял пиджак, расстегнул воротник, отпустил галстук, совершенно не понимая, для чего надел его сегодня. Он помнил по приемам в Париже, что Гричмар не любил светскую чопорность и с небрежностью мировой знаменитости приходил на коктейли в вольных мягких рубашках, не застегнутых на массивной шее.

А Гричмар слушал его внимательно, широкие брови его лохмато шевелились, выражая согласие или несогласие, его коричневые глазки поминутно прижмуривались, загораясь разъедающей насмешкой недоброго ума, порой, несколько раскашиваясь, светились почти нежностью, когда мысль Крымова угадывала его мысль. Но чем более обострялся их разговор, чем дальше уходили они от простоты к неразрешимому, тем горше становилось Крымову. Он боялся открыто спросить себя: что же это случилось с ним и стало повторяться после того душевного недомогания в парижском отеле? — боялся узнать о своем состоянии больше чем надо, ибо в последние годы ничем серьезно не болел. И снова возникало ознобное волнение безвыходности («Нервы, нервишки зашалили и сдали!») при воспоминании о том близко знакомом человеке в вестибюле отеля, который один среди всех этих празднично одетых, тщательно выбритых, беззаботно курящих и разговарива-

ющих перед просмотром фильмов знаменитостей,— только он помнил и ощущал виском холодок слипшихся волос, еще пахнущих речной тиной, но с уже примешанным миндальным запахом смерти, видел полусомкнутые мокрые ресницы, чуть пропускавшие остывший блеск глаз, хотел вытереть и не вытирал потекшую от ресниц краску на ее щеке, как следы черных слез, поразивших его какой-то детской беспомощностью...

Он старался не вспоминать подробности того дня, но недавнее вонзалось в него повторяющейся болью в сердце, виноватым бессилием и жалостью — и внезапное удушье не умеющих вылиться слез заслоняло дыханье. И тогда громкие слова, фильмы, разговоры о красоте представлялись бессмысленной, пустопорожней болтовней, не имеющей значения, и казалось, что к чистой и талантливой этой девочке мир не был справедлив. «Послушайте, Вячеслав Андреевич, какие прекрасные слова: «Дело жизни, назначение ее — радость»,— звучал ее протяжный голос, читающий эту фразу в один из вечеров, когда он пришел на Ордынку. И почему-то в такие минуты Крымов был уверен, что несчастье не было случайным, но в то же время не мог поверить, что она ушла из «назначения радости» своей волей.

Сказав Гричмару фразу: «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть»,— Крымов вновь поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова, и от молчаливой озабоченности друга, аристократически холодноватого, вежливого со всеми, никогда ни с кем не конфликтовавшего, почувствовал беспричинное раздражение против него.

«Голубоглазый мой ангел-хранитель, что ты смотришь на меня с такой грустной тревогой?» — хотел поиронизировать Крымов, догадываясь, что́ тревожило Анатолия Петровича, но так не по-мужски вдруг испугался боли в сердце и поднявшихся и остановившихся в горле слез, что с трудом сказал наконец фальшивым голосом:

— Ну всё, хватит, международная дискуссия закончена, все умные слова сказаны. Все истины-голубушки лежат у нас на ладонях, поэтому заканчиваем коньяк в данном заведении, заказываем крепкий кофе на хеппи энд и начинаем думать, как все-таки жить дальше в этой роскошной цивилизации, что предпринять...

Последняя его фраза прозвучала с внезапной хрипотцой, голос прервался, и он, поперхнувшись, весело от-

кашлялся, потер грудь и поднял рюмку в сторону Гричмара:

— Ну, за тебя, Джон. Кстати, не сходить ли тебе сегодня вечерком в театр? Как ты настроен?

Гричмар шумно засопел, выцеживая дым ноздрями крупного носа, с выпытывающей, мнилось, подозрительностью всматриваясь в глаза Крымова, в его руку, потирающую грудь, и, помолчав, спросил по-русски:

— Ты немножко плохо чувствуешь?.. Ты устал? Тебе сердце больно? Я помню, в Париже ты глотал таблетку...

— Жизнь — это борьба с неотвратимостью смерти. Библия говорит, что человек рождается для страданий. Но я себя чувствую прекрасно. А как насчет театра?

— Зачем ты так шутишь? — проговорил с грустным упреком Стишов, умоляя Крымова взглядом, и хрустнул пальцами. — Ты не так-то уж много пил, но вид у тебя действительно усталый и... не совсем вполне...

— Ты прости меня великодушно, Анатолий, я пошутил не очень удачно, я еще в цепях пышных и высоких слов, — сказал, оживляясь, Крымов, сейчас же подмигнул, допил коньяк и поторопил Гричмара дружески-бесцеремонно: — Ну заявляй, предлагай программу, сегодня я твой гид.

Закряхтев, Гричмар значительно помахал толстым, как сарделька, пальцем, требуя внимания, допил рюмку, перевернул ее вверх дном, потряс над столом, доказывая, что в ней не осталось ни капли, старательно выговорил:

— Рюм-мочка р-родная... Благодар-ствуй за гост... гостеприимство. Так по-русски?

— Совершенно точно, Джон. Великолепное произношение. Мне бы так по-английски.

И беззвучно посмеявшись, Гричмар снова помахал пальцем — это, по-видимому, была привычка его — и сказал доверительно:

— У вас говорят: иди в театр. В Париже говорят: иди в Фоли-Бержер, Лидо. Там можно хорошо выпить и повеселиться. Когда на сцене страдают, я сижу, смотрю, и меня берет глупый смех. Но иностранцу неудобно хохотать. А ты любишь, Вячеслав?

— Не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. Моя забота — обеспечить тебя билетом, но в театр я с тобой не пошел бы, и ты бы меня понял. Мне тоже становится плохо, когда шатаются декорации и у героя в патетический момент отрывается ус.

«К чему, зачем я говорю это? Да, да, сейчас все пройдет и будет лучше. Какая тоска!.. Еще выпить коньяку?

Вспомнить какой-нибудь анекдот? Странное дело — у меня нет памяти на анекдоты. Да, любопытный мужик этот Гричмар, Гричмар... Но почему он так серьезно и так упорно смотрит на меня?»

— Вячеслав, я приехал не в театр и не туристом. У меня к тебе большой дело. Мне есть необходимость с тобой решить один идея. Я имею цель... Хочу тебя пригласить... по-русски — пригласить, да?.. Пригласить сделать режиссуру... Нет, позвать на постановку фильма. У меня есть хороший сценарий, нужен твоя голова.

— Вот так да, Джон! — воскликнул Крымов с преувеличенным изумлением.— Ты приглашаешь меня в Голливуд? Почему же не сказал мне об этом в Париже? Там легче было решать, в беспечном настроении.

— Я продюсер и не могу выбросить несколько миллионов в унитаз. Я прилетел в Москву официально.

«Ах, какие чудеса происходят на свете! Этого я, конечно, не ожидал. Джон увидел мою «Необъявленную войну» и, подумав, поставил на меня, как говорят американцы».

— Вячеслав Андреевич, талантище вы,— вкрадчиво проговорил тихонько жующий бутерброд Молочков, и лиловые пятна проступили у него на скулах.— Как интересно поставить фильм в Америке. Тут же мировая известность...

— Ко всем хренам с твоей мировой известностью! — грубо сказал Крымов и неожиданно развеселился.— Я люблю сказки, Джон, но не верю в них.

— В Голливуде не только дерьмо и сказки. Я снимал там четыре фильма. Я не последний режиссер...

— Я и хотел сказать, что у вас преизбыток своих режиссеров, которые сожрут меня, конкурента, с потрохами, стоит мне появиться там — со своим уставом в чужом монастыре.

— Для этой картины нужен русский Крымов, ты, ты, Крымов,— настойчиво повторил Гричмар.— Мне есть необходимость с тобой поговорить по-русски. Тет-а-тет. Поедем из этот очень вкусный ресторан. Погуляем ножками. Ножками, да? Поговорим о сценарии. Мистер Стишов уже не будет трудиться. Я буду трудиться сам. Бла-го-дарю покорно. Так есть?

— Взаимно,— ответил Стишов с улыбкой.

— Ну что ж, встали,— сказал Крымов и подал деньги Молочкову, неизвестно зачем деликатно и ловко прикрывшему их ладонью на столе, как неприличную карту.—

Расплатись, пожалуйста, Терентий. Ты что, кузнечиков ловишь?— Он усмехнулся.— Машину оставь нам. Анатолия Петровича довези домой на такси.

Они поднялись и пошли к лифту мимо зонтиков совершенно пустого ресторана, по раскаленным солнечным полосам меж столиков, кое-где накрытых белоснежными скатертями, слепящих серебром приборов. А снизу доносился глухой перекатывающийся шум улиц, и Крымову сейчас было неприятно видеть замутненную испарениями большого города синеву над крышами, строгий черный костюм метрдотеля и цепочку молодых, аккуратно причесанных официантов у бара, почтительно провожающих глазами солидного, похожего на глыбу иностранца.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Солнце еще стояло высоко, но уже склонялось к закату, когда они после длительной поездки по Москве, легкого коктейля в Доме кино и мороженого на улице Горького вылезли из машины на Ленинских горах и подошли к смотровой площадке, куда просил привезти его Гричмар.

Здесь крикливой группой стояли и сидели на гранитном парапете, бросив под ноги дорожные сумки, какие-то иностранные туристы в шортах. Рядом с ними так же шумно фотографировались молодожены в беспечном окружении высыпавших из машин друзей, жених и невеста смеялись и разом застывали с вечной и тщеславной надеждой сохранить на мертвом глянце исчезающую минуту. Невеста поспешно оправляла складки на полной талии, глядя на кончики туфелек, едва видных из-под белого платья, вскидывала по команде фотографа простенькое, испорченное принужденным смехом лицо, просовывала руку под локоть жениха, смуглого парня с щегольскими усиками. И Крымов подумал, как далеки эти молодожены, ждущие чуда воплощения собственной красоты на фотографии, и эти туристы, по купленной программе ищущие в чужой стране визуальных удовольствий,— как далеки они от всего того, о чем спорил он с Гричмаром и что не имело ни малейшего значения для других, для большинства бесхитростно работающих в поте лица своего людей, живущих просто, без всяких там лишних мыслей и мук, живущих, может быть, счастливо, подобно здоровому растению под небом.

«В самом деле, можно ведь спокойно жить, не задаваясь никакими вопросами, заботясь только о хлебе насущном. Так, как живут сотни миллионов людей»,— стал внушать себе Крымов и, досадуя на себя, сказал Гричмару, с любопытством косившемуся на молодоженов:

— Когда я вернулся из Америки, мне без конца задавали вопрос: что больше всего понравилось там? Я мычал, соображая, что же, действительно. А дошлые ребята журналисты сами подсказывали: народ, мол, как отвечают поголовно все, вернувшиеся из поездок. Нет, Джон, народа американского я не почувствовал, хотя пытался говорить чуть ли не с каждым встречным, не почувствовал, кроме одной его черты — наивности...

Гричмар, косолапо загребая по асфальту ногами, тяжело сопя, подошел к парапету, упал локтями на гранит, затем потащил из кармана пиджака сигареты, пробормотал сипло:

— А вот ты знаешь русских... русский народ?

— Немного. Потому что воевал. Но это были сороковые годы. Никто не знает до конца свой народ. Не знали ни Сократ, ни Толстой, как нельзя знать Вселенную. Только вот наивность русским не свойственна. Доверчивость — да. Но не наивность. Я говорю о тебе, Джон, и о сценарии, который ты мне рассказал. Я не смогу снять такой фильм.

— Почему, скажи?

— Ты выбрал не того режиссера. Хочешь, чтобы я снял фильм об апокалипсисе? Я не смогу.

Гричмар пожевывал сигарету, взгляд его мрачно и жадно скользил по размытым силуэтам лежащей внизу в предзакатной дымке Москвы, по шпилям дальних высотных зданий, несущих нечто запоздалое, готическое, по серой булаве Останкинской башни за горизонтом крыш, по желтым и бледным пятнам небоскребов, однообразных прямоугольников, издали жестко блещущих против солнца стеклами, по золотым маковкам Новодевичьего монастыря с игрушечными башенками по ту сторону пологого изгиба Москвы-реки, уже прохладно потемневшей перед приближающимся вечером, где вблизи кольца стадиона белым жучком, распуская по воде усы, полз к железной арке моста речной трамвай. От скопища крыш, от доносившегося дрожащего гудения метромоста, пропускающего поезда, мутного туманца, поднявшегося над перегретым за день асфальтом, от сгущенности выхлопных газов почудилось Крымову: снизу от этого огромного и живого тела наплывало теплым маслянистым запахом машинного пота,

усталостью и теснотой перенаселенного многомиллионного города, который он любил с детства, а в последние годы почти не узнавал.

— Мой отец говорил — сорок сороков,— пробормотал Гричмар и сумрачно подвигал кустистыми бровями.— Где сорок сороков? Небоскребы... Двадцатиэтажные зажигалки. Как в Филадельфии. Зачем разрушили русские храмы? Нельзя смеяться, где есть тайна... Не делай так, Вячеслав,— с неудовольствием заговорил он, не без труда подбирая слова и прихлопывая кулаком по граниту.— Надо тебе делать фильм. На весь мир сказать глупым самоубийцам, самонадеянным ослам. Сюжет — гибель планеты. Жалкие люди устроили ядерную войну. Вся земля горит. Огонь, везде огонь, потом вся земля — обугленный камень. Осталась живой одна черепаха. Одна, бедная... одна, одна ползет к берегу океана. Видит гигантское красное солнце... впереди, в дыму. Солнце — как разбухший клоп. А она ползет. Подползает к океану, а он... высох, пустой. Мертвый... Так по-русски? Гигантская яма, кости рыб. Черепаха смотрит, смотрит на мертвый океан, на солнце. И умирает на краю ямы. Глаз застывает, и солнце гаснет.

— Невесело,— сказал задумчиво Крымов, ясно вообразив этот конец фильма: траурно у́гольный берег выпаренного ядерным огнем океана, уже подернутый пленкой стеклянный глаз неподвижной черепахи с постепенно тускнеющей красной точкой солнца в нем.— Страшновато, страшновато. Какая безысходность во всем этом!

— Фильм должен иметь такое название: «Последняя черепаха».— Гричмар закряхтел, обтер носовым платком насупленные брови, влажные глаза, затем страдальчески дернувшиеся щеки, трубно высморкался.— Это апокалипсис... Страшный суд без Иисуса. Фильм должен быть... как крик перед смертью. Наказание лжи, пороков... легкомысленного человечества. Твой фильм «Необъявленная война» был очень беспокойный. Это страшная проблема — экология. «Черепаха» — это должен быть ужас ада. У всех должно быть перевернуто сердце... Шок... Смерть, гибель цивилизации, бедной Земли... и всей грязной дерьмовой политики...

Гричмар с выдохами, прерывающимся голосом выговаривал нелегко найденные слова и все продолжал неторопливо вытирать лицо платком, словно придавая разговору этим жестом неколебимую будничность. Но Крымов видел его возбуждение, влагу на припухлых веках —

и явственно вспомнил его новый фильм, показанный на Парижском фестивале. Картина потрясла Крымова трагической безысходностью судьбы человеческой личности в современном мироустройстве, до предела осознанной героем фильма, после автомобильной катастрофы попавшим по ошибке в сумасшедший дом, где в комфортабельных палатах и операционных правят власть имущие, лживо ласковые хирурги, делая из больных людей смертельно больных, из незаурядных талантов — безвольных ничтожеств, из ничтожеств — властителей. Фильм кончался тем, что героя положили на операционный стол под шепот безумного хирурга, жреца лжи: «Кто простит, кто спасет, кто излечит цивилизацию? Мы...»

— Благодарю за предложение, Джон, — сказал Крымов, содрогаясь от нарисованных Гричмаром пепелищ разрушенного мира.— Ты затеял жуткий фильм. Без надежды. Я все-таки люблю Землю, поэтому не смогу быть архангелом с огненным мечом.

— Страшно, Вячеслав... страшно. Зло остается... безнаказанным... — глухо и сожалеюще проговорил Гричмар и в поисках нужных слов сморщил лоб.— А ты очень уверен, что можно достигнуть... нет, достичь... Так?.. Да? Достичь идеала человеческого братства? Нет?

— Не уверен, — ответил Крымов.— Но я уверен вот в чем: сейчас нужен герой, который задавал бы людям вечные вопросы по каждому поводу. Многие его сначала будут принимать за идиота, но это не беда. Дон Кихот бессмертен. Развелось слишком много тупых, хитрых, самонадеянных разрушителей, чиновных людишек — от управдома до министра, которые исповедуют один принцип: живи сладко сегодня, а после нас хоть потоп. Леса беспощадно вырубают, реки превращают в сточные канавы, небо — в мусорную свалку. Убийцы Земли и всего сущего. Заметил ли ты, Джон, что у всех обывателей — у ваших и у наших — одинаковое выражение в глазах? Равнодушие ко всему на свете, кроме удобства для своего зада. Ради этого он продаст и предаст не только родную землю и свою нацию, но и весь мир.

— Донкихот... Ты да... Ты мечтаешь, что можно... изменить человеческую природу.

— Огорчу тебя, я не донкихот. Я знаю вопросы, которые мучают меня. Но не знаю точных ответов, Джон. Понимаешь? Вот от этого и тоска.

— Что есть тоска?

— Тоска? Это боль, которая не имеет определенного места. Понимаешь?

— Я знаю... Это очень плохо.

С полчаса они постояли на смотровой площадке немного поодаль от туристов, то и дело прибывавших и отбывавших на пропахших асфальтовой пылью автобусах, потом спустились по гранитной лестнице к Троицкой церкви, пошли в сторону новых липовых аллей. И тут, неподалеку от церкви, за оградой старого, закрытого погоста, Крымов не без удивления увидел среди заросших травой памятников бородатого мужчину в рубахе навыпуск, босого, который шагал по тропке, изрезанной солнечными просеками, пьяно пошатываясь в затяжной зевоте, а следом за ним, тоже судорожно зевая, с подушкой под мышкой рыхло переваливалась толстоногая женщина в ситцевом платке и мелко, торопливо крестила рот. Они шли к дому в конце этого давно не действующего кладбища, вероятно (как подумалось Крымову) церковный сторож с женой, отдыхавшие где-то здесь в тени под деревьями. И сразу ощутив холодок подушки и пресное тепло травы, Крымов невольно позавидовал чужому безобидному удовольствию, сказал:

— Ты знаешь, Джон, что за наслаждение поваляться и поспать в траве? Не испытывал ни разу?

— Русь, да? Это Русь...— проговорил Гричмар и приостановился у ограды, впиваясь острыми вишневыми глазками в бородатого, изнывающего в судорогах зевоты мужчину.— Мой отец мне рассказывал... Он имел очень немаленькое имение... на Урале,— заговорил он замедленно.— Под городом Екатеринбург, у вас Свердловск, да? Там было имение. Гигантский сад. Он... мой отец и дед... любили там спать на сене. Он говорил, что на Руси спали под глазами бога. Он говорил... когда ночная звезда заглядывает в окно... в дом, то моя душа становится богаче.— Гричмар пальцем постучал себя в грудь.— Он идеально... много... знал Россию...

— Прости, Джон,— сказал Крымов с несдержанной решительностью,— Русь и Россию идеально не знал и не знает никто. Даже Лев Толстой. Руси уже нет. А Россия — самая неожиданная страна. И такой второй нет в природе. Если уж кто спасет заблудшую цивилизацию, так это опять же Россия. Как во вторую мировую войну. Как? Не знаю. И через сколько лет — не знаю. И какими жертвами — не знаю. Но, может быть, в ней запрограммирована совесть всего мира. Может быть... Америке этого не дано.

Там разврат духа уже произошел. И заключено полное соглашение с дьяволом...

Он замолчал, затем раздосадованно сказал: «А!» — и взял Гричмара под руку, приглашая этим «а!» просто молча пройтись по аллее, подышать воздухом.

Но Гричмар в замешательстве стоял у ограды погоста, глядя на просвечивающие сквозь листву зеленые купола близкой церкви, где в пролете колокольни порхали воробьи и по железному карнизу, постукивая когтями, ходили голуби.

— Хочу сюда,— пробормотал Гричмар.

Они вошли в церковь, маленькую, тихую, пахнущую теплым воском, освещенную сверху наклонными столбами солнца, отчего огоньки свечей, зажженных у темных икон, горели бледными островками. И как только вошли, Гричмар робко воздел глаза к куполу, истово перекрестился, и Крымова поразило мгновенное изменение, происшедшее в его мясистом лице, в его тяжелых, ссутулившихся плечах. Это было непривычное, новое выражение покорной, смиренной виноватости, вроде бы нарочитой, противоестественной в глыбообразном облике Гричмара. А он, сдерживая дыхание, бесшумно прошел куда-то в угол левее алтаря, в разжиженную свечами полутьму, и там неуклюже, по-бычьи стал перед иконой на одно колено, потом на другое, правая рука его задвигалась, широко крестя грудь, массивная голова опускалась и подымалась в поклонах, и Крымов, не ожидая этого от ничего никому не прощающего в своих жестоких фильмах Гричмара, отвернулся, покоробленный неестественностью, точно случайно вынужден был присутствовать при действии близко знакомого человека, обманывающего в глаза.

«И что это я? — возмутился вдруг Крымов едкому чувству.— Да почему я должен сомневаться в искренности его веры? Кем дано мне такое право? Не вяжется с его фильмами? С его суждениями? Так в чем, собственно, я вижу обман и противоречия? И где оно, мое высшее право судить его? Как мы привыкли чувствовать самих себя идеальными для всего мира, беспорочными особами! А он сделал два сильнейших фильма, в которых такая человеческая боль. Вряд ли ее смог бы так сильно выразить кто-либо другой...»

И с неприязнью к какому-то горделивому второму человечку в себе, с детства воспитанному в сознании уверен-

ного нравственного превосходства, живущему в ангельской, конечно, безгрешности, знающему и четко понимающему, конечно, абсолютно все, он, передергиваясь от стыда, издали взглянул на Гричмара, покаянно стоявшего на коленях, и быстро пошел из церкви, убегая от этого жалкого второго человечка в себе.

Он задержался около выхода, где в оранжевом ореоле мирно горела лампада и озаренный ею морщинистый лик старушки, обмотанный черным платком, торгующей здесь свечами, был наклонен к столу, казалось, скорбно, безнадежно. И со знакомым пронзающим его чувством толкнувшегося в горле удушья Крымов лихорадочно нащупал в кармане брюк купюру покрупнее и как бы с тайной мыслью возможного избавления от тоски, с надеждой на облегчение и без веры в это облегчение бросил деньги на стол и вышел на воздух.

В ожидании Гричмара он ходил взад и вперед по тротуару мимо паперти, курил, повторяя одну и ту же всегда успокаивавшую его мысль: «Сейчас все пройдет, как проходит все». И постепенно горькое удушье отпускало, испарина выступила на лбу, ему действительно стало немного легче, а когда Гричмар, насупленный, с воспаленными глазами, показался на паперти и сказал осипло: «Это... настоящая русская церковь»,— Крымов лишь спросил будничным голосом:

— О чем ты молился, если не секрет?

— Не надо говорить.

— Извини, коли так.

— Тебе скажу. О спасении мира...— Гричмар утомленно сбавил дыхание, копаясь пальцами в пачке сигарет, и тут лицо его стало прежним, деловым, будто ни на секунду не прерывался разговор между ними.— Я хочу дать тебе контракт. Я хочу такой фильм, Вячеслав. Ты можешь... И пойдем еще выпьем...

— Эх, дорогой Джон, это не мой фильм,— сказал Крымов с необижающей твердостью.— Мне лестно твое предложение, но это не мой... Как говорят, надежда умирает последней. Кто из поэтов сказал, что жаворонок на ниточке своей песни держит всю землю? Или я это придумал?

— Это сантименты... Бывший ваш советский романтизм.

— Нет, ниточка — это надежда.

— Я еще хочу выпить, Вячеслав. И еще хочу с тобой говорить.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На 12 июля Крымова приглашали к следователю, и накануне он не поехал на дачу, остался ночевать в городе.

Под утро отчетливо услышал во сне, как кто-то пытался взломать дверь с лестничной площадки — остро и жестко скрежетало железо выворачиваемых замков, трещали доски. Под ударами дверь подалась. Прогнулась, и что-то бесформенное, опасное краем вдвинулось в кабинет, безглазо следило за ним, оцепенело лежащим на диване, с угрозой ощупывало его, а он в бессилии даже не мог повернуть головы, крикнуть ссохшимся горлом: «Кто здесь?»

Он видел это так явно, так реально, что, проснувшись в обильном поту, долго смотрел с недоверием на спокойно отблескивающую в свете зари дверь своего ничем не нарушенного кабинета. Он лежал и думал о предстоящем разговоре со следователем, назначенном в повестке на 12 часов дня, ныряющие удары сердца оглушали его, и было тяжко от недавнего отвратительного бессилия во сне.

Это был вторичный вызов к следователю, первая их встреча состоялась накануне отъезда в Париж, и еще тогда, по убеждению Крымова, все должно было предельно проясниться. Но то, что его снова приглашали на Петровку, и то, что расследование, надо полагать, не было закончено, являло тень смутной тревоги и подозрительной неясности. Сердцебиение не проходило, не забывалось белое и безглазое, вдвинувшееся в кабинет, и, чтобы взбодриться, стряхнуть сонный дурман, он принял холодный душ, растерся мохнатым полотенцем до звенящего тока в мускулах. Уже бреясь, заметил, как в зеркале засеребрился тоненький луч, пробиваясь через листву за окном, и, намыливая подбородок душистой пеной, нежно согревающей кожу, Крымов вдруг ощутил прилив душевной легкости, какая случалась по утрам, а когда надел чистую сорочку, облегающую прохладой, и увидел свои заискрившиеся улыбкой глаза, то подмигнул себе дружески, как бы продолжая неоконченный разговор с Гричмаром: «Ну, поживем еще... до апокалипсиса!»

Он выпил стакан крепкого чая и прошел в кабинет к телефону с намерением позвонить на дачу. Аппарат чернел на столе затаившимся отчужденным зверьком, и Крымов в раздумье постоял у телефона, но звонить не стал, не желая лгать и объяснять Ольге то, о чем говорить

сейчас не стоило. По тому, как она встретила его на даче, он догадывался, что слухи ее не обошли, однако всякое объяснение походило бы на оправдание, на жалобную его исповедь.

«Только бы не была вмешана Ольга,— думал Крымов, шагая по квартире, по ее сиротливым комнатам, обдающим пыльной и солнечной пустотой.— Я должен быть с этим один».

Когда он доехал на такси до Цветного бульвара и отсюда пошел пешком в сторону Петровки, был будничный час перед полуднем с хаотичным и бессмысленным многолюдством на улицах, с непрерывным шелестом, ревом, мельканием легковых машин, зачем-то и куда-то едущих, с треском, гудением, грохотом, казалось, тоже бессмысленного потока грузовиков на Садовом кольце, с переполненными до отказа троллейбусами, вспыхивающими толстыми стеклами, со спертой теснотой в трамваях, с загородившими тротуары очередями за газированной водой и мороженым, с разморенными лицами в толпах,— весь этот вращающийся в неистовом пекле городской калейдоскоп проносился мимо под давящим адским огнем солнца и был уже насквозь пропитан чадным духом асфальта. Только на бульваре, в затененности лип, под ветвями, еще сохранялась тепловатая сырость утра, влага от поливальных машин, окативших деревья еще в раннюю пору прохлады.

«Ну, поживем пока... до апокалипсиса,— опять подумал Крымов, стараясь удержать иронией душевное равновесие.— Но зачем и во имя чего все это? Недоверчивость и подозрение — уже виновность... Что ж, я не хотел, а теперь хочу поторопить разговор со следователем. Для чего поторопить? Снять немыслимые подозрения? Установить истину? В этом такая же бессмысленность, как и в замедленности».

После проверки документов в вестибюле (мальчик-лейтенант, узнавая, бегло глянул в удостоверение, затем ему в лицо и украдкой улыбнулся) он поднялся на второй этаж и направился по длинному коридору в конец его, где была комната № 200, как он помнил, налево от окна близ лестничной площадки. Он дошел до конца коридора, высокого, совершенно безлюдного, с массивными дверями (где-то в глубине отдаленно постукивала пишущая машинка), без труда нашел номер комнаты и здесь увидел

еще одного посетителя, стоявшего у окна со сцепленными за спиной руками.

— Вы тоже сюда?

Человек у окна не пошевелился, и Крымов постучал в дверь. Из комнаты никто не отозвался. Он нажал дверь с решительностью, которая не полагалась в этом учреждении, дверь была заперта, он пробормотал в озадаченности: «М-да, никого...» — и, доставая сигареты, подошел к выходу на лестничную площадку.

— Вы Крымов? — услышал он робкий, ищущий голос.— Вы режиссер Крымов?

Он обернулся, человек у окна смотрел на него светлыми в красных веках глазами, какими-то неуловимо знакомыми, что-то мучительно напоминавшими, и у Крымова горячо рванулось сердце. Он мигом вспомнил эту нежную и благородную седину длинных волос, какая бывает у старых актеров, и красивые, сплошь седые брови, и матовость кожи, и опрятность одежды, траурную черноту галстука, вспомнил, как он, этот человек, стоял на кладбище, одеревенело уставясь под ноги себе, как задушенно зарыдал, когда заканчивалось прощание, склоняясь к гробу с искривленным лицом.

— Вы отец Ирины,— сказал, преодолевая неудобство, Крымов.— Простите, я знаю ваше имя по отчеству Ирины, но запамятовал ваше отчество. Нас с вами познакомили на кладбище в тот день...

— К несчастью,— неживым голосом выговорил отец Ирины и печально прикрыл глаза.— Мое имя Вениамин Владимирович. Я работаю в плановом управлении Латвии, живу в Риге. А вас я хорошо помню. И знаю по вашим работам, Вячеслав Андреевич... Вас я правильно величаю?

— Значит, вы тоже сюда,— полувопросительно сказал Крымов, проклиная никчемность своих слов и неловкую ненужность встречи в том месте, где ее не должно было быть.— Вас пригласили из Риги? Странно, в одно и то же время... Как непонятно и нелепо все...— Он недоговорил и швырнул недокуренную сигарету в урну.

— Да, да, я сюда приехал,— проговорил Вениамин Владимирович, кивнув на дверь, и, театрально закрыв исказившееся лицо бледными, с синими жилками руками, заговорил сдавленно: — Поверьте, я теряю разум... За что же меня так наказала судьба? Кто мне сможет теперь ответить? Кто, Вячеслав Андреевич? Кто вернет мне Ирину, мою дочь? Единственная моя... Женственная, умная... Я знаю, как она была талантлива,— продолжал он, отняв

руки от лица, и, повернувшись к Крымову боком, приложил зачем-то ладони к стеклу, слезы скатывались по его дрожащей щеке.— Я знаю, как она страдала, когда случилась с ней эта травма в Большом театре. А были такие надежды, ожидания... Она стала бы великой балериной... Я чувствовал это с ее детства, с отрочества... Пластика, танцы, какие-то милые движения, потом балетная школа, восторги преподавателей... За что, за что так наказала меня судьба? За что отняла у меня мою единственную дочь?..

Он вобрал воздух ртом, влажно всхлипнул, плечи его затряслись, как тогда на кладбище в минуту прощания, и Крымов, хмурясь, сказал:

— Ради бога, успокойтесь.

— Разумеется, разумеется,— выговорил Вениамин Владимирович, смахивая слезы морганием век.— Когда заживет эта рана? Никогда, никогда! Моя Ирина, моя дочь была необыкновенное существо... Какое-то трагическое дитя, беспомощный прелестный цветок, обреченный быть растоптанным! Грубо растоптанным жизнью!..

«Я понимаю его, но не могу помочь,— подумал Крымов, с тоскливой подавленностью отводя взгляд от плачущего красиво-породистого лица Скворцова.— Он искренен, он страдает... Но зачем эти ужасные жесты и слова об Ирине?»

— Она знала, она предчувствовала, что над ней витает роковая тень,— говорил Вениамин Владимирович, глядя куда-то в парную дымку московского неба за окном.— Помню, она приехала в Ригу после блестящего окончания балетной школы. Ей уже предложили роль... И она приехала на два дня увидеться со мной. Она не хотела дома, остановилась в гостинице. Был уже вечер, закат, она както мерзла, куталась в шаль, стояла у окна и была очень задумчива, грустна, хотя надо было радоваться. Я спросил: «Что-нибудь случилось у тебя, Ирина?» Она повернулась от окна и так грустно-грустно мне улыбнулась: «Папа, милый, со мной плохо кончится...» Бедная моя девочка, о чем она думала в тот вечер?..

— Она часто приезжала к вам?— спросил Крымов вполголоса, вспомнив повторявшиеся у Ирины минуты задумчивости.

— Не часто, не часто, и я себе простить не могу,— возразил Вениамин Владимирович, вздыхая через ноздри.— После смерти моей первой жены мы переехали в Ригу. Но Ирина не стала жить с нами... То есть — я встретил женщину, я женился, а она не смогла вместе.

Она до болезненности любила свою покойную мать. И жила в Москве, сначала в общежитии балетного училища, потом снимала комнатку, потом у родной тети. А я скучал невыносимо. Я готов был сделать для нее все, что она хотела. Но Ирина не всегда принимала помощь. Вы представить себе не можете, как в детстве она любила меня. А в последние годы жалела, как мне казалось...

— Жалела?.. Вы сказали, Ирина жалела вас? Простите, я не хотел бы задавать вопросов, которые причиняют боль.

— Боль? Боль... Это хуже, чем боль, Вячеслав Андреевич. Я не знаю, когда стала окончательно разлаживаться у меня жизнь. Она видела, что я несчастлив с новой женой. У нас действительно не сложилась жизнь... Но Ирина ни словом меня не упрекнула. А я видел по глазам — она страдала, жалела... Милый мой ангел! Какая гордость, чистота, какая святая хрупкость и несовременная ранимость, понимаете? Как будто она с другой планеты сошла на землю... чтобы украсить жизнь. И ее убили здесь, за непорочность убили! И какая необычная смерть — умерла от перелома шейных позвонков! А вы, вы понимаете как режиссер, который хотел работать с моей дочерью, как знаток человеческих душ, понимаете, что случилось? Ответьте мне, умоляю вас! Я прошу, я требую! Да, я требую, чтобы вы объяснили мне причину гибели моей дочери! Я не верю, что она разбилась и утонула! Не могу поверить!..

«Наверно, это сумасшествие? Встретились в коридоре, у двери следователя, и он, отец Ирины, этот человек с такой благородной внешностью, произносит немыслимые слова и требует от меня невероятного! Вынести невозможно...»

— Я не могу ответить на ваш вопрос, Вениамин Владимирович,— сказал Крымов с горечью.— Если бы я знал... Ясно мне одно: произошло непоправимое и мы оба с вами бессильны.

— Оба? Бессильны?— повторил булькающим голосом Вениамин Владимирович и слабо покачал головой, будто в обморочном тумане.— Я — нет, я не бессилен! Милый, милый мой ангел, Ирина, ребенок непорочный! Я лучше вас знаю Ирину! Она была экстравагантная девушка. Я сам когда-то мечтал о сцене, я увлекаюсь театром всю жизнь и кое-что понимаю в искусстве! В ней был ренессанс, божественная грация чудесной балерины, в ней был

прекрасный русский поп-арт и самый современный модерн!.. Это было чудо!

— При чем тут поп-арт? Модерн? Чепуха это все! — не выдержал Крымов, ужасаясь несдержанности, которую не смог перебороть, своей неожиданной опаляющей вспышке, и, помолчав со стиснутыми зубами, договорил не без запоздалого раскаяния: — Наверное, вы не слишком хорошо знали свою дочь.

И Вениамин Владимирович с оголенным страхом переспросил:

— Не знал? А вы? Вы знали ее хорошо?

Его ссутуленные плечи поднялись и вздрогнули, будто от внутреннего рыдания, он шатнулся, весь подался к Крымову, расширяя светлые безумные глаза, едва выдавил шепотом:

— С каким расчетом вы дали Ирине роль? Вы ее соблазнили надеждой! И не только надеждой... Вы, Вячеслав Андреевич, вы виновник, и вас должны наказать. Вы должны понести наказание! Я приехал, чтобы требовать... Требовать суда над вами! Вы были дьяволом-искусителем, вы известный... и поэтому безнравственный по отношению к моей дочери человек! — Он жадно заглотнул воздух, как в сердечном приступе. — Ей нужно было уходить из искусства навсегда, навсегда! При ее травме нельзя было вновь в балет... после таких блестящих надежд она не могла быть на выходах, на побегушках! А вы ей в кино роль... О, вас избаловала, извратила известность, избаловали женщины! Я спрашивал, узнавал, Вячеслав Андреевич, о вашем моральном облике у вас на студии, я был там, был сегодня утром, не обессудьте, был!.. И даже ваш директор студии, член парткома, уважаемый человек, не исключает... да уж, да уж, он так мне и сказал: не исключаю... Да, да, он не исключает вашу преступную связь с Ириной!..

И Скворцов обеими руками вцепился в рукав Крымова, заплакал навзрыд, уронив голову, обдав запахом волос и туалетной воды.

Крымов, бледнея, с острым ознобом на лице прервал его:

— О чем вы?.. Что за чепуху наговорил вам Балабанов? И что за странный разговор происходит между нами! Он унижает нас обоих! Это стыдно, черт возьми! — Крымов уже не в силах был остановить себя, охладить трезвой благоразумностью, такой пристойной, такой успокаивающей позднее при воспоминании о вовремя сдержанной

резкости.— Я одно должен вам сказать, Вениамин Владимирович: не дай вам бог никогда быть на моем месте, как в тот страшный день!.. Я желаю вам всего хорошего! Поступайте как хотите, я готов ко всему!..

И поражаясь нелепости этой встречи («Ради чего, почему нас вызвали на один и тот же день и час, или это просто стечение обстоятельств?»), он еще сумел с вежливым хладнокровием проститься, поймав жалко-оторопелое, раздавленное и одновременно ничему не верящее выражение в глазах Вениамина Владимировича, и быстро пошел по коридору, упиваясь отчаянной мыслью — не бывать здесь до тех пор, пока его не пригласят снова со всей строгостью закона.

Он сбежал по широкой лестнице в вестибюль, поспешно нащупывая в кармане удостоверение и вложенную в него повестку.

«Что за несуразица, что за нелепица, ложь, ложь!»

А в вестибюль со сдержанным говором входили группами милицейские офицеры, поочередно предъявляли пропуска мальчику-лейтенанту, на ходу кивали друг другу, одни направляясь к лифту, другие к лестнице, и кое-кто бегло взглядывал на Крымова, ждавшего в стороне. И здесь, перед выходом на улицу, его кольнуло нехорошее предчувствие, что вот сейчас случится еще что-то совсем ненужное, бессмысленное, идущее по нереальным, необязательным путям; и как только он подумал об этом, тут же из толпы милицейских офицеров отделился молодо улыбающийся, румяный, средних лет капитан с усиками («Токарев, следователь Токарев, с ним я встречался перед отъездом в Париж»), и приятный бархатистый голос обволок его теплотой:

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, тысячу раз извините, виноват перед вами, непредвиденное совещание в самом высоком доме, поэтому опоздал на сорок минут. Грешен. Понимаю вашу занятость, сознаю — с ног до головы виноват...

— Что значит для юстиции моя драгоценная занятость и при чем здесь ваша мифическая вина!— сказал Крымов, опасаясь больше всего, что сорвется после витиеватых фраз Токарева, этих извинений дежурного свойства, которые, впрочем, не имели теперь никакого значения.— Простите, Олег Григорьевич, я сегодня не смогу вразумительно отвечать на ваши вопросы. Если вы сочтете возможным, я попрощаюсь с вами. Тем более вас ждет другой посетитель, который знает очень многое, в том числе и обо мне...

Токарев стер с румяного лица улыбку, посмотрел твердыми испытующими глазами.

— Давайте мне вашу повестку, я отмечу. Иначе вас не выпустят, Вячеслав Андреевич, хоть вы и известный кинорежиссер. Я приглашу вас на днях.

— Благодарю. Буду очень рад.

На Театральной площади он поймал такси и поехал на студию.

Когда он расплатился с такси и через проходную вошел во двор студии, дышащий асфальтовыми испарениями, густо усыпанный тополиным пухом, летящим и на лету прилипающим к лицу (отчего зной казался еще более нестерпимым), когда прошел холодноватый и погребно-темный гулкий вестибюль, поднялся на шестой этаж в приемную директора, здесь в каком-то ватном, стерильном покое, среди дубовых панелей возникло несколько знакомых режиссерских или актерских фигур, и курносое личико секретарши, суженное висящими вдоль щек волосами, испуганно взметнулось навстречу. Он полностью отдавал себе отчет, что не способен изменить человеческую природу, вкусившую сладость любой власти, что не сможет безнаказанно поколебать что-либо, однако с решимостью распахнул толсто обитую кожей дверь и вошел, останавливаемый всполошенным криком секретарши:

— Нельзя, Вячеслав Андреевич! Он занят!

— Можно,— сказал Крымов.— Все можно.

Против обыкновения Балабанов сидел не за своим массивным письменным столом, заваленным бумагами и папками, а за журнальным столиком у открытого окна и, багровый, без пиджака, помешивая ложечкой в стакане чая с ломтиком лимона, сосредоточенно слушал худого, в безупречном костюме человека с расширяющимся к высокому лбу костистым лицом. Человек этот держал стакан бледной истонченной рукой, зажав ложку между указательным и средним пальцами, будто между хрупкими веточками, и отпивал из него мелкими глотками. Это был заместитель председателя Комитета по делам кинематографии Пескарев, еще довольно молодой, из-за неизлечимой болезни ног с детства ходивший на костылях, но независимо от этого на редкость подвижный, деятельный, ездивший по студиям страны и за границу, гроза сценаристов, нелицеприятно ядовитый в суждениях, к которым на худсоветах и коллегии прислушивались многие.

— Что такое? Что? Почему вы, собственно, врываетесь, Вячеслав Андреевич? Видите, я занят.

Оба прервали разговор, повернув головы к Крымову, и грузное лицо Балабанова выразило гневное возмущение. Он встал, астматически задыхаясь, по привычке воинственно засучивая на локтях сползавшие рукава, словно изготовленный защищать и собственное достоинство, и авторитет Пескарева, и неприкосновенность территории кабинета.

При виде его низенькой короткошеей фигуры с эф-образно растопыренными локтями и взмокшим от волнения ежиком волос Крымов сказал почти весело:

— Садитесь и не пугайте меня, ради всего святого, Иван Ксенофонтович! И очень хорошо, что нас трое. Мне повезло. Ибо у вас находится товарищ Пескарев, так сказать, представитель высшего кинематографического начальства. Как мне повезло! Мне, знаете ли, нужен солидный свидетель. В ту или другую сторону.

— Во-первых, здравствуйте, Вячеслав Андреевич,— холодно сказал Пескарев.— Во-вторых, вы сами садитесь.— И показал на кресло подле столика.— В-третьих, у вас, вероятно, конфиденциальный разговор с директором, и, следовательно, мне лучше уйти, чтобы не мешать,— добавил он и посмотрел на прислоненные к дивану костыли.

— О, вы ошиблись, никакой конфиденциальности, никакого протокола!— воскликнул Крымов, садясь к столику.— Я повторяю: мне нужен свидетель, и не откажитесь им быть, ради бога.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду три вопроса, которые хочу задать Ивану Ксенофонтовичу при вас. Во-первых, во-вторых и в-третьих... Во-первых...— Крымов взял печенье из вазы, надкусил краешек, пожевал и сморщился.— Срам, какую патоку вы едите, Иван Ксенофонтович,— сказал он, наслаждаясь игрой в развязность и налитыми кровью глазами Балабанова, с подозрительным страхом глядевшего на него исподлобья.— Скажите, Иван Ксенофонтович,— спросил он смиренно,— мой фильм официально приостановлен вами или высшей инстанцией?

— Это сложный вопрос,— загудел Балабанов, нерешительно косясь на Пескарева, плоско поджавшего пепельные губы.— Сложный вопрос, потому что вы сами знаете, как сложились обстоятельства. Есть законы юриспруденции, расследование, как вы понимаете...

— Понимаю,— сказал Крымов и опять брезгливо надкусил краешек печенья, оборачиваясь к молчавшему Пескареву.— Не могу понять, как вы едите такую приторную гадость. Кратчайший путь к диабету... И вы так считаете, товарищ Пескарев? Расследование, законы юстиции, возможность преступления?

Пескарев надменно вскинул прозрачный взор, и губы его жестко сжались и разжались, выдавив то ли тень улыбки, то ли желчную гримасу.

— Вам известно, что я не умею кривить душой?

— Ну конечно.

— Мне лично ваш сценарий никогда не был по душе,— сказал Пескарев выпуклым голосом.— В вашем сценарии о современной молодежи столько рефлексии, столько заданных самому себе вопросов, столько исканий, что, во-первых, это не соответствует реальной действительности, а во-вторых, никто после этого никуда не поедет...

— Куда? Кто?

— Молодежь. На строительство в Сибирь, например. В вашем сценарии нет ни энтузиазма молодежи, ни трудового подъема, ни претворения в жизнь исторических планов нашего непростого сегодня. У вас все мучаются вечными вопросами: как жить? что такое совесть? что такое правда? В то время как...

— Ах да, да, да, вечные вопросы несомненно мешают, я совершенно не учел. Слабым своим умишком не дошел до истины.

— В то время как внеклассовый подход с позиций абстрактного гуманизма к таким понятиям, как человечность, совесть, стыд, добро, чреват всякого рода ошибками и искажениями.

— Да, да, да, вы опять правы,— чреват всякого рода ошибками и искажениями. Бедный кинематограф...

Пескарев с кислой гримасой потрогал костлявыми пальцами ложечку в стакане (ногти у него были синеватые, круглые, аккуратно подстриженные), спросил, педантично уточняя:

— Почему вы так сказали: бедный кинематограф? Почему?

И Крымов продолжал, в отчаянной игре мчась над пропастью и безоглядно наслаждаясь риском:

— Видите ли, я сомневаюсь, узнает ли наш кинематограф свои звездные мгновения? Мы отстали от самих себя на пятьдесят лет. Благодаря некоторым радетелям

собственной безопасности, которые озабочены мировой славой нашего киноискусства.

— Как то есть? Вы известный остроумец, Вячеслав Андреевич, но все же поясните!

— Поясню. Вот вы, наш отец, учитель и кормилец, Леонид Викторович, с отличием кончивший исторический факультет почтенного Московского государственного университета, вот вы за эти несколько минут не сказали ни правды, ни полуправды, ни четверти правды. Впрочем, вы страж,— прибавил он с подчеркнутой признательностью.— Страж некой фантастической жизни в искусстве, полной иллюзорных чувств, которые вы сами и многие другие удобно придумали во имя своего душевного спокойствия. Простите темноту мою тулупную, никак не намеревался обидеть, сорвалось случайно,— продолжал Крымов и привстал, словно бы подобострастно прося милосердного извинения у Пескарева, а глаза Пескарева (глаза всезнающего, взрослого с детства, начитанного ребенка) мертво застыли, вонзаясь в переносицу Крымова, наполняясь синеватым отблеском льда.— Все это пришлось к слову. Но я не вам хотел задавать вопросы, еще раз прошу прощения, а уважаемому Ивану Ксенофонтовичу, нашему факелу и светочу на небосклоне отечественного кинематографа.— Крымов почтительно и льстиво поклонился в сторону Балабанова и, подтянув брюки на коленях, закинул ногу на ногу, похоже было, беспечно располагаясь к уютной домашней беседе о близком и милом предмете.— Если я остроумец, как не очень точно определил Леонид Викторович, то вы, Иван Ксенофонтович, известны всему честному миру как гордое знамя мысли, неподкупный рыцарь и труженик разума, наконец. Поэтому, надо надеяться, вы должны поднимать не заржавленный меч всех обывателей мира, но меч духа. Против этой формулы у вас нет никаких возражений?

— Да что же это такое? В чем дело в конце концов?— вскричал приглушенным басом Балабанов, подтягивая рукава на коротких, поросших волосом руках, и задвигал ежиком волос над потным лбом.— Демократия демократией, но я не позволю вам, хоть вы и заслуженный режиссер! Ваш талант, так сказать, не дает вам еще права... Вы не сдерживаете себя даже в присутствии Леонида Викторовича, вы ведете себя недостойно!..

Крымов перегнулся через столик и нежно погладил сжатый на подлокотнике кресла кулак Балабанова.

— Вы не дали мне договорить, Иван Ксенофонтович,— сказал он с тем пугающим его самого спокойствием бешенства, как перед прыжком в бездну, в полузабытые, загороженные целой жизнью времена военной молодости.— Вы сегодня сотворили ложь, что является синонимом клеветы. Во имя чего вы ввели в заблуждение отца Ирины Скворцовой? Ради чего вы сказали ему о возможности связи между нею и мною? Я отношу это к тому, что вы не успели хорошенько подумать, как это с вами нередко бывает... Интеллектуал, подвижник, апостол высочайшего духа, вы целили в меня, а попали в уже израненную душу отца. Я ценю ваше свободное воображение, но разве можно творить в темноте даже дьяволиаду? Как низок человек, лишенный доброты, не правда ли, Иван Ксенофонтович?

— Как вы... да как вы смеете?— выкрикнул с задышкой Балабанов и ударил кулаком по подлокотнику кресла.— Вы пришли насмешничать и учить меня уму-разуму? Что касается ваших связей, то за доказательствами далеко ходить не надо — в первую очередь обратитесь к вашему директору картины Молочкову! Он вам расскажет, если забыли сами, с какой целью вы ездили со студии на Ордынку. Надо полагать, не картинки в букваре вы ездили смотреть! Как вы со мной разговариваете? Ни ваши звания, ни ваши заслуги не дают вам права вести себя, как... как какой-нибудь избалованный американский режиссер вроде вашего друга Гричмара!

— Вот видите, Леонид Викторович, дело, как это ни печально, опять идет о совести, которая смущает вас — целиком разделяю ваши опасения — своей абстрактностью...— с тем же спокойствием сдерживаемого бешенства проговорил Крымов.— Речь идет не о потрясении земных основ. Речь идет... просто о жизни. Кстати замечу, Леонид Викторович, что американский режиссер Джон Гричмар гораздо ближе мне по искренности, чем мой дорогой директор студии. Парадокс, черт побери, но ничего не поделаешь.

Это обращение к Пескареву возникло, вероятно, потому, что Крымов ощущал на своем лице почти физическое прикосновение колющего ледка младенческих глаз недобро настороженного человека, молчаливо всасывающего его слова, чтобы затем отвергнуть их, как на худсоветах не раз непримиримо отвергал суждения режиссеров, упорствующих в занятой позиции. Но по тому, полузабытому, загороженному всей жизнью, чувству Крымов знал, что сейчас уже ничто не удержит его, Крымова, начатый полет над

бездной, такой самоубийственный и такой упоительно-сладостный, точно в гибели на дне бездны была сама справедливая радость. И наслаждаясь головокружительной силой вызова и зло и счастливо сознавая, что прошлое отчаянное чувство молодости еще не растаяло в благоразумии, в нажитом опыте, он, улыбаясь обаятельной улыбкой любимца удачи, заговорил невозмутимо и ровно:

— Ужасно то, что мы живем в век расчетливой цивилизации. Ложь взаимоотношений успокаивает глупость и уравнивает конфликты. Не правда ли, Иван Ксенофонтович и Леонид Викторович? Но, боже мой, готов отдать все свои звания и так называемые заслуги, о которых так чувствительно напомнил Иван Ксенофонтович, готов стать нищим и сирым, прослыть кем угодно, хоть идиотом и чудаком, лишь бы только... да, да, простите, лишь бы только отметить вас, Иван Ксенофонтович, отпечатками пальцев, как в добром девятнадцатом веке отмечали подлецов и ничтожеств. В данном случае я имею в виду вторую категорию... Вы достойны быть отмеченным, чтобы другим неповадно было подражать вам...

Он поднялся, и в тот же миг Балабанов с сиплым вскриком отшатнулся коротким телом в кресле, вроде бы ударенный снизу в лицо, и, задирая подбородок, начал поспешно, суматошно елозить ногами по полу, силясь отодвинуть кресло вместе с собой подальше от незащищающего столика. А Крымов молча стоял, гадливо глядя на взбухающее по-жабьи горло, и его охватывала злая брезгливость к жалкой, ничем не прикрытой трусости Балабанова, к этому пухлому раздувающемуся горлу, и нарастала неприязнь к надменно застывшему лицу Пескарева, к младенчески неморгающему взгляду льдистых глаз.

Все было ничтожно, стыдно, недобро: его, Крымова, стискивали во враждебном кольце, но пока боялись коснуться, а он, не сдерживаясь, с ненавистью к своей несдержанности ничего сейчас не мог простить себе и другим, поправить и изменить во взятом им шутовском тоне, в противной до тошноты игре (у него не хватило бы сил начать и закончить этот разговор серьезно), и с изысканным почтением он проговорил, обращаясь к Пескареву:

— Я душевно попросил бы вас, Леонид Викторович, запомнить некоторые подробности этой лирической сцены, очевидцем которой вы были. Я опасался, что без свидетелей Иван Ксенофонтович мог собственной обувью, снятой с ножки, расквасить себе мо... простите великодушно, личико и заявить в партком, что был избит до полусмерти

наглым развратником Крымовым. Так значит, мне повезло. И прошу вас, Леонид Викторович, передать председателю, что, несмотря на плохие погоды, фильм все-таки буду снимать я. Честь имею! Разрешите откланяться?

Он щелкнул каблуками, еще ниже и почтительнее склонил голову и с видом чиновника, исполненного служебного рвения, пошел к двери. Но здесь мимолетно он увидел пиджак Балабанова, повешенный на спинке стула возле длинного стола для заседаний, и, сдернув пиджак, подобно многоопытному портному, бросил его плавным жестом на вешалку сбоку двери, сказал несколько раздосадованно:

— Дьявол знает что за неаккуратность.— И на самом пороге вновь повернулся к ним, сидевшим в молчании, повторил речитативом: — Честь имею, честь имею!..

«Сумасшествие! Пошлость! Я отвратителен сам себе! Неужели я так унизился этим клоунством и ерничеством? Впрочем, можно ли было говорить серьезно? Смеяться, только зло смеяться!»

— Честь имею, честь имею,— насмешливо сказал он шепотом и открыл глаза, непонимающе оглядывая знакомую комнату.

— Что вы, Вячеслав Андреевич? На правое ухо глухарь я малость, не разобрал. Вот кинопробы... Задумались вы немного.

— Вероятно...

Он туманно взглянул на Молочкова, оборотившего к нему выжидательно-улыбчивое, как всегда, угадывающее его настроение лицо, и, мгновенно приходя в себя, со стоном откинулся в кресле, вспомнив всю сцену в кабинете директора студии предельно подробно и ярко,— и теперь еще оставалось чувство презрительного удовлетворения, гадливой жалости к пухлому, раздувающемуся в задышке горлу Балабанова, суматошно елозившего ногами по полу.

Но в то же время, когда Крымов приехал на студию, встреча и разговор с Балабановым — после уже пережитой в воображении сцены по дороге с Петровки — представились настолько унизительной, никчемной мстительностью, не способной ничего исправить, что, сразу ощутив усталость, он поднялся на лифте в съемочную группу; а там в своей комнате сел в кресло и попросил Молочкова, чтобы принесли альбом с фотографиями утвержденных и неутвержденных кинопроб.

— Задумались вы чего-то, Вячеслав Андреевич,— повторил встревоженно Молочков, раскладывая альбомы на столе.— Сам я вам фото принес. А Женя Нечуралов в павильоне.

— Пригласи его ко мне, если он в зоне досягаемости. Пошли кого-нибудь в павильон.

— С актрисой Евгений Павлович. На свой страх повторную пробу делает. Главную героиню все ищет. А ведь картина фактически приостановлена, Вячеслав Андреевич. Ох, накостыляют мне как директору. Главное — финансы. Ведь рискую из уважения к вам...

— Ничего, выдержишь,— суховато сказал Крымов.— Тем более у тебя прекрасные отношения с Балабановым. Доверительные, я бы сказал.

— Не соображу я, Вячеслав Андреевич, к чему вы?

— Ну ладно. Иди, Терентий. Дай мне посидеть, подумать.

Ожидая Нечуралова, он курил, листал альбомы, просматривая фотографии утвержденных на роли актеров, придирчиво, с хмурой недоверчивостью вглядывался в глаза, губы, брови актрис, которых пробовали на главную роль, в череду молодых лиц, сразу ставших плоскими, красивенько-скучными, как вдруг в зрачки ему глянули насквозь пронизанные солнцем, по-детски не защищенные глаза Ирины, чуть-чуть тронутые тенью грустной улыбки. И в ту же секунду он увидел другое лицо — белое, гипсовое, полуприкрытые ресницы, пропускавшие влажный зеленый свет глаз, в последней, запредельной неопрятности беспомощно потекшую по щеке тушь,— и опять удары струй в стекло, рев мотора, шум дождя и миндальный холодок ее мокрых волос, неотступно преследовавший его с тех страшных минут в машине. Потом возникло окно в конце длинного коридора и какой-то плотский запах туалетной воды или одеколона, уловленный от трясущейся седой головы Вениамина Владимировича,— неужели не существует где-то в мире спасительного заговора, молитвы о забвении, о снисхождении памяти?

«Если бы я смог благодетельным чудом не вспоминать, многое стало бы легче в моей жизни. Он, отец Ирины, был прав, и не прав был я, раздраженный. Он, в одиночестве с новой женой, жил лишь дочерью, и хотел знать виновного, и поверил всему, что было против меня. Что ж, изощренность боли, вины и обвинений — как это знакомо! Не рождено ли это нашим милым цивилизованным веком?»

Крымов захлопнул альбом, в усталой задумчивости разглаживая лоб и переносицу, затем снова раскрыл его, и снова наполненные солнечным светом глаза, чуть затененные отдаленной настороженностью, заулыбались ему навстречу с глянца фотографии. «Дело жизни, назначение ее — радость». Он вспомнил, как в тот июньский день она, освещенная сзади белым водопадом солнца, льющегося с монастырского двора, медленно покачиваясь, спускалась по каменным ступеням в сыроватый полумрак церкви, и уже как-то осознанно и твердо решил, что вторую Ирину на главную роль вряд ли найти, поэтому картина не получится такой, какой была задумана, впереди его ждет горький вкус поражения, еще ни разу так обнаженно не испытанного им.

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

Запыхавшись, вошел Женя Нечуралов — второй режиссер, в донельзя потертых вельветовых брюках, в ковбойке, весело-кареглазый, молодой, из-за своей способности смугло краснеть стыдливо скрывавший бородкой молодость и некоторую застенчивость. Второй режиссер в съемочной группе Крымова был преданно и неистощимо влюблен в кинематограф, в великие картины мира, великих актеров, в организационную суету подготовительного периода, телефонные разговоры, поездки для выбора натуры, строительный дух досок, клея и лака, свежих декораций павильонов, был влюблен в таинственно гаснущий свет просмотрового зала перед нетерпеливо ожидаемым колдовством отснятого материала,— во все то, что было признаками серьезного кино; эту влюбленность с первого взгляда почувствовал в нем Крымов два года назад, взяв его для работы над фильмом «Необъявленная война», а позже — на новую картину.

— Как дела, Женя?— Крымов оторвался от альбома, махнул сигаретой в направлении кресла против стола.

— Живы, несмотря на все принятые меры. Вы не представляете, как мне сегодня посчастливилось, Вячеслав Андреевич. Я не думал, что вы приедете!— заговорил Женя торопливо, опускаясь на краешек кресла и не без зоркого интереса глядя на раскрытую в альбоме фотографию.— А я, знаете, буквально десять минут назад сделал пробу Шатровой... Та, из Малого театра, и клянусь вам — это феномен! Молодая, фигурка, глаза такой глубины — можно утонуть и не выплыть, великолепно двигается, какая-то загадочная улыбка. Неделю назад кончила сниматься у Полищука. Как было бы здорово, если бы вы ее

посмотрели! Она еще здесь, взгляните мельком и скажите — да или нет. Вы убедитесь: в ней что-то есть! Позвать?

— Что-то есть,— повторил Крымов рассеянно, закрывая альбом.— Что-то — это еще только что-то.

— Если можно, Вячеслав Андреевич, если уж вы приехали, посмотрите на Шатрову. На Машу! — взмолился Женя, и лоб его начал смугло розоветь.— Она еще не ушла. Я сейчас приведу ее. Вы сами убедитесь, насколько она близка Скворцовой.

«Этого не может быть,— подумал с внутренним сопротивлением Крымов, все еще ощущая живой блеск глаз, грустно глядевших ему в зрачки.— Что тянуло меня к этой слабой и сильной девочке с несчастной судьбой? Соучастие? Жалость? Желание разгадать тайну? Или тяга к таланту ее необычной женственности, которая в наше время уже редкость?»

— Ну давайте посмотрим, давайте, Женя, пригласите Шатрову,— согласился Крымов и заходил по комнате на сквозняке близ окон, раскрытых в шум студийного двора. И неизвестно почему захотелось уехать куда-нибудь: сесть одному в купе, с бездумным облегчением растянуться внизу на хрустящей от свежести постели в неуклонно несущемся перед сумерками, скрипящем, качающемся спальном вагоне, словно бы заполненном золотистой пылью, с пыльными двойными стеклами, по которым долго скользит поздний летний закат, постепенно перемещаясь лучами по глянцу пластика, янтарно озаряя край верхней полки, пуговицы пиджака на вешалке, что мотается равномерно из стороны в сторону, напоминая о сладком одиночестве в запертом купе, твоем маленьком прибежище, где нет ни обязанностей, ни телефонных звонков, где можно наслаждаться мыслями простыми и поднебесными, какие приходят в поезде, когда знаешь, что ты вправе, не сказав никому ни слова, сойти в пять часов утра на случайной станции с неизвестным названием наподобие Райки, вдохнуть сырость смоченной обильной росой захолустной платформы, увидеть, как в тумане низко плавает малиновый шар солнца и в белом шевелении парят над землей дальние силуэты ветел, крыши деревни...

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

— Входите, Женя! — отозвался Крымов намеренно громко, чтобы стряхнуть дорожное наваждение: мечта о дороге была признаком крайней усталости.

Женя Нечуралов ввел Шатрову в комнату и, не скрывая ласкового восхищения, представил ее. Она же робко

остановилась подле Крымова, косясь от волнения ангельски синими глазами.

— Прошу вас, садитесь,— сказал Крымов.

Она села на диван и вся замерла с выпрямленной спиной, вытянутой гибкой шеей, бледное, овальное, только что умытое после грима личико заметно напряглось в страхе близкого приговора. А Крымов с болью подумал, как трудно будет отказывать ей, как этот отказ обескуражит старательного и влюбчивого Женю, однако еще не мог точно определить, что в облике Шатровой настораживало, не совпадало, раздражающе мешало ему — не слишком ли строгая, образцовая эта красота без какой-либо загадки?

— О чем сценарий, вы знаете?— спросил он насколько можно мягче.

— Мне рассказывал Евгений Павлович, когда готовили пробу.

— И как вы понимаете — о чем идет речь?

— О молодежи. Об отцах и детях. О смысле жизни...— Она легонько улыбнулась и испуганно согнала улыбку с пухлых губ.

— И вы хотели бы сниматься в этой картине?

— Очень.

— Почему вы улыбнулись, когда сказали о смысле жизни?

Она чуть повела плечом.

— Я думаю, Вячеслав Андреевич, что большинство людей живет сейчас одним днем.

— Может быть, поэтому и стоит звонить в колокольчик?

— Не знаю, Вячеслав Андреевич. Я живу надеждой сыграть современную Лизу Калитину. И не везет.

— Вы полагаете, они есть в нашей жизни, тургеневские девушки? Не вывелись ли они вместе с усадьбами?

— Немножечко еще есть.

— Хорошо, не буду вас больше мучить. Спасибо. Посмотрим пробу, увидим, как вы будете выглядеть на экране.

— Я вам не понравилась. «Не нра», как говорят у нас в театре.

И она, моргая удлиненными тушью ресницами, щелкнула замочком сумочки, потянула оттуда пачку сигарет, но тут же раздумала, опустила сигареты обратно в сумочку, сказала с многоопытной печалью, удивившей его несоответствием с ее победительной внешностью:

— Самое невыносимое и стыдное в нашей профессии — момент, когда тебя выбирают. Не те губы, не та фигура, не тот голос. До свиданья, Вячеслав Андреевич. Какой вы счастливый человек — выбираете вы...

— Вы ошибаетесь, наверно. Никто не знает, мы выбираем судьбу или судьба нас,— ответил нехотя Крымов.— Счастлив своим заблуждением тот, кто считает других людей счастливыми. Нет, вы понравились мне, хотя я не понимаю в искусстве этих «нра» и «не нра». Решает необходимость, как вы знаете. Вселять особенную надежду в вас я не хочу.

— Я понимаю. Успеха вашему фильму. Я вас люблю как режиссера...

— Благодарю вас.— И он несильно пожал ее трогательно шевельнувшиеся в его ладони пальчики.

Женя предупредительно открыл дверь и вышел проводить Шатрову до лифта. Он вернулся минут через пять подавленный, облокотился сзади на спинку кресла, уткнув кулаки в бороду, забормотал растерянно:

— Почему она вам не понравилась? Какие глаза, какая фактура! Стоишь рядом — электричество пробегает.

— Лучшее в искусстве, Женя, было создано при свечах. Нам с вами в героине нужно «чуть-чуть», а не «все». Иначе некуда будет двигаться. Давайте искать внутренний свет. Впрочем, вы это понимаете. Шатрова при всех ее данных не подойдет. Прекрасные данные, но что-то жесткое в лице, прямизне носа... Однако, Женя, мне показалось...

— Что вы, что вы, Вячеслав Андреевич, у меня ничего...

И Женя, тиская кулаками бороду, страдальчески заговорил, подобия морщин сбегались на его молодом лбу:

— Действительно, актеры на пробах должны чувствовать себя отвратительно. Мы выбираем их, как лошадей на ярмарке. А женщин... Смотрим зубы, ноги, походку. Это все-таки унизительно и цинично, Вячеслав Андреевич! Вот скажите, вы никогда не ошибались, не жалели, что отказывали?

— Жалел и ошибался. Но уже готовый фильм кривыми ножницами не исправишь. Будь вы хоть дважды гениальным, фильма нет, если нет героя или героини. Плохой фильм — вот это бесстыдство и цинизм перед глазами миллионов. Поэтому, Женя, мы обязаны быть беспощадными в выборе актеров. Впрочем, вы парень способный и всю эту премудрость отлично понимаете.

— Н-не все.

— А именно?

— Разве вы долго искали и выбирали Ирину Скворцову, Вячеслав Андреевич?

— Я увидел ее в театре два года назад, когда замысел фильма еще был смутен. Кинопробы можно было не делать. Все было ясно: взгляд, жест, движения, внутреннее изящество... Одна ее улыбка, то ли виноватая, то ли грустная, была целый сценарий, если хотите. Можно было представить ее любовь, беззащитность, неудачное замужество, разочарование, смирение, надежду... Такие, как Скворцова,— редкость, особенно среди актрис.

И Женя сказал стесненно:

— Вячеслав Андреевич, я вас очень уважаю. Но ведь это не так...

— Что не так? Говорите уж до конца, коли начали. Не об уважении ко мне, а о том, что подумали.

Обеими руками охватив каштановую бородку, Женя глядел в пол, не решаясь ответить, сокрушаясь оттого, что не вправе поправлять своего маститого учителя, уличать его в неискренности, и Крымов видел эти мучительные колебания, несмелую заторможенность на его лице и поторопил грубовато:

— Ну, прите напролом, режьте правду-матку, не стесняйтесь!

— Вячеслав Андреевич, мне неприятно вам говорить плохое...— смущенно забормотал Женя.— Но скажите, вы не отказали Скворцовой, когда последний раз ездили на освоение натуры?

— В чем отказал?

— Отказали ей в роли и...

— И? Прите, прите дальше, ломайте все заборы.

— Мне неудобно, Вячеслав Андреевич...

— А что там неудобного? Прите напрямую, яснее обоим будет.

— Говорят, что она была влюблена в вас, а вы в нее. Она требовала, чтобы вы развелись и женились на ней. А вы не могли... и в тот день, когда ездили на натуру, порвали с ней. А она хотела отомстить вам... страшным самоубийством...

Женя запинающейся скороговоркой проговорил это и замолк, глянув на Крымова охолонутыми страхом глазами, затем как-то прибито сник, выражая виноватость наклоненной головой, мальчишеской шеей и даже отто-

пыренным, не вполне опрятным воротником своей поношенной ковбойки.

— И вы верите, Женя, жестокому мещанскому сюжету и пошлейшей чепухе? Неужели верите? Вы спросили меня, как будто упрекнули, и испугались,— сказал Крымов, подавляя в себе вспыхивающий огонек раздражения.— Так неужели вы верите слухам? Или хотите поверить, потому что слабы, как все люди-человеки?

— Я не хочу, нет...— ответил Женя сжатым голосом, как бы приготавливаясь понести расплату.— Но почему многие говорят о вас глупости, Вячеслав Андреевич, строят разные пакостные догадки? Почему?..

— Да потому, что многие до многого не доросли и, если хотите,— как бы помягче сказать? — недобры друг к другу. Мы лукавим и обманываем себя, когда говорим о каком-то абсолютно новом человеке нашего времени. Однако, Женя, на кой черт нужно наше искусство, если все поголовно ангелы? Так вот я о чем. Представьте, что вы, приличный по всем статьям молодой человек, пришли к не менее приличной, но одинокой девице. Вы пробыли у нее час, случайно или не случайно отмеченный зоркими соседями. Каково же назавтра так называемое общественное мнение? Оно однозначно осуждающее — совершилось грехопадение. Вряд ли кто возразит и скажет, что вы перебирали у нее книги и спорили о Феллини. Огорчительно то, что мы попадаем в плен лживых, завистливых и развращенных представлений друг о друге. Понимаете, Женя? Ловкие прагматисты от изощренного ума, а может быть по большой глупости, подменяют душу человека пошлостью, и совесть сладко задремала у телевизора. Впрочем, вздыбленная совесть — опасная штука для себя и других. Жизнь становится невыносимой, когда не сиюминутными удовольствиями, а по нравственным законам жить надо. Так, Женя, или нет?

— Вячеслав Андреевич,— проговорил Женя, поеживаясь,— вы с какой-то грустью на людей смотрите...

— Не с грустью, а с великой досадой,— ответил Крымов.— Потому что это время больше мое, чем ваше. Ваше еще будет. Кстати, наверное, вы на повороте...

— Я? На повороте? Куда?

— Имею в виду вашу карьеру,— сказал Крымов преувеличенно равнодушно.— Если уж будет окончательно подмочена моя репутация и... прочая, и прочая, и прочая, то мое место займете вы, Женя, и будете снимать мою картину.

Женя так резко дернулся головой кверху и так отчаянно исказилось гримасой его зардевшееся яркими пятнами лицо, что показалось: неожиданная боль пронзила его.

— Никогда! Ни за что!

— Поясните.

— Я никогда не займу ваше место! — яростно захлебываясь, заговорил Женя. — Тот, кто занять ваше место захочет, круглый болван! Болван и еще раз болван! Кому придет такое в голову?

— Одному болвану — мне. Я был бы доволен.

— Вячеслав Андреевич, я преклоняюсь перед вашим талантом и понимаю, что не смогу сделать такую картину. Она мне не по зубам. Может быть, когда-нибудь я сделаю и свое... но это ваша картина. Я у вас учился и помню: каждый должен шлепать в собственных галошах. В своих, в своих!

— В собственных галошах — это верно, — сказал Крымов и задумчиво посмеялся. — И все же в земной жизни возможно все.

— Вячеслав Андреевич! Я не предатель! — выговорил Женя ожесточенно. — Я никогда не соглашусь!..

Он, волнуясь и торопясь, стал неловко выдирать пачку дешевых сигарет из нагрудного кармана ковбойки и, закурив, надсадно выкашлянул дым.

— Никогда, никогда, — поспешно повторил Женя с негодованием. — Я знаю, почему вас недолюбливают некоторые из Комитета кино, да и некоторые деятели на студии! Не любят и опасаются! Как раз потому, что вы в собственных галошах ходите! А этого они не ценят, умишко у них конформистский, трусливый! Да и хлеб с маслом терять никак не хочется. Я слышал, как один осел, у которого всегда полные штаны, в своем кабинете кому-то сказал: «Поразительная у Крымова способность наживать себе, мягко выражаясь, оппонентов! Чего ему не хватает? Известности? Денег? Неуправляемый левак и эгоист!» Развелось таких вот ослов в кабинетах — уйма, и каждый двумя руками держится за кресло, а зубами — за стол! И почти все — неумейки!

Крымов опять засмеялся.

— Давайте, Женя, закончим на этом разговор о чиновниках в кино. Подумаем лучше, как жить дальше. Будем отстреливаться до последнего патрона или сдаваться в плен на милость оппонентам?

Он дружески взял Женю за локоть, встречая его засветившиеся слабой улыбкой карие глаза, договорил со своей обычной шутливой уверенностью:

— Отстреливаться, Женя, до последнего! Продолжайте искать героиню. Когда невмоготу будет, я подам сигнал, и вы выйдете из окружения. Я отстреляюсь тогда один.

— Вячеслав Андреевич! Зачем вы так?..

— Милый Женя, вы еще молоды и не знаете, что обстоятельства бывают сильнее нас. Спасибо за участие.

— Вячеслав Андреевич!

— Вы не хотите принять от меня солдатское спасибо?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Через полчаса Молочков повез Крымова на дачу, и он, устало откинувшись затылком на спинку сиденья, закрыл глаза, опять с горечью возвращаясь в пустынный коридор на Петровке, где встретился, никак не предполагая, с Вениамином Владимировичем, с его непереносимой театральностью, казалось, неподвластной ему, вызванной искренним горем, и после этого безумия то ли наяву, то ли в воображении видел пьющих за столиком чай багрового Балабанова, по-бойцовски засучивающего рукава на коротких руках, костистолицего Пескарева с подвернутыми под кресло ногами, слышал свою изысканно-шутовскую речь, предназначенную им обоим, и одновременно жалел и не жалел о вылитой в пошлейшей клоунской игре с ними иронии. Но было это или не было? И что-то мешало ему, раздражало неуловимым новым беспокойством, причины которого он еще не определил, подобно тому как иногда в какой-то момент необходимо бывает вспомнить нужную фамилию, а ее, проскальзывающую тенью, невозможно поймать в памяти.

Как только выехали со студии в раскаленный ад московских улиц и, подолгу задерживаясь, изнывая в вони выхлопных газов на забитых перекрестках, общительный Молочков, поминутно вытирая потеющие на руле руки и деликатно покашливая, попробовал заговорить («Ай, умереть можно: чистая Сахара!»), но Крымов неохотно сказал: «Отдышимся и помолчим, Терентий, если не возражаешь?» — и замолчал, безразличный к асфальтовому

пеклу, пылающему зною улиц, к старанию Молочкова быть упредительным, неунывающим, каким и полагалось, наверное, быть финансовому королю картины во всех жизненных обстоятельствах.

«Значит, я еду на дачу? — думал Крымов, настраиваясь на домашний лад.— Да, душ под яблонями, милая моя Таня, постоянный мой праздник, и Ольга с тихими бархатными глазами, которая так умеет молчать, когда недовольна мной... Два моих любимых существа на земле, без которых не было бы жизни... И чересчур серьезный Валентин, загадочный в чем-то, тайно желающий что-то свое, и его невеста Люся, Людмила, с виду простенькая, неразгаданная, но тоже желающая что-то свое... Так что же случилось? Раньше я ехал на дачу с радостью, а сейчас? Там есть мой кабинет в мансарде, книги, тахта под раскрытым окном, покой, тишина, в которой можно думать... Странно, я приехал из-за границы и так толком и не поговорил с Ольгой...»

И снова, едва он начинал думать об Ольге, соскучась по ней, он томительно чувствовал раннюю весну, горную свежесть в воздухе (где-то поблизости были Альпы), праздную толпу, текущую мимо уже жарких витрин магазинчиков, и видел далеко внизу, за каменным парапетом, от которого пахло теплом, апрелем, маленькую, заставленную машинами площадь, всю в нежной зелени платанов, в раскинутой по газонам весенней сети из теней и солнца,— в ту пору первых поездок за границу было ощущение близкой радости, любви, беспечной молодости. Эту уютную площадь он терпеливо искал в последующие приезды в Австрию и не нашел ни в Вене, ни в Зальцбурге. А иногда представлялось ему, что он не мог найти не площадь, согретую апрельским днем, а ту весну, молодость, ту счастливую надежду пятидесятых годов, которая не сбылась... «И все-таки неужели слабой ниточкой прошлого эта площадь связана с Ольгой? Я был за границей один, а она оставалась далеко в Москве... Я скучал, мечтал встретиться с ней на такой вот площади и вместе испытать молодой ветерок беззаботности...»

— Вячеслав Андреевич, дремлете, а? — Сквозь гул мотора, гася весну, зелень платанов на площади, обыденно и поэтому раздражающе прошелестел вкрадчивый голос и повторил: — Не задремали под шумок мотора, а?

— Бодрствую.

— А Евгений Павлович сурьезный человек. Интерес у него к работе есть.

«Опять Терентий с его неизлечимой общительностью и хозяйственной заботой, потерпел бы, родной».

— Ты о Нечуралове? — спросил Крымов, не открывая глаз.

— О нем, Вячеслав Андреевич.

Крымов разомкнул веки, еще отяжеленные забытьем. Машина миновала серые башни на окраине Москвы, неслась по выжженному добела асфальту кольцевой дороги, слева зубчатым забором мелькали ели, меж ними сквозили желтеющие поля, и в загородном водопаде света подрагивал выжидательной улыбкой узкий рот Молочкова.

«Любопытно — лицо у него совсем гладкое, как будто не растет ничего, а шея в крупных морщинах, — заметил Крымов. — Вероятно, крепок здоровьем, несмотря на худобу».

— Положительный он, Евгений Павлович. Не согласны вы?

— Согласен. Ты на дорогу смотри, на меня смотреть не обязательно.

— Не волнуйтесь. Знаю я, кого везу-то, — пропел побабьи утешительно Молочков. — Считайте, я вас на фронте везу. Ну, вроде где-нибудь на Днепре. Ежели б я тогда на права сдал, то с вами бы в разведке не был.

— А ты что вспомнил разведку, Терентий?

— Все я забыл начисто. И помнить не хочу. Вас вот помню только, потому и люблю.

И волнистая ласковость в голосе, и черескрайняя обходительность, и суетливая проворность его малорослой фигурки, и постоянная неумеренная уважительность, неистребимо проявляемая к Крымову, — все эти особенности Молочкова, не успевшие до дна раскрыться на войне, были с любопытством обнаружены Крымовым при первой же встрече шесть лет назад. Он относил это новое, ставшее неотделимым от Молочкова, к форме самозащиты, очевидно выработанной раз и навсегда бывшим неудачливым разведчиком Терентием, сильно побитым жизнью и в послевоенные годы.

А встретились они нежданно-негаданно на Калужской площади возле автоматов с газированной водой в воскресный июньский день, весь заметеленный тополиным пухом, и, если бы не пушинка, прилепившаяся к краю стакана Крымова, они не обратили бы внимания друг на друга. «Ой, глянь, как села, прямо в рот летит, стерва», — сказал кто-то, подошедший сбоку, и, перхнув безразличным хохотком, протянул по-обезьяньи цепкую загорелую руку

к стакану в соседнем автомате. Крымов взглянул и сначала не поверил: «Не может быть!»

Из взвода полковой разведки дошедших до Германии солдат в живых не осталось никого, он уже неясно помнил их лица, а эту жилистую, цепкую руку запомнил на всю жизнь, она даже снилась ему, судорожно царапающая пороховой снег на скате воронки... Да, это был Молочков, солдат из взвода разведки, когда-то очень худой, похожий на злого подростка, с наглыми желтыми глазами, ядовитый на язык, носивший трофейный ремень с парабеллумом, бьющим, по мнению многоопытных разведчиков, точно, жестко и гулко, и немецкие офицерские сапоги, залихватски собранные в гармошку на его тонких ногах. Но Молочков, узнанный в тот тополиный день по руке, стремительно схватившей стакан, был не тот ловкий любитель прибауток и деревенских частушек и не тот обезумевший парень, раздавленный страхом под огнем пулеметов на нейтралке, растерявший волю за несколько часов, а был помятый человек мелкого роста, в потертом костюмчике, донельзя застиранной рубашке, при галстуке, повязанном неумело; глаза его напрягались играть по-прежнему бойко, но были как обсосанные леденцы, и нездоровая бледность выявляла серую щетинку на щеках. И Крымова удивил его взгляд, собачий, заискивающий, когда в машине спросил, куда поехать выпить ради встречи — домой или в ресторан. Молочков, не решаясь удобно отвалиться на спинку сиденья, ответил, что домой бы лучше, ежели можно, с женой познакомиться, не без робости оглядывал салон машины, чехлы и привешенную Таней к зеркальцу в качестве талисмана какую-то лохматую нелепицу.

Дома у Крымова он скоро захмелел, оживился, держал нож и вилку, отставив мизинец, и, все-таки запинаясь в присутствии сдержанно гостеприимной Ольги, рассказал невеселую послевоенную свою историю. В сорок пятом году вернулся в колхоз под Воронежем, мужиков — полтора человека, одни бабы, поэтому без раздумывания устроился по причине ранений работать кладовщиком, да жизнь пошла на каверзную неудачу, вроде барометр на бурю: жениться не успел, красивые бабы не давали выбрать единственную, поили самогоном, как быка, а потом — перекувырк случился. Кладовую городские воры обокрали и подожгли, а отвечать пришлось ему по суровым послевоенным законам, в сорок девятом году судьи дали на хорошую катушку статью, отчего в холоде и голоде валил лес на северных реках. А срок отбыл, в деревню не вернулся,

решил вольным манером заколачивать в Сибири длинный рубль леспромхозной электропилой и топориком. В тайге большую деньгу не ухватил, потому что женился, сил меньше стало, и обратно душу поманила хозяйственная работа — подвернулось хорошее место по снабжению геологической партии на реке Нижняя Тунгуска (там медведи в обнимку под окнами гуляют). Но поисковая организация закончила дело в три года, и судьба бросила его сначала в таежный городок Киренск, затем в Иркутск, где заведовал и овощной базой, и гаражом, и рабочей столовой до случайной болезни почек («Болотной воды на охоте с устатку напился и заразу какую-то подхватил»). Вскоре жена ушла от него, от хворого, не мужа и не работника, а он после болезни, долгого лечения заимел стариковскую мечту перебраться поближе к Москве, в Химки, к родной сестре, которая жила одна, вдовой, и тут хотел устроиться по профессии — по снабжению на вагоностроительный завод, да ничего хорошего, никакого приличного места пока нету. «Всё обещают: заходите, заходите, а денег ни гроша, на сестрину пенсию хлеб жевать совесть не позволяет, хоть плачь, на сухарях живу, но у сестры не обедаю. Куплю в целлофане сухарей, где-нибудь на бульваре погрызу, и вроде по-солдатски сыт!»

И рассказывая, сильно опьяневший, он действительно захлюпал носом, и было Крымову больно, жалко видеть его измятый, затерханный пиджачишко, его растянутые плачем губы и то, как он при этом вилкой тыкал в хлебницу, подцепляя ломоть, как косился на картины на стенах столовой, на вазы, на люстру, видимо считая это за большое богатство, за роскошь, что заслужил бывший командир взвода, теперь известный человек. И Крымов запомнил хмельную пунцовость его щек, сразу ставших от возбуждения меловыми — темнее, колючее выделилась на них будто вмиг отросшая щетинка, когда он, вытерев жилистым кулачком слезы, сказал срывающимся голосом: «Я раб ваш, Вячеслав Андреевич. Служить я буду вам верно. С вами ведь мы одной веревочкой связаны — воевали вместе. Жизнью вам обязан. Возьмите меня на работу к себе. Много вы можете, знаю я».

Нет, на фронте они не считались друзьями, все было проще, поэтому яснее, и, может быть, связывающей веревочкой была лишь одна неудачная разведка зимой сорок четвертого года. Крымов не забыл ту невезучую разведку и то ли из жалости к Молочкову, то ли из чувства собственной вины помог ему устроиться администратором при

какой-то съемочной группе на студии, позже помощником директора и, наконец, директором в своей группе, довольный его расторопностью. Неустанная сверхбодрость, сверхэнергичность и сметливость Молочкова, его приятнейшие отношения со студийными администраторами, его ласковое умение завязывать добрейшие связи с различными учреждениями, от которых могла зависеть организация съемки на натуре, и предупредительная готовность выполнить любое распоряжение Крымова, покорная, умиленная улыбка благодарности за прошлое и настоящее, культ режиссера в группе, как говорили на студии,— все это, не предполагаемое много лет назад в Молочкове, подтверждало Крымову одно: в разную пору черт или ангел сидит в человеке. «Черт был там, ангел здесь. Или наоборот?» Но к почтительной, преданной исполнительности Молочкова, почасту неприятной, как лесть, он относился со своей обычной иронией, главное же было в том, что денежные, административные и организационные дела под неусыпной властью директора не имели сколько-нибудь серьезных изъянов. И Молочков за шесть лет работы занял солидное место среди директоров съемочных групп, получил при содействии Крымова квартиру, стал носить аккуратные костюмчики, неузнаваемо чистенький, вымытый, тщательно брился, галстук завязывал умело, после премиальных с трех картин купил «Москвич» и, наконец, в прошлом году женился. Удивительно было то, что в день регистрации брака он напросился к Крымову домой на полчасика по важному делу — «показать невесту, ежели разрешите»,— и приехал с крупной полной женщиной, круглолицей, миловидной, утонувшей в пышном светлом платье, в волнообразных оборках, в веерных складках наподобие белых перьев, и разом квартира наполнилась крепким запахом духов, теплого тела, густым контральто, которое она снижала до мелодичного вибрирования, довольно нестеснительно говоря о том, что обожает исторические фильмы, где радуют очаровательные наряды, костюмы, роскошные кареты, балы, где отдыхаешь душой, а Крымов вежливо улыбался, благодаря бога за то, что Ольги не было дома (она не переносила несоразмерные восторги и крепкий парфюмерный запах), и впал в тоскливое отчаяние, не переставая замороженно улыбаться, когда она с радостным изумлением («Ах, какое чудо!») села к пианино, изящным жестом, плавно расправила вокруг бедер волнообразные складки и пухлыми пальчиками попробовала клавиши. А Молочков, влюбленно хо-

дивший за ней в своем новом костюме, украшенном гвоздикой в петлице, весь напрягся стрункой, покорно заблестел навстречу ее взору блаженными глазами жениха, закивал просительно: «Спой, пожалуйста, Сонечка, пусть послушает Вячеслав Андреевич»,— и зашептал Крымову с секретной значительностью: «Сонечка преподает пение в школе».

Она пела низким контральто о свече, которая горела близ ложа, потом песню Сольвейг, и Крымов, не любивший домашнего пения, всегда создававшего некую скованность, видел, как Молочков смотрел на невесту, на ее растягивающиеся, круглые, малиновые от помады губы, умиленный, потрясенный дрожащей мощью ее голоса, видел, как он захлопал восторженно, а она поднялась, небрежно опершись кончиками пальцев о крышку пианино, как бы готовая раскланяться. «Он будет ей служить, это ясно». Через час они ушли, благословленные Крымовым, без торжества вынужденным наедине сказать Молочкову не вполне то, что тот хотел услышать от него («Как вы скажете, Вячеслав Андреевич, так и будет: брать или не брать. Люблю я ее, а совета прошу как у отца»). Он ответил, что в таких вещах никто совета давать не вправе, здесь от Адама и Евы подчиняются чувству, которое может сделать каждого и счастливым и несчастным, но, как видно, выбор сделан. Они поженились, и с тех пор Крымов нередко встречал Сонечку на премьерах картин, всякий раз поражаясь ее дородной полноте кустодиевских купчих, маленькому ротику сердечком, ее бурным певучим восклицаниям, крепкому запаху духов, чему-то пышному, белому, шевелящемуся складками и воланами на бюсте и на бедрах, и было странно видеть рядом с Сонечкой Молочкова, ниже ее на голову, пряменького, благостного, с обожанием прогуливающего под руку жену по фойе.

— Не хочу я пот, кровь и вшу помнить. Жизнь другая кипит. Мирная жизнь, Вячеслав Андреевич.

— Значит, не вспоминаешь? — проговорил вскользь Крымов, глядя на розовое, блестевшее выбритой кожей, счастливое, повернутое к нему лицо Молочкова, очевидно не ведающего сейчас никаких сомнений и довольного жизнью своей.— Ну, а кого-нибудь из ребят нашего взвода помнишь? — спросил он, ловя в душе какое-то несправедливое раздражение против Молочкова.— Сержанта Ахметдинова, например?

— Смелости он большой был, погиб ужасно,— заговорил Молочков и смахнул обратной стороной ладони капельки пота с подбородка.— А я глупым щенком, недотепой во взвод пришел. Я Сонечке про войну ничего не рассказываю. Стыдно об себе, дураке неотесанном, вспоминать.

— Преувеличиваешь, Терентий,— усмехнулся Крымов.— Временами ты бывал парнишка... как бы сказать... настырный.

— Деревенщина, дегтем смазанная,— вот кто я был, Вячеслав Андреевич,— мелко засмеялся Молочков.— Вспоминать о себе спокойно не могу. Не люблю я себя молодого. Дурак глупый. Умирать никому не хотелось. А я в разведке иногда как безумный становился. Боялся, в плен возьмут, пытать до смерти будут. Спасибо вам... Войну никак не хочу помнить, а вас век не забуду. Гнили бы мои косточки на Украине, ежели б не вы... Гнили бы они в той воронке...

Он снова засмеялся, но тотчас с коротким горловым кашлем повторил, крутя головой:

— Ох, дурак я был! Не люблю я себя молодого! Вы меня тогда, дурака зеленого, пожалели, в сорок четвертом году... А другой пристрелил бы, как собаку. Законы у нас в разведке были — не дай бог. Ежели нюни распустил на нейтралке — пускай девять граммов себе в лоб!

Молочков с сомкнутым ртом напряг лицо в беззвучном смехе, но почувствовалась в этом некая внутренняя злая взъерошенность, навсегда, казалось, утраченная им в настоящей его жизни, что-то вмиг изменившая в нем, как внезапный всплеск в памяти прошлой унизительной беды.

И Крымов вспомнил то, что не хотел вспоминать подробно, то свое полузабытое состояние, которое испытывал в иной жизни, украинской зимой сорок четвертого года, на нейтральной полосе, где вдвоем с Молочковым лежали они в бомбовой воронке, поджидая ушедших вперед разведчиков, когда обоим ясно стало, что разведка напоролась на немцев и не вернется.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В тот момент, когда Крымов услышал крики и выстрелы на том берегу, он понял, что с его разведгруппой случилось непредвиденное.

А он был убежден, что на том берегу надо было по нейтралке двигаться в направлении разваленной и сгоревшей в поле скирды, не сомневался, что оттуда по лощине следовало взять левее, потом выйти в тыл села, где и предстояло группе действовать. Эта уверенность появилась у него после двухдневного и ночного ползания по нашим окопам боевого охранения, после придирчиво-скрупулезного изучения местности накануне разведки, в которую сам по приказу майора Азарова пойти не мог по причине словно бы непростительно легковесной.

Тогда его не столько мучила невыносимая боль от фурункулов на спине, сколько неожиданность этой мерзостной болезни и неудача недавней предновогодней разведки его взвода. После взятия Киева и приостановленного в середине ноября наступления на Житомир дивизия стала в оборону, и появилась, как всегда на исходе наступления, неутолимая жажда данных о противнике, о его перегруппировке на правобережье. Начальник разведки майор Азаров, отвечающий за данные, был крайне раздражен тем, что за три дня до Нового года немецкая разведка в метельную ночь выкрала из траншей нашего боевого охранения задремавшего под бруствером часового, что вызвало немедленное наше действие, оказавшееся неуспешным. Выйдя в тыл к немцам, группа Крымова безрезультатно пролежала в снегу вблизи шоссе пять часов, однако ни одной офицерской машины, ни одной фуры не проехало той студеной ночью в село. Назад разведчики вернулись голыми, как презрительно определил майор Азаров, не признающий никаких объективных причин. Но целая ночь, проведенная на морозном ветру, в снегу, внезапно свалила Крымова ломающей болью, высокой температурой, его уложили в санчасть, обнаружив на спине фурункулы, а он, самолюбиво обозленный на промах взвода, на бессмысленную простуду, еще не случавшуюся с ним на войне, решил лишь ходить на перевязки, но быть во взводе, отлично сознавая, что́ подумал бы майор Азаров, если бы он, Крымов, командир взвода, лег на санротную койку, отстранясь от дела.

Поэтому, томясь посещениями санроты для ежедневных процедур, он и эту разведку дотошно готовил сам. Он не передавал подготовку сержанту Ахметдинову, чернобровому отчаянному парню, бывшему боксеру, которому обычно доверял во всем, и сам двое суток лазил по передовой, наблюдая за дежурными пулеметами, за каждым

сугробом на нейтральной полосе — на правом и левом берегу реки.

Когда же в последние минуты зимней ночи он отдал приказ разведгруппе и вместе с Молочковым остался в огромной бомбовой воронке на нейтральной полосе, а Ахметдинов, сказав весело «салют!», растаял с четырьмя разведчиками в синем от звездного света сумраке берега, Крымов испытал нехорошее предчувствие, по разным приметам насторожившее его. Всюду цепенела звонкая тишина январской стужи, вверху, в черной пустыне, звезды горели острым алмазным огнем, а внизу, на земле, над окраиной полусожженного села не взлетали немецкие ракеты. Там необычно молчали дежурные пулеметы. Молчание было подозрительно какой-то затаенной мертвенностью, и, отпустив группу Ахметдинова, он долго вслушивался в безмолвие на нейтральной полосе. Она уходила метров на триста вниз, к заледенелой реке, а за рекой метров на двести подымалась вверх, к первым траншеям немцев перед селом, где раскинулись над редкими крышами пылающие в небе созвездия. Боль нарвавших фурункулов грызла ему спину, ломила между лопатками, его сжимала шершавая дрожь озноба. Он чувствовал, что подскочила температура, и, может быть, этим усугублялась тревога, толкавшая Крымова к невозможному решению — отменить задание, вернуть разведгруппу, доложить майору Азарову о странном затишье у немцев. Но в то же время ни одного веского довода у него не было (молчание пулеметов — не довод). К тому же Азаров мог понять отмену поиска не так, как надо, и Крымов переборол сомнение, рассчитывая, что вся операция при счастливом стечении обстоятельств займет полтора-два часа: пройти аккуратно нейтралку по разминированной вчера ночью саперами узкой полосе в минном поле и без шума взять «языка» в первой траншее.

Но хаотичные вспышки автоматных очередей, ослепивших ночь, дальние крики, заглушаемые выстрелами, смутное передвижение какого-то клубка теней в фиолетовой мгле левее окраины села, визгливый взрыв мины — все это, вдруг возникшее на правом берегу, представилось в тот миг настолько невероятным, что, стиснув зубы, Крымов изо всей силы ударил кулаком по краю воронки: «Вот оно! Неужели?..» Нет, ни в одной разведке (как бы тщательно она ни готовилась) не были исключены десятки возможных вариантов случайностей, но каждый раз, когда

Крымов лично уходил в поиск, он самонадеянно отметал возможность роковой неудачи.

«Вот оно, предчувствие! — мелькнуло у Крымова.— Я не пошел с ними — и вот оно!..»

— Ракетницу! Молочков, ракетницу! — крикнул он шепотом и, увидев испуганно отпрянувшее лицо Молочкова в шерстяном подшлемнике, грубо выругался.

— Напоролись, напоролись... А, товарищ лейтенант? Да неужто в ловушку попали? — всхлипывающе бормотал Молочков и совал сбоку твердый ствол ракетницы, судорожными толчками он тыкался в рукавицу Крымова.— Неужто, а?..

— Перестань ныть и наблюдай! — приказал Крымов, выхватывая у Молочкова ракетницу.— Ясно видишь, где наши и где немцы?

— Напоролись... возле траншеи они... Да неужто в плен их?

— Замолчи, говорят!

По строгой и неукоснительной договоренности с полковыми артиллеристами он мог красной ракетой немедленно вызвать огонь по первой траншее немцев, по пулеметным точкам, прочесывающим нейтральную зону, и тем самым прикрыть отход разведчиков к нашим траншеям, что делалось в других случаях не однажды. Но вызывать сейчас огонь артиллерии было бессмысленно,— огонь накрыл бы и наших разведчиков,— и вне себя Крымов отбросил ракетницу Молочкову.

— Спрячь игрушку! На кой она! Спрячь к черту!..

Лежа грудью на краю воронки, он всматривался в расколотое громом очередей пространство ночи за тем берегом, где возле первых траншей мелькали непрерывные скачки выстрелов, угадывая по трассам учащенный бой «шмайссеров», гулкий треск наших автоматов, тугие разрывы немецких гранат, брызжущий звон лимонок,— и уже по вспышкам очередей, по прыгающим всплескам пламени, по огненному рисунку за рекой он будто вблизи видел то, что произошло и происходило там с его разведгруппой. Вероятно, перед самой траншеей сержант Ахметдинов наткнулся то ли на встречную немецкую разведку, то ли на немецких минеров, работавших на нейтралке.

— Отходить, Ахметдинов, назад, назад! — повторял Крымов бессознательно, слыша, как один за другим обрывался треск наших автоматов и зло, торжествующе звенело шитье «шмайссеров».

И тотчас неправдоподобная тишина упала с неба и та-

кой непроницаемой немотой заполнила морозное пространство ночи, как если бы минуту назад не было впереди ни выстрелов, ни разрывов гранат, ни криков. Только очень далеко справа бесшумно сыпались под низкими звездами на горизонте красные цепочки пуль, и оттуда запоздало доносился ослабленный стук пулемета. А здесь затаенно молчала немецкая и наша передовая, нигде ни звука, ни движения, лишь в ушах еще билась металлическая дрожь автоматов.

— Да неужто в плен взяли их, а?— доходил сбоку захлебывающийся голос Молочкова, и смутно ощущалось, что он шевелится где-то рядом, трудно дыша, елозя валенками по снегу.— Да как же случилось-то? Смертники мы, товарищ лейтенант, смертники мы...

— Замолчать, Молочков!— приказал жестко Крымов, ненавидя и себя и Молочкова за эту бездейственность, за эту беспомощность вот здесь, на нейтральной земле, в бомбовой воронке, откуда они не могли помочь Ахметдинову ни автоматным огнем, ни огнем артиллерии.— Не верю, что всех,— заговорил он хрипло.— Трое шли впереди, двое сзади — группа обеспечения... Не верю, что всех. Кто-нибудь да отошел...

Он снял меховую рукавицу, подхватил пригоршню снега и с желанием остудить себя жгучим холодом потер, до боли корябая, лицо. Холод этот смешался с неотпускающим ознобом, с жаркой тяжестью в голове, и у него застучали зубы, как в жестоком приступе малярии.

— Что вы, товарищ лейтенант? А?— задрожал над ухом голос Молочкова.— Совсем больны вы...

— Сейчас,— выдавил Крымов и задвигался на краю воронки.— Сейчас подождем... и туда... Узнаем сами. Подождем немного — и туда...

Он прикусил рукавицу, чтобы не стучали зубы, почувствовал кисло-металлический вкус снега и промерзшей кожи, его потянуло на рвоту, судорога прошла по горлу, он застонал, задохнулся от напрасных потуг, повторил хриплым шепотом:

— Подождем немного... И к ним туда, ползком... Подождем...

— Товарищ лейтенант, вконец захворали вы... Куда ж мы пойдем? К немцам в лапы? Куда?

Крымов оторвал голову от рукавиц, взглянул на Молочкова, лежащего справа на снежном навале бомбовой воронки, и при ледяном свете звезд, в сумраке, его треугольное лицо, сжатое подшлемником, белым капюшоном

масккостюма, казалось безумным женским ликом, бледным призраком со стеклянными глазами, дышащим паром из густой бахромы инея вокруг рта. Это был, чудилось, не бойкий деревенский паренек Молочков, бедово напевающий во взводе воронежские частушки, а кто-то другой, чужой, зыбкий, всем нутром почуявший неотвратимое, настигающее.

— Слышите? — прерывисто зашептал Молочков, и чудилось, влажный взгляд его заблуждал по лицу Крымова.— Ведь кричат... А?

Внезапно немецкие пулеметы забили по нейтральной полосе, засверкали огненные радиусы, очереди диким смерчем проносились над воронкой, ослепляя рубиновыми огнями, и Молочков, вжав голову в плечи, свалился с края воронки вниз, и оттуда, снизу, тонко вскрикнул его голос:

— Чую я, судьба сегодня!.. Напоролась наша группа, и наша теперь очередь!..

— Ты мне надоел! — зло оборвал его Крымов и спустился по скату воронки, пошатываясь; в голове туманно мутилось, и хотелось лечь, сжаться в комок, чтобы так согреться.— Где кричат? Померещилось? — спросил он, сдерживая стук зубов, с напряжением прислушиваясь, но услышал только дробный гул встревоженных немецких пулеметов, простреливающих нейтральную полосу.

— Кричит кто-то на том берегу... слышу я,— горячо зашептал Молочков, придвигаясь вплотную.— Не Ахметдинов это, а? Может, мучают они его? Ранили и штыками мучают... Помните, как Сидорюка нашли мы? Глаза ему немцы выкололи, руки отрубили...

— Ну что заныл? Что, спрашивается?..

И Крымов опять грубо выругался, презирая и унижая ругательством Молочкова за этот обдающий бедой шепот, за жалкую оголенность страха перед непостижимым, роковым, случившимся с его разведчиками, с чем он, Крымов, не хотел согласиться, зная опытность Ахметдинова и тех, кто пошел в группе захвата, не хотел легко поверить в то, что могло произойти там, перед немецкими окопами.

— Подождем,— резко сказал Крымов, глядя снизу на пулеметные трассы, рассекающие темноту неба над воронкой.— Переждем огонь и проверим. Поползем туда... Сам хочу проверить.

Молочков вскинулся, стеклянные глаза его в ободах инея на веках выкатились, переливаясь влагой.

— В лапы они к фрицам попали... Куда ж мы поползем? Куда?.. И хворый очень вы...

Крымов стиснул зубы.

— Туда же, не ясно?— выговорил он со злобным отвращением к бессилию неопределенности, и слова Молочкова «хворый очень вы», произнесенные с растерянным упреком, взвинтили его до ярости.— Ты чего скулишь? Какого хрена паникуешь? Разведчик ты или мочалка с ручкой? А ну давай наверх, наблюдай за нейтралкой! А то немцы подойдут и возьмут тебя, дурака, в мешке утащат!

— Ежели меня... А вы как? Вы разве железный?

— Ну, на меня немца еще такого не родилось, ясно? Я сам собой распоряжусь.

— Ох, Исусе... себя я убить не смогу,— забормотал всхлипывающе Молочков и, задрав голову, пополз на животе по скату воронки наверх, а там вытянулся, замер, уткнувшись лицом в рукавицы, еле видимым синеватым бугром под перемещающимися над ним трассами.

— Ну? Что ты там? Заснул, что ли?— крикнул Крымов, пересиливая слабость во всем теле, сотрясаемом дрожью внутреннего жара, тянущей болью в спине, к которой прилипла пропитанная гноем нижняя рубашка, и теперь нестерпимо хотелось пить, насытить какую-то сжигающую его знойную пустыню.

Он схватил зубами снег, стал грызть его колючую пресную плоть, имеющую вкус ржавого морозного железа, и, не дожевав, боясь, что вытошнит, выплюнул мерзко размякший комок. Зло кривясь, он выполз на край воронки, лег грудью на закостенелый навал земли и впереди увидел какую-то необычную химическую синеву снега, четко проступившие немецкие траншеи за рекой, танцующие огни пулеметов в опадающем зонте ракеты. Ракета угасла, с ядовитым шипением стала извиваться в воздухе и рассыпалась вторая, за ней третья — ракеты взлетали одна за другой. Немцы раздвигали поднебесным светом зимнюю темноту над передовой, перекрещенными очередями пулеметов прошивали пространство нейтральной зоны. С мутным звоном в ушах Крымов долго всматривался в выплывающие из ночи окраинные хаты полусожженного села, где синели полосой первые немецкие окопы, вблизи которых произошло с его разведгруппой худшее из многих вариантов случайностей на войне. Но сейчас, увидев в низине левее села покатую пустоту облитого ракет-

ным мерцанием снега, он снова отверг мысль, что все пятеро, все до одного погибли или были схвачены, взяты в плен. Он был полностью уверен в опыте и осторожности сержанта Ахметдинова, ходившего за «языком» десятки раз, и еще жила, теплилась ничему не подчиняющаяся надежда на то, что кто-нибудь да ушел из-под огня, затаился, напоровшись на немцев, в низине и вернется оттуда, едва только смолкнут пулеметы, перестанут взлетать ракеты.

— Подождем, подождем,— повторял Крымов, жадно подхватывая ртом снег, чтобы остудить жар в горле.

— Во! Слышите?..— вскрикнул с тоской Молочков и вытянул по-черепашьи голову из капюшона.— Вон оттуда, оттуда, от тех хат... Слышите?

— Бредишь, сосунок!

Крымов приподнялся на локтях, отчего огненно пронзило спину, будто клещами вырывали, перегрызали позвонки, и с перехваченным дыханием откинул капюшон масккостюма, снял шапку с пылающей головы, мгновенно обдутой студеной поземкой, и прислушался.

Пулеметы делали короткие передышки между очередями, и в эти пробитые пустотой промежутки откуда-то из нейтральной полосы явственно донеслись странные воющие звуки. Звуки эти, нечленораздельные, хрипящие, протяжные, возникали и обрывались в ночи; так не мог кричать человек, то предсмертно кричал в живых мучениях зверь, никого не моля о пощаде, никого не призывая на помощь,— это был крик гибели и тоски, беспамятно обращенный к звездам, к холоду, к снегу, в никуда, где не было и не могло быть спасения.

И Крымова передернуло от этого животного вопля безнадежности, который, наверное прощаясь с жизнью, издавал раненый, обреченный на мучительную смерть, и в первую минуту легче было внушить себе, что так кричал не наш тяжело раненный разведчик, а на нейтральной полосе умирал в страданиях раненный в перестрелке немец. Но ясно было: своего раненого немцы не оставили бы на нейтральной полосе рядом с траншеями. И Крымов окончательно понял, что там, впереди, за рекой, перед враждебными, чужими окопами истекал кровью и умирал наш разведчик. А немцы не подходили к нему, не добивали раненого, вероятно желая, чтобы вопли умирающего как бы мстительным наказанием за разведку достигли русских траншей.

— Он... он это кричит...— змеисто пополз за плечом

голос Молочкова.— Ахметдинова схватили... Пытают они его...

Крымов, не отвечая, зажмурился от режущих по глазам разрывов ракет над рекой, прижался грудью к краю воронки и опять начал хватать зубами пороховой снег, с усилием глотая его, а в ушах все рос, приближался нечеловеческий вой из беспрерывно освещаемого ракетами нейтрального пространства, и этот вопль стальными когтями впивался, раздирал ему спину, сведенную болью.

«Все бы обошлось, если бы я пошел с ними»,— думал он, суеверно презирая это свое первое с Курской дуги невезение, и, уже не пытаясь справиться с клацаньем зубов, с дрожью, колотившей его, проклинал себя и эту безопасную воронку на берегу, где он все еще поджидал возвращения кого-либо из разведчиков, хотя куда-то в бездну провалилось само время.

— Товарищ лейтенант... чего вы говорите? Не слышу я... Бормочете вы чего-то...

Цепкая рука затрясла его за плечо, и он, приподняв горячую голову, увидел над собой серое лицо Молочкова, оголенное белым светом ракеты, наросты инея на бровях, увидел дышащий паром рот и проговорил сиплым шепотом, доглатывая застрявшую в горле жесткую снежную влагу:

— Сейчас... стихнет... Раненых на нейтралке не оставим. Ни одного. Проверь автомат, Молочков. Пока отогрейся...

Он выговорил это, замерзая и одновременно сгорая в жару, словно без шинели лежал на льду, насквозь пронизываемый острым, знобящим ветром, и Молочков, глядя на него с искривленным испугом ртом, отшатнулся белой тенью в темноту, зашуршал, захрустел снегом, скатываясь в воронку, придушенным голосом вскрикнул: «Хосподи Исусе, хосподи...» — и замолк там, скорчился, свернулся в пружину с ожиданием последнего.

«Только бы не свалило меня. Что-то плохо мне стало...— бредово повторял Крымов.— Только бы продержаться, сознание не потерять, пока стихнет... Хоть бы полчаса».

А огонь не стихал, пулеметы били без передышки, нейтральная зона пустынно, мертво обнажалась, крутым изгибом взблескивал лед реки, иллюминированный качающимися люстрами в небе, потом стало казаться: от назойливого взлета и угасания ракет все впереди задвига-

лось, запрыгало из тьмы в свет, из света во тьму, брызгами вспыхивал лед до слез в глазах и гас,— и от затихающего, ослабевшего крика в нейтральной полосе, от нескончаемого мелькания, скачков пульсирующих огней, ракетных россыпей и обваливающейся на свет темноты дурно закружилась голова. Крымов закашлялся и, переводя дыхание, с черными кругами в глазах почувствовал, как вонзается в грудь неодолимый страх оттого, что вот так, замутненный головокружением, он перестанет владеть собой и потеряет сознание.

«Сейчас, надо сейчас,— соображал он.— Левый пулемет не меняет сектор обстрела. Надо ползти по правой стороне низины. Так он не заденет... Пора!»

И он позвал с хрипотцой:

— Молочков!

Ответа не было. Преодолевая боль в шее, он повернул голову и пригляделся — там, внизу, на дне воронки неясно белела скорченная фигура Молочкова, он не шевелился на снегу, подтянув колени к подбородку, и только какие-то невнятные, мычащие звуки доносились до Крымова. Он окликнул громче:

— Молочков! Давай ко мне!

Снизу дошло неразборчивое всхлипыванье:

— Товарищ лейтенант...

— Какого хрена, Молочков! Оглох?

Он з нетерпении сполз по скату воронки, наклонился над Молочковым, сильно тряхнул его за плечо, отчего тот встрепенулся взъерошенной птицей, растопырив локти, как беспомощные крылья, горящие пустотой глаза обезумело разъялись.

— Куда? А?

— Слушай, Молочков, внимательно,— заговорил Крымов отрывисто.— Пойдем так. Перебежками к реке. Ползком до того берега. И ползком к немецким траншеям. Прижимаемся к правому скату низины. Все делаем под шумок пулеметов. Следи за моими сигналами в оба. Поднял руку — вперед, махнул — замри...

Ему трудно было говорить, он туго выжимал слова сквозь выбивающие дробь зубы и вдруг скомандовал срывающимся от душной тесноты в груди шепотом:

— Все! За мной.

И повернулся, пошатываясь, пошел вверх по скату воронки в ту самую секунду, когда смолкли пулеметы и в насыщенной звоном тишине, задавив ракетный свет, темнота расползлась по передовой.

— Не надо, не надо, товарищ лейтенант!

Он остановился на середине ската, не понимая смысла тонкого молящего вскрика за спиной («Что не надо? О чем он?»), и, зло возбужденный сопротивлением своей команде, чего никогда не допускал во взводе, увидел сверху стеклянный блеск на зыбко проступающем пятном лице Молочкова, и горбатыми паучками доползли прыгающие звуки его голоса:

— Не надо меня, товарищ лейтенант, не надо...— Голос Молочкова рыдающе зазвенел и заторопился в беспамятстве несвязной скороговоркой: — Ахметдинов это кричал... А тогда под Сумами Сидорюку глаза штыком выкололи. Куда ж мы пойдем?..

— Да ты что, Молочков? Очумел? А ну встань!

Над нейтралкой с отчетливым щелчком взвилась ракета, набегая спереди омывающим светом, в небе посыпался красноватый дождь, сверху вся воронка озарилась багряной мертвенностью — и сразу фиолетовыми горячечными точками придвинулись и скользнули глаза Молочкова, какие бывают у больных, просящих о помощи собак.

— Не могу я, товарищ лейтенант, зазяб я, боюсь...— заговорил умоляюще Молочков, и запрыгали неудержимо и жалко короткие червячки белых бровей.— Пожалейте вы меня, дурака деревенского, за-ради бога. Не берите вы меня. В плен я боюсь, пытать будут. Не разведчик я, товарищ лейтенант, мне б в обозе где... Вон и руки я вконец отморозил, не владаю. Как култышки деревянные... Автомат я держать не могу...

И он, стоя на коленях, вытянул в негнущихся закостенелых рукавицах затрясшиеся руки, потом зубами с усилием стянул одну рукавицу, с усилием попробовал подвигать пальцами, но не сумел и, оскалясь, без голоса заплакал, запрокидываясь назад, так что стали видны его мокрые сжимающиеся и разжимающиеся ноздри.

— Да что за дьявольщина! — крикнул гневно Крымов.

— Мочи моей нет, товарищ лейтенант,— тоненько взвизгнул Молочков, раскачиваясь на коленях, и мелкие слезы побежали по его сизым губам.— Каждый раз, как с вами в разведку уходил, со страху умирал, душа в пятках дрожала. Да проносило смертушку. А теперича... в голове у меня сдвинулось. Весь обморозился я. Мозги вывихнулись. Мне б в госпиталь надо... Пусть хоть руку, хоть ногу оторвет, а в госпиталь бы, мочи моей нет. Жить я хочу, товарищ лейтенант, не хочу я молодую жизнь губить! —

И поперхнувшись слезами, он зарыдал в голос: — Хосподи Исусе, спаси меня!..

Крымову не раз приходилось видеть последнюю степень отчаяния на войне, но подавленность и страх этого зеленого паренька, лично взятого им в разведку из пополнения за бойкий взгляд, за ловкую подвижность худенького тела, этот выплеснувшийся страх Молочкова не то чтобы был неожидан, он ошеломил его омерзительной искренностью, криком о спасении, будто не существовало ничего, кроме голого ужаса перед тем крайним, что ожидало их на нейтральной полосе.

— Не могу я в разведке, товарищ лейтенант,— повторял, склоняясь к земле в рыданиях, Молочков.— Ждал я вашего приказа и бога молил: пронеси и спаси, хосподи...

— Замолчи, щенок! — выговорил Крымов и с толчками крови в висках шагнул к Молочкову, сдавил пальцами его плечо.— Ты что же думаешь, мы раненых оставим на нейтралке? Уж лучше и мы, понял? Встать! — скомандовал Крымов.— Ну! Быстро! Встать!

— Убейте, товарищ лейтенант, сразу убейте, чтоб не мучился я... Убейте меня...

— Прекрати нюни! Встать, я сказал!

Он изо всей силы стиснул жидко заходившее плечо Молочкова, близко видя его мокрое, исковерканное плачем лицо, показавшееся при свете ракеты совсем мальчишеским, а эта меленькая дрожь плеча, вроде потерявшего опору твердой плоти, почудилась каким-то предгибельным сигналом, сообщенным самой судьбой.

И Крымов подумал, что сегодня — через полчаса, через час — Молочкова убьют, и с неприязненной жалостью оттолкнул его, проговорил, как в забытьи:

— Так что же?.. Так что же мне с тобой делать, мразь ты, а не разведчик? Расстрелять тебя как труса за невыполнение приказа?

— Товарищ лейтенант, родненький, поимейте жалость, ноги буду мыть и воду пить!..— заголосил Молочков и качнулся вперед, повалился на землю, а голая левая рука его с непослушными пальцами, на которую он так и не натянул задеревеневшую рукавицу, рыскающе искала валенок Крымова, и, раздавленно извиваясь, он тянулся к валенку головой, мыча, издавая торопливые чмокающие звуки.

— Да ты что, идиот, с ума сошел! — крикнул Крымов

и, не вынеся этого обезумелого унижения, приказал бешено: — А ну встань, говорят!

— Лейтенант, миленький, ножки целовать буду, слугой вам буду, пожалейте за-ради молодой жизни! — вскрикивал Молочков, все ползая по снегу вокруг Крымова, и было что-то бесстыдное, бабье в его исступленном причитании. — В госпиталь бы мне... Неспособный я к разведке, боюсь я к немцам попасть. Звери они, по куску грызть будут. Нету у меня сейчас понимания, товарищ лейтенант, как дурачок я, поимейте жалость к моей неопытной жизни... На три года моложе я вас, а все смерть вижу...

— Значит, в госпиталь хочешь? И смерть все видишь? Ух, как ты мне противен, — гадливо выговорил Крымов, глядя на червеобразно вихляющуюся под ногами белую спину, и с непрекословной решимостью приказал: — А ну сядь!

И сдернув рукавицы, рванул левой рукой за маскхалат Молочкова, поспешно севшего на снег в онемелом оцепенении (только глаза, залитые слезами, мерцали, защищались, выкатывались в ужасе), а правой рукой на ощупь откинул скользкую, сплошь в инее крышку кобуры на его ремне, нащупывая ледяную рукоятку трофейного парабеллума. Рукоятка не поддавалась, льдом вмерзла в тесные края кобуры, и тогда, морщась, сдирая кожу на пальцах, он с резким скрипом выдернул парабеллум, и тотчас визгливый крик оглушил его:

— Не надо, не надо! Товарищ лейтенант, миленький!..

И с задушливым стоном Молочков упал на четвереньки и суматошно пополз куда-то боком по дну воронки, загнанно оглянулся черными ямами глаз, рыдающе прохрипел: «Не надо!» — и зарылся лицом в снег, елозя валенками.

— Не тебя, сволочонок, а мать твою жалко. Ошибся я в тебе, мокрица!.. Сядь, я сказал! — повторил брезгливо Крымов и снова сильным рывком поднял Молочкова с земли, а подняв, ощутил студенистую дрожь его ослабевшего тела, тяжкое дыхание его округленно и немо раскрывавшегося рта, глухо скомандовал: — А ну, гляди в небо и дай руку, если жить хочешь! Вверх гляди, щенок чертов! — крикнул он и, дернув к себе безвольную руку Молочкова, быстрым движением приложил пригоршню снега к рукаву его масккостюма и рассчитанно выстрелил в край снежной пригоршни, зная, что делает...

(Позднее, спустя много лет, не забывая те годы отчаянного и жестокого риска, но забывая того молоденького и не в меру решительного лейтенанта Крымова, почти всегда удачливого командира взвода полковой разведки, он часто думал о прежней своей безбоязненности, с которой распоряжался судьбой людей, о грубости собственных поступков, о своей лейтенантской безоглядности, когда мгновенно отыскивался выход из любого положения, когда не было сомнений, сопровождавших его потом целую жизнь.)

Но тогда, в ту январскую ночь, после его выстрела Молочков охнул, закатил мертво побелевшие глаза и повалился спиной на скат воронки, суча ногами, как в предсмертной агонии. А Крымов подождал, присел рядом, стволом пистолета разорвал индивидуальный пакет, в молчании перебинтовал темно набухавший рукав маскостюма и, чувствуя железистый запах крови, липкость на пальцах, рвотную спазму в горле, проговорил с презрительной яростью:

— А теперь, не оглядываясь, мотай в тыл! Целому тебе там не поверят, поэтому кричи громче: немцы ранили, а лейтенант перевязал! Жив будешь, сволочонок. Но чтобы я тебя больше никогда не видел около разведки. Увижу — все вспомню и тогда не пожалею девять граммов. Давай бегом отсюда, чтоб ноги в задницу влипали!

Однако через сутки ему вновь пришлось увидеть Молочкова, уже в медсанбате, куда Крымова привезли на рассвете той зловещей ночи, поглотившей пятерых человек из его разведвзвода.

Память навсегда сохранила те безысходные минуты, когда он один, обдуваемый секущей поземкой, полз к правому берегу, а потóм лежал, обессиленный, под звездным, таким бесстрастно-холодным небом, в безмолвии неизвестно почему затаившейся нейтральной полосы.

Впереди молчали пулеметы, нигде ни единой ракеты, замолк человеческий вопль на нейтралке, лишь внизу с трескучим звоном лопался в лютой стуже лед на реке, где дымилась на середине пробитая снарядом черная полынья. А он, отуманенный жаром и болью, мучимый жаждой, полз и воображал дышащую морозом хрустально-чистую влагу, представлял, как он с наслаждением погружает в холод воды подбородок и пьет ненасытно, большими, охлаждающими горло глотками и не может напиться.

И последнее, что еще ясно осталось в памяти, была

черно-тяжелая волна полыньи (там качались и вытягивались нитями звезды!), вкус огненно-ледяной воды, от которой он задохнулся и замерз, и голубоватая сумеречность правого берега, куда он дополз, волоча на локте автомат, опасно позвякивающий прикладом по бугоркам речного льда.

Потом все было размыто — низина, плохо различимые вверху сугробы первых немецких траншей, нескончаемая зимняя ночь над закоченевшими садами полусгоревшего села, удары крови в ушах, неотступная мысль о необходимости во что бы то ни стало узнать, что здесь произошло, шелест поземки в пустынной низине, ни выстрела, ни света ракеты, ни единого признака, объясняющего, что случилось с разведгруппой, хотя мнилось: поземка пахла холодным порохом...

Позже ему рассказали, что его нашли в зоне нейтралки, неподалеку от воронки, на левом берегу, но как он сумел вернуться с правого берега, этого не помнил.

И очнувшись в медсанбате, он в тот же день увидел своего разведчика Молочкова, пришедшего к нему в палату с виновато-счастливой улыбкой, рука висела на свежей перевязи, смазанное какой-то мазью лицо в сизых пятнах, но желтые бойкие глаза играли молодо, голос звучал заискивающе и ласково:

— Товарищ лейтенант, слава богу, живы вы... А у меня мизинец чегой-то согнулся и онемел. Во, поглядите-ка. Да пустяки, пустяки это. Пуля мякоть задела...

— Пошел с глаз,— равнодушно сказал Крымов.

— Ты прав, Терентий, девять граммов тоже бывают спасением,— сказал Крымов, как-то мимолетно ощущая то давнее бессилие и одиночество на нейтралке, но уже без прежней остроты гнева, точно все прошлое кануло в далеком сне.— Что ж, не будем вспоминать войну. В конце концов, многое миновало. Лучше расскажи, как сейчас живешь? Как дома?

«Стоит ли думать, какими мы были тридцать лет назад? Терентий хороший директор, предан делу...»

— Так как Соня? Наследника не ждете?

— Вся моя жизнь от вас зависит, Вячеслав Андреевич, все время о вас думаю. Неверующий я, а то бы молился,— проникновенно сказал Молочков и взволнованно перевел дух.— Как я без вашей помощи? Даже на законный брак, можно сказать, благословили. Может, скоро ребеночек бу-

дет у Сони. Я сына хочу, она девочку. Споры семейные по этому вопросу. Да боязно, Вячеслав Андреевич. Очень уж боязно.

— Чего боязно?

— У Сони астма. Петь она вовсе перестала. Иногда прямо задыхается. В этом году три раза неотложку вызывал. Жить ей в городе врачи не рекомендуют. За городом надо, на хорошем воздухе. Вот я кооперативный участок взял от студии. Напрячься бы силенками, домишко построить, Вячеслав Андреевич,— для Сони спасение. Ох, удалось бы!..

— Понятно. Удастся. Тебе удастся.

— Почему вы так сказали?

— Тебе сейчас все удастся, Терентий. Ты вошел в полосу удачи. Есть в жизни полоса везения и невезения. Ты — в полосе везения. Мчишься в ней на своем «Москвиче».

— Смеетесь надо мной? А вы как же?

— Я вышел из полосы. И смеюсь над собой, конечно.

Молочков покосился на Крымова, и вкрадчивые, замерцавшие глаза его значительно округлились, показывая понимание интеллигентной шутки. Но когда он снова повернулся к рулю, затылок его стал прямым, выжидательным, а поющий голос подчеркнуто недоверчивым:

— Разве глупые слухи, наговоры — факт? Вы человек всему миру известный — никто вас пальцем не тронет! Разве кто вас свалит?

Крымов опустил стекло и, глядя на просверки солнца меж елей за обочиной шоссе, вдохнул теплый ветер, напоенный сухой хвоей, сказал:

— На земле нет неприкасаемых людей. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, упасть не может. Я слишком долго бежал. А это не все поголовно любят. Впрочем, я просто работал. Работал, работал. И пытался поймать за хвост жар-птицу. Понимаешь, Терентий?

— Неужто Нечуралов вместо вас картину снимать будет? Ведь слухи о нем,— проговорил оробело Молочков, и пряменький затылок его опять выжидательно замер.— А я как без вас? Неужто с вами серьезно?

— Ты не пропадешь, директор.— Крымов ободряюще похлопал его по плечу.— Мужик ты тертый, обходительный, со всеми умеешь ладить. Балабанов тебя любит, да и ты хорошо ему служишь. Скажи, дорогой Терентий, во имя чего ты лжешь ему, наговариваешь на меня всякие небылицы, придумываешь фантастические сюжеты?

«Вот что целый день раздражало меня, как тоскливая неопределенность».

— Служу я ему и вам, Вячеслав Андреевич,— тоном тихого и покорного согласия отозвался Молочков.— И Советской власти. Я человек маленький. На войне подчинялся и сейчас приказы выполняю. Ничего я плохого о вас не наговариваю, а наоборот — помогаю вам, извините. Сил у меня маловато, видать, для помощи. Да как могу. Разве я против вас?

Тихий голос Молочкова поперхнулся обидой, стал носовым, жидким, и Крымов проговорил досадливо:

— Ну, вот еще этого не хватало, начинается сцена из мелодрамы. Ты что, научился играть в кинематографе? Перестань ныть, смешно это! Без меры хитер ты, Терентий, и очень хорошо знаешь, что лесть пожирает слабых заживо.

— Смеетесь надо мной? Обижаете,— выговорил надтреснутым, больным голосом Молочков и огорченно покачал головой.— А я как раз сегодня о серьезном деле должен поговорить с вами. Вас касается. Не догадывались, зачем я вас не на студийной машине домой отправил, а на своей везу? Ведь шофер Гулин — дурак глубокий, пьяную морду вы ему правильно набили, а он к закону обращается, в суд на вас подавать хочет. Вот стерва подколодная! Сегодня ко мне приходил в свидетели меня приглашать.

— Что ж, это его дело,— сказал непроницаемо Крымов, вспомнив исподлобный, заметавшийся взгляд Гулина, которого он на днях встретил в съемочной группе.— И что ты ответил?

Молочков виновато поморгал леденцовыми глазами, ноздри его маленького хрящеватого носа до побеления напряглись.

— А дурак — разве он не опасный, Вячеслав Андреевич? Кто знает, что ему в голову залезет. Говорил я с ним долго, целый час он у меня сидел, убеждал всеми словами, что его самого, неумейку и пьянь, под суд легко отдать. А он мне: «Крымов хотел меня изуродовать за то, что видел я, как он с потаскухой Скворцовой в траве валялся, угрожал мне. Пусть, мол, суд во всем данном темном деле разберется». Кирпич, сволочь, а не человек! Темнотища лимитная...

— И дальше что? Что замолчал? Говори до конца, Терентий.

«Бред, безумие... Для чего мне знать? А дальше что

будет со всеми нами? — подумал вдруг Крымов и глотнул из окна струю сквозняка, чтобы унять боль в сердце.— Кто спасет нас от опасных дураков?»

— Пьянь-то он пьянь, а расчет в голове имел,— продолжал Молочков с едким осуждением.— Изуродовать, говорит, меня хотел, так пусть, говорит, по справедливости заплатит, и тогда прощу я его, квиты будем, и в суд не подам. Ежели шофер человека сбивает, так он за увечье ему каждый месяц платит, вроде по инвалидности. У меня, говорит, машины нет своей, дачи нет, а Крымов человек богатый, так пусть четыре тысячи выложит бедному, ежели виноватый,— и все полюбовно, чисто, замолчу я и вроде ничего не знаю, ничего не видел.

— Понятно, понятно. Четыре тысячи?

Молочков пренебрежительно закряхтел, перебирая на руле цепкие пальцы, и заговорил непривычно черствым голосом:

— Я ему и сказал, дураку: «Ты что же, ограбить намерился хорошего человека? Четыре тысячи! Для чего тебе четыре тысячи? Пропьешь ведь без толку, курья голова! Ты и пятьсот рублей никогда в кармане не держал. И не боишься мне такое болтать про тысячи, а?» А он все рассчитал, умный дурак оказался. «Мы,— говорит,— вдвоем с вами, свидетелей нет, никто не слышал, что хочу, то и говорю, шито-крыто, а я четыре тысячи прошу законно, пусть даже три, и знать ничего не знаю». Вот выставилась какая стерва, а?

— Значит, четыре или три тысячи? И все будет в порядке?

— Три просит после моего разговора, гадюка бессовестная.

— А не много, Терентий? Как думаешь?

— Как язык только у алкаша поворачивается!— заговорил с ядовитой улыбкой Молочков, возбуждаясь, нервно взглядывая на Крымова из-за вздернутого плеча.— И еще меня в посредники взял и не боится! Пустой он, никудышный человек, а опасный. Да с него и спрос-то какой — как с чурбана, а сдуру навредить крепко может! В народе умно говорят: не тронь дерьма — аромата не будет. Эх, Вячеслав Андреевич, некрасивое это дело, глупое, а аромат-то нюхать не хочется. Отдали бы вы ему, что ли, эти деньги, пусть подавится, только бы запах не распространял! Шут с ними, с деньгами, они, деньги-то,— дело наживное, а свое спокойствие дороже, ей-богу. Одних нервов с вонючим глупарем потратишь на десять тысяч!

— Да, одних нервов потратишь на десять тысяч,— повторил Крымов в тон Молочкову, как будто безучастный к тому, что он говорил, но вместе с тем злое отвращение душило его, и сразу все предстало непереносимо противным: этот убедительно размышляющий голос Молочкова, его пряменький возмущенный затылок, его презирающая глупаря Гулина улыбка; и вновь кто-то, умудренный скорбью опыта, терпким неверием, навечно обреченный в его душе на одиночество, на понимание тщетности всего, что желало, хотело, жаждало, неустанно интриговало вокруг, сказал ему тоскливо: «Ну, для чего это? В чем смысл этой жалкой лжи? Получит он три тысячи — а дальше что? Наступит в его жизни райская благодать? Купит бессмертие?» И кто-то другой в его душе, не желающий ничего взвешивать на весах горькой мудрости, возражал непростительно и недобро: «Каким же образом ты влез в такую грязь? Вини свою наивную веру в то, что все перемелется!»

— Терентий Семенович...

— Аиньки? Слушаю вас, Вячеслав Андреевич.

— Ах, спасибо тебе за милое бабушкино «аиньки». Как ты хорошо это сказал!

— С любовью к вам...

— Спасибо, спасибо. А скажи, пожалуйста, Терентий Семенович,— проговорил шепотом Крымов, вплотную наклоняясь к уху Молочкова, и поощрительно тронул его за плечо,— а как вы решили разделить сумму? Тебе две с половиной, а Гулину пятьсот? Или иначе — Гулину тысячу, а тебе две? Это, знаешь ли, мне очень важно.

Молочков медленно оборотил к нему продолговатую голову, его короткие бровки выгнулись весело — вопрошающими дугами, его подвижные губы раздвинулись и сдвинулись, изображая комический смех.

— Шутите? — ласково и укоризненно сказал он, однако без всякой защиты задетого достоинства и без неловкости за грубую чужую прямоту.— Ох, Вячеслав Андреевич...

— Я совершенно серьезно,— продолжал Крымов, участливо поглаживая жилистое плечо Молочкова.— Идея прекрасная, и, конечно, она не сразу пришла тебе в голову, Терентий Семенович. А почему бы и нет? Крымов, кажись, уже не тот, не упускай добычу, вырывай зубами крупные и мелкие куски, лови момент, авось интеллигент струсит, а нам, бедным, в суматохе повезет. Так, Терентий, мой любезный друг?

— Оставьте меня! Вы во всем виноваты! — взвизгнул фальцетом Молочков, дергая плечами, и гибко отклонился в сторону, зачем-то одной рукой оправляя на груди пиджак, и в следующую минуту что-то неподкупное и неминуемое появилось в его скошенном взгляде.

— Так что ты мне скажешь, разведчик? — спросил Крымов. — Ты какую-то фразу хочешь произнести?

— Вы меня сильнее были! — тем же высоким голосом выкрикнул Молочков и опять заученно растянул рот в беззвучном комическом смехе. — Были, Вячеслав Андреевич! А теперь и я не слабый. Я слуга и раб ваш был, это нравилось вам, теперь и я вроде свободный! Независимый я от вас! Меня и другой режиссер возьмет. Вон оно как в жизни бывает! Как в песне поется: то вознесет его высоко, то бросит в бездну без следа. Кончилось, видать, ваше счастье! А руку эту вы мне на фронте покалечили. Нерв-то задели, вон палец как плохо работает! — Молочков оторвал левую по-обезьяньи быструю руку от руля, с угрозой помотал пальцами, зашевелил оттопыренным кривым мизинцем, уже не смеясь беззвучно, а остро оскаливаясь улыбкой готового броситься из засады хищного зверька. — Вы передо мной, Вячеслав Андреевич, тоже крепко виноваты! Я на вас тоже в суд могу подать — как вы меня в войну самострелом сделали!

Молочков, спеша, точно боясь остановиться, назойливо сыпал в лицо слепящей пылью, и сквозь остренькую улыбку его неузнаваемо злобные глаза вспыхивали желтым огоньком. И Крымов, выдерживая необходимую степень насмешливого спокойствия, проговорил:

— И ты, Брут?

— Какой такой еще Брут? Какой еще?.. Вы меня не очень-то!..

— Дур-рак! — сказал Крымов с презрительным удовольствием и договорил, по-прежнему насмешливо, медленно расставляя слова: — Наверно, так нужно было судьбе, чтобы я пожалел тебя, дурака, в сорок четвертом... Как ты думаешь?

Молочков вскричал незнакомым голосом, исполненным страстью обиды:

— Я тоже на земле нужен! А чего я заслужил? Несправедливость была и будет! У вас квартира большая, дача, деньги не копеечные, все есть! А у меня чего? Квартирка крохотная, машинка — от смеха помереть можно, «москвичок», жена больная, а что до денег, то всегда в обрез, Вячеслав Андреевич!.. Я ваш разговор с американцем

очень хорошо понимал, выше всех себя ставите! Барин вы по сравнению со мной, с моей бедной жизнью! Презираете вы меня, брезгуете, терпите, я шкурой такое чувствую. На войне вы меня презирали и сейчас!

Молочков торопился выговорить это неоспоримо и возбужденно, на его губах играла мстительная затяжная улыбка, и Крымов почувствовал, как звенящая пронзительная струнка до предела натянулась между ними, и, испытывая жгучее прикосновение к неудержимо раскрывшейся ненависти своего бывшего разведчика, единственного оставшегося в живых из его взвода, сказал вполголоса:

— Это верно. По натуре ты всегда был раб. И кроме презрения, другого чувства вызвать к себе не можешь. Останови-ка машину, современный Брут,— негромко приказал он и властно, как в давние лейтенантские времена, сдавил жилистое плечо Молочкова, горячее, мигом напрягшееся, а увидев его мертвеющее от ожидания и страха лицо, вторично скомандовал: — Стоп!

«Москвич» завизжал тормозами, вильнул к обочине, остановился на насыпи пустынного в этом месте шоссе, над желтеющими полями, и когда Крымов решительно раскрыл дверцу и вылез из машины в тишину, его окатило зноем нажженной солнцем дороги вместе с сухим полевым воздухом. Тут он несколько помедлил и обернулся к Молочкову, с незавершенным любопытством разглядывая его ставшее меловым лицо, утратившее обычную угодливую приветливость, выражение деловой энергии, ежеминутно приготовленной к действию, как бы необходимому для рабочей бодрости съемочной группы, и в первую очередь для него, режиссера Крымова.

— Ну что ж, Терентий, спасибо за искренность, что тоже дорого стоит, гораздо больше трех тысяч,— сказал Крымов, внутренне поражаясь так страшновато излитой враждебности Молочкова и мере своего хладнокровия.— Но, как вы хорошо понимаете, Терентий Семенович,— продолжал он, вежливо переходя на «вы»,— в создавшихся обстоятельствах делать нам вдвоем в одной съемочной группе нечего. Я завтра же приму решение, если вы не примете его раньше. Кстати, передайте шоферу Степану Гулину, что во имя справедливости я готов разориться на три тысячи. Но, конечно, при условии, что не буду лишен счастья взглянуть на его личико... вот так же, как на ваше, чтобы вблизи увидеть, кто же мой благодетель. Всё, кажется. Не беспокойтесь, директор, я поймаю

попутную машину. Счастливого пути, Терентий Семенович! Вам опять повезло, как тогда в воронке... Вы один возвращаетесь...

Он захлопнул дверцу машины с тою же мерой давнего лейтенантского хладнокровия, которое необходимо было тогда и в особенности нужно было теперь.

«Может ли такое быть — в сорок четвертом на Украине он хотел перехитрить судьбу... и сейчас — вторично? Изменилась внешность, костюм?— думал Крымов, шагая по шоссе, и его душно охватывала тоска.— Нет, другое, прибавилось другое... Он доказывал мне свою преданность и защищался фальшивой приятностью в общении со всеми, а моя добренькая благотворительность помогла ему кое-чего достичь. Но что толкнуло его к злополучным четырем тысячам? Не Гулин, ясно, не Гулин. Идея Молочкова. Как она возникла? Болезнь его Сонечки? Дача? Или он решил, что настал момент безнаказанно урвать кусок побольше? Ах, какая расчетливость, какая сообразительность!..»

— Вячеслав Андреевич! Погодите, родненький! Куда ж вы?— послышался за спиной Крымова тоненько взвизгнувший голос, позади застучали по асфальту шаги, и Молочков, запыхавшийся, взмокший, забежал вперед, как-то искательно пританцовывая, умоляя растерянно моргающими глазами, готовый заплакать и удерживаясь от слез.— Вячеслав Андреевич, родненький, обидел я вас! — заголосил он, захлебываясь.— Извините меня, скотину необразованную, чего я вам такое глупое, несуразное наговорил, соскочило у меня с языка, сам не знаю, дурак я, балбешка стоеросовая! Дипломат какой, стал антимонию разводить, а я обязанный вам по гроб жизни и детям своим скажу: есть добрый человек. Ведь вы по душе... а я за пьяницу Гулина просить стал!..

«Вот он, второй Молочков, в защитном костюме».

— Доброта в наше время наказуемый порок. Верно, Терентий Семенович?— сказал Крымов и усмехнулся.— Так зачем вам потребовались три с половиной тысячи? Отлично понимаю, что из всей суммы Гулину, наверно, досталось бы только пятьсот. Почему вы просто не попросили у меня взаймы?

— Вячеслав Андреевич, не мне деньги, не мне!— вскричал протестующим голосом Молочков и внезапно с неуклюжей порывистостью ткнулся вытянутыми губами, всем лицом в плечо Крымову, что должно было означать

неудержанный поцелуй благодарности.— Разве я такое могу? Гулину, Гулину деньги! Я вас хотел оберечь от его злобы, а потом помутилось у меня в голове и начал говорить вам темные слова! Побили бы меня лучше, и то легче б стало! Для чего говорил гадости вам, не знаю, объяснить себе, дураку, не могу. Ведь люблю я вас, Вячеслав Андреевич, а наболтал, наболтал, вроде враг я вам! Жизнь вы мне спасли...

— Перестаньте унижаться! — остановил его Крымов, силясь подавить гнев.— Противно, ей-богу. В разведку вам сейчас не идти, и со мной на тот берег перебираться не надо. Парень вы всегда были себе на уме. Вы думаете, тогда в воронке я поверил вам, что вы руки обморозили и разума лишились? Все было ясно. Просто я пожалел вас — и вы ушли в тыл, счастливец, и остались в живых. А вас расстрелять надо было. Неужели вы думаете, что эта грязь с деньгами мне непонятна? Одного не пойму — почему я все время вам руку помощи протягивал? Почему помогаю? Впрочем, природа создала для чего-то таких хорьков! Теперь вам ясно мое отношение к вам, Терентий Семенович? Подите к чертовой матери, я не хочу вас больше видеть!

— Господи Исусе...

Молочков слушал раздавливающие его слова, дрожа подбородком, потом прижал кулаки к глазам и застонал, заплакал тоненько, с собачьим подвизгиваньем, и Крымов скривился, сказал:

— Да хватит ныть, хватит, наконец.

— Господи Исусе, не мне деньги, не мне! Слуга я ваш был и есть, Вячеслав Андреевич!..

— Я сказал вам — подите к чертовой матери!

— За что? За что ненавидите меня? Ведь ненавидите?

— Хуже.

— Ах, вон как!

И не отнимая кулачков ото лба, он затанцевал, засеменил вокруг Крымова и тут, опомнясь, пошел к машине, покачивая головой, как бы убитый несправедливостью человека, которого боготворил, ценил всей душой, но был отвергнут, не понят. А когда он опустил кулачки и обернулся, порозовевшее лицо его было перекошено злобой.

— А денежки Гулину отдадите, иначе он вас... под монастырь! Он может! Под монастырь вас...

«Действительно, за что он ненавидит меня? Может

быть, все из прошлого, из той воронки? Возмездие мне за погибших?»

Крымов стоял на обочине, ломая спички, прикуривая, и, мельком взглянув на машину, развернувшуюся на шоссе, успел заметить пряменькие плечи, непреклонно, даже сурово сжатый рот Молочкова — таким он видел Терентия Семеновича впервые — и тотчас подумал, что, в общем-то, он, Молочков, хозяин положения, ибо не остановится ни перед чем, используя удобные возможности. Его враждебно неумолимое личико промелькнуло и исчезло, словно не было между ними никакого разговора и Молочков унизительно не извинялся, не силился плакать с жалобным собачьим подвизгиваньем. «Что происходит со мной и вокруг меня? Безумие?— думал Крымов с тоской.— Не может быть, чтобы моя жалость погубила Ирину и был прав ее отец: я не должен был вселять в нее надежду,— дрогнула в нем мысль, и ноюще заболело в висках.— Если так, то, значит, жалость оборачивается несчастьем? Да есть ли она в жизни, прочная логика? Только голод, рождение и смерть — непоколебимые истины. А остальное двояко, подчинено обстоятельствам: правда, зло, доброта. Да, да, все мы пленники обстоятельств. И никто не свободен. Это страшно, безвыходно и унизительно... Так должен же быть и в этом какой-то разумный смысл! Имеет ли здравый разум какое-либо отношение к трусливому и коварному Балабанову, к Молочкову с его ненавистью и игрой в верного раба, к убитому горем и одиночеством отцу Ирины? В конце концов, есть ли цель у знаменитого Гричмара, оглушенного неприятием больной цивилизации? И какая цель у меня с этой раздражающей, неизлечимой доверчивостью к правде?.. А что такое правда — знаю ли я точно? И как спасение — моя наигранная ирония, моя игра с жизнью. Во имя чего? Да, интеллигентское бессилие перед обстоятельствами — вот что такое моя ирония. Бессилие перед пошлостью, ложью, желание смягчать, не обострять!.. Нет, вряд ли я чего-то боюсь в мои годы. Но моя ирония — тоже компромисс, тоже согласие с обстоятельствами и в конце концов предательство самого себя!.. Смешно! Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели. От них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто давал ему веру, одержимость? Господь бог? Кто даст веру мне, неверующему? Искусство? Протопоп Аввакум?

И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздействовать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аввакум, святой, неистовый в чувствах протопоп Аввакум, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлечений, будто накануне апокалипсиса. И опять Джон Гричмар, «город городов» Париж и душное чувство боли, какое было у меня там в предпоследнюю ночь...»

Пляс Пигаль, день и ночь веселящийся район «города городов», куда повел его неутомимый Гричмар, блистал, кипел, переливался, казалось, теми же огнями, теми же названиями баров, ночных кабаре, секс-шопов, секс-фильмов, что видел Крымов и в Гамбурге, и в Брюсселе, и в Сан-Франциско; те же швейцары в непристойно красных ливреях, в аристократически черных цилиндрах, те же испитые, потрепанные физиономии сутенеров, повсюду на углах настойчивой скороговоркой предлагающих зайти на сенсацию и испытать то, чего еще не испытывали, то же многолюдное, тесное движение разноликой и разнокожей толпы, нечистоплотно пряный ветерок духов, перемешанный с горячим запахом жареных каштанов возле кинотеатров, с настоянной сладостью кофе из открытых дверей закусочных, и всюду мимо тротуаров сверкающие отлакированными спинами машины, мчащиеся куда-то в световое небытие, непрекращающийся однотонный шум вперемешку со скрежетом игральных автоматов и те же опытные голоса у подъездов в переулках, троганье за рукав: «Аллё-о!» — и скромное заглядыванье в глаза с полуприглашающим, фальшиво целомудренным киванием молоденьких девиц, иногда почти девочек, похожих на сорбоннских студенток в простеньких невинных очках, и рядом расширенные зрачки мальчиков-наркоманов, остекленевшие на бескровных лицах, группы гибких и стройных, как лани, негров в белейших майках, шумно поджидающих поблизости от ресторанов предложений богатых туристок-американок, наделенных за границей повышенным воображением, респектабельные мужчины, скользящие равнодушными взглядами по витринам ночных клубов, по фотографиям обнаженных тел в разных позах.

Те же повороты в переулки, где неяркие огни, полумрак, откуда порочно тянет теплой волной пудры, порой банной сыростью с парфюмерной струйкой чего-то соле-

ненького, где у стен наполовину темных домов, у каких-то полуоткрытых дверей прохаживались, напрягая икры, пожилые проститутки в телесного цвета колготах, в трико с цветными треугольниками внизу живота, от этого казавшиеся нагими, независимо переговаривались между собой прокуренными голосами, в то же время с притворным безразличием ловили боковым зрением страшноватых, по-клоунски подведенных глаз малейшее внимание проходивших мужчин, и одна, худая, плоскогрудая, мотая длинными волосами, свисающими бронзовыми вензелями на крупные ключицы, окликнула Гричмара с грубоватым смехом:

— Эй, толстяк, я знаю, что ты богатый немец, подымайся ко мне, я сделаю то, что ты хочешь! У меня есть подруга...

— А сколько будет стоить, милочка? — отозвался нарочито бодро Гричмар и молодецки подмигнул Крымову. — Где твоя подруга, милочка?

— Подымешься в мансарду и ты ее увидишь. Она белокура, как Сафо. И родом с Лесбоса. Ты что-нибудь в этом соображаешь?

— И сколько вы берете франков, милочки?

— Заплатишь за нашу квартиру.

— А сколько?

— Ты не пожалеешь о деньгах, толстяк, после того, что увидишь.

Они говорили по-французски, Крымов не все понимал, его угнетало это жадное вечернее шевеление людей, ищущих торопливых наслаждений на площади и в этих мрачных переулках, где открыто продавалась живая плоть — бедра, ноги, губы, механические движения по выбору покупателя, и было такое же давящее чувство, какое он испытал два года назад в гамбургском магазине, наивно называемом гигиеническим, при виде омерзительно огромной резиновой куклы, имеющей имя Линда, обладающей теплом «нормального женского тела» (что выяснилось из торговой рекламы), которую можно купить за тридцать марок в постоянные любовницы, ибо никакого различия нет. И поразил его в том магазине странный покупатель, некий сухонький тонконогий мужчина лет сорока, топтавшийся около двери. Он зачем-то завязывал на лице до глаз носовой платок и то делал шаг к прилавку, то отступал назад с полоумным взглядом одержимого необоримой манией, больным стыдом и страхом...

А тут, на парижской площади Пигаль, близ темных переулков, все буйствовало бессонным фейерверком неона и электричества, везде текли праздные толпы желающих познать или увидеть предметы удовольствий, стояли ожидающей цепочкой у ярко светившихся окон бара юные проститутки в курточках, и от одной девицы к другой разъезжал в коляске инвалид, полноватый в шее и плечах, в каскетке военного покроя, и подолгу убеждал их в чем-то, с мольбой вскидывая глаза, но они отрицательно перекрещивали указательные пальцы, поворачивались к нему спинами, видимо не договорившись в цене, а он отъезжал, возбужденный, с рыскающим потным лицом, затем наконец утомленно подкатил к металлическому барьеру, огораживающему тротуар, рывком положил на перила дрожащие кулаки, и Крымову, вероятно, привиделось: по его круглым молодым щекам быстро скатывались злые слезы. Инвалид смотрел через дорогу на багрово подсвеченные витрины нового американского шоу; а там, на другой стороне улицы, пронзительно завывала сирена, увеличивалась, расширялась толпа, загораживая витрины и вход в кабаре. Полицейская машина, вращая голубыми молниями сигналов, круто остановилась возле тротуара, двое полицейских провели кого-то окровавленного сквозь расступавшуюся у подъезда толпу, втолкнули в распахнутую дверцу. Вновь взвыла сирена, машина, стремительно выворачиваясь из скопища автомобилей у обочины, задела боком железный столб с названием улицы, столб скрипнул, закачался, толпа дружно, злорадно захохотала. Полицейская машина, освобождая дорогу грозным ревом сирены, помчалась под вспыхивающими витками реклам, исчезла в хаосе огней, газовых светов, в потоке автомобилей.

В тот вечер Крымова не отпускало состояние какой-то непоправимо совершающейся вокруг тупой бессмысленности, он пил больше обычного, молча слушал Гричмара и просидел в баре до трех часов ночи в тщетной надежде освободиться от того больного, тягостного, что не прекращалось за стенами бара, на ночных улицах Парижа.

«О чем я думаю? Протопоп Аввакум, пляс Пигаль, девицы в студенческих курточках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неумолимо сжатый рот Молочкова? В чем связь? Где? Варианты и вариации. Так или

приблизительно так было уже в Древнем Риме. И может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда движется все?»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Он поймал левую машину и всю дорогу до дачи не мог избавиться от навязчиво повторяющейся липкой мысли: «Почему в зрачках у него было плоское торжество?»

Таня читала в гамаке; поодаль, должно быть опасаясь помешать ей, ходил по тропинке Анатолий Петрович Стишов, на солнце меж яблонь были хорошо заметны его светлый костюм, серебристая седина, нерушимая тщательность косого пробора, и едва Крымов открыл калитку, Стишов пошел навстречу ему торопливыми шагами.

— Приехал час назад, жду тебя,— заговорил он против обыкновения обеспокоенно.— Мне надо тебе кое-что сказать. Займу минут двадцать. Я сегодня был у следователя, который ведет дело...

— Минуту, Толя. Не будем спешить.

Крымов прервал его и, принимая обычный шутливо-иронический вид, подошел к Тане, а она, сияя темно-серыми глазами, соскочила с гамака, звучно чмокнула его в щеку.

— Привет, папа.

— Здравствуй, коза-дереза, не скучала?

Она засмеялась.

— Дорогой родитель, мне приказано накормить тебя. Мама, как говорится, на пленэре. Будет ждать закат. А я ждала тебя. И не пошла на пляж, хотя жених и невеста меня усиленно приглашали. Докладываю, что сегодня чудесная окрошка. Где будешь обедать, на террасе или в саду?

«Вот оно, единственное, родственно верное, что не предаст никогда...» — подумал он растроганно и поцеловал дочь в макушку с новой нежностью к ее голосу, к ее светлым, подстриженным под мальчика волосам, пахнущим солнцем.

— Что-то не хочется, Танюша,— сказал Крымов.— Знаешь, я пообедал на студии. Подожду до ужина. Если можно, принеси нам боржом или что там найдется в холодильнике ко мне в кабинет. Есть, капитан?

— Есть, командир,— отозвалась Таня с озорным со-

гласием, вступая в принятую между ними игру, но сейчас же встревоженно спросила: — Сегодня не было холодной войны? Ты сегодня не очень устал, папа?

— Нет,— ответил он охотно,— не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. А что, дочь?

— Дай мне руку, я быстро все узнаю по линиям на ладони. Хочешь познать себя? Я пробовала рассмотреть картину жизни у Анатолия Петровича, но там все как у черепахи на панцире. Полная путаница.

— Такова моя жизнь, Татьяна Вячеславовна,— сказал Стишов, элегантно поклонившись.

— Руку? Узнаешь картину жизни по линиям? Это интересно,— проговорил Крымов оживленно.— Но, может быть, потом? Ну хорошо, хиромант, узнавай.

Она взяла его руку, строго сосредоточилась, свела на переносице ровные брови, с минуту помолчала, посмотрела на свою розовую ладошку, на его ладонь и, тряхнув волосами, заговорила таинственно:

— Ты добрый, и я. Передалось в генах. Ты будешь жить семьдесят восемь лет. А я семьдесят пять.

— Танюша, не пугай.

— Ты слушай, пожалуйста, у тебя интересные линии. Жена тебя любит, а ты ее меньше, вот даже как. И дети совсем разные.

— Чепуха, а?

— А ты слушай и молчи. Женская половина в семье тебя любит. Но дети, я сказала, совсем разные, один в лес, другой по грибы. По грибы — это я. А вообще судьба у тебя счастливая. Вот и все. И вообще — все будет хорошо. Только всех дураков надо посадить на космический корабль и отправить на необитаемую планету.

— Это рационализаторское предложение, Танюша, надо учесть. Очень любопытно. А где ты хиромантии научилась?— спросил Крымов легкомысленным тоном продолжающейся игры, в то же время предчувствуя что-то серьезное, намеренное в действиях дочери.

— Сегодня утром на пляже,— ответила Таня небрежно.— Одна женщина умная научила. Кстати, твоя зрительница и почитательница. Она, между прочим, просила тебе передать: «Пусть Вячеслав Андреевич не обращает внимания на всех длинноухих лицемеров и лжецов, которыми сейчас хоть пруд пруди». Передаю тебе. Это все-таки голос масс, учти. А я с ними, папа. Ох, как я ненавижу всех дурацких клеветников!

И Крымов, внезапно охваченный сладкой мукой отцовского чувства, терпкой догадкой, что она, его дочь, ведя прежнюю веселую роль, одновременно неумело, по-детски отрицала неладное, хотела ему помочь, глядел, не говоря ни слова, на ее поднятое, независимое, готовое к защите лицо и с судорогой в горле легонько и благодарно потрепал ее мягкие волосы на затылке.

— Спасибо, милая.

Она сказала дрожащими губами:

— Ты не веришь мне? Я колдунья и ясновидящая. Вот посмотришь.

— Спасибо, Танюша. Я верю, верю в твое ясновидение. Так ты принесешь нам чего-нибудь холодненького? Ну что ж, пошли ко мне наверх.— Он кивнул терпеливо ждавшему Стишову, на ходу снял пиджак, освобождаясь от его тесноты, перекинул через руку.— Ты образованный человек, Толя, поэтому скажи мне, когда спадет жара?

— Хотел бы тебя порадовать, Вячеслав, но я не метеоролог и в данном вопросе бессилен.

— Как жаль, что мы во многом бываем бессильны, да, бессильны.

Он был разбит, опустошен всем этим днем, и, как только поднялись в мансарду, непреоборимое желание овладело им — вот сейчас упасть в кресло, наслаждаясь дуновением сквознячков (окна и дверь на балкон были открыты настежь), или лечь на обманчиво затененный листвой пол возле тахты, молчать, курить, смотреть в потолок на водянистое колебание солнечной сетки и не думать ни о чем. Это было чувство какого-то тихого, притупленного беспокойства, и, чтобы заглушить подспудное глухое посасывание тоски, он швырнул пиджак на тахту (не хватало сил повесить его в шкаф), сказал: «А, ладно!» — отбросил крышку маленького бара, встроенного между книжными полками, налил в два фужера коньяку и вроде бы безмятежно взглянул на Стишова, со скрещенными на груди руками в задумчивости стоявшего у дверей мансарды.

— Что, спрашивается, стоишь, как Наполеон на Поклонной горе? Делегации не будет, ключей не вручат, никто побежденным себя не признáет. В победе — половина поражения.

— В чьей победе?

— В ничьей. Победы нет ни у кого. Пока есть бог и дьявол,— сказал Крымов и протянул фужер с коньяком.— По-моему, Толя, каждый современный зашиф-

рованный Наполеон даже спит еженощно, скрестив руки на груди. Тебя к узурпаторам не причисляю. Ты не способен удержать власть. Но как ты думаешь, мой директор картины Молочков спит со скрещенными на груди руками?

— Я за рулем, и ты знаешь, что я терпеть не могу алкоголя,— отказался Стишов и поставил фужер на полочку бара.— В жару и тебе не советую. Лишняя нагрузка на сердце.

— Невероятная дисциплинированность. Приветствую умеренность и самообладание. Сократ был велик. Твое здоровье, Толя.

Он выпил, с облегчением крякнул и повалился в кресло, весь вытянулся, мечтая о долгожданном покое — вот так удобно и расслабленно полежать в кресле, погрузиться в тишину и плыть в успокаивающем забытьи бездумности. Но Стишов в напряженном ожидании стоял перед креслом, освещенный полным летним днем из сада, и этот раздробленный листвой свет, отражаясь в его голубых глазах, казался неярким, зимним.

— Толя,— сказал Крымов,— у тебя декабрь в глазах. Какова причина, дружище?

Стишов сердито вздернул плечи.

— Я поражен, Вячеслав, если уж говорить прямо, непонятной низостью людей.

— Чем-чем? Низостью?

— Именно, именно! Поражен их низостью, их жалкой робостью и, если хочешь, злой недобротой! Что случилось? Они недавно улыбались от счастья общения с тобой, объяснялись тебе в любви, лезли лобызаться, плакали на твоих картинах!..

— Что и кого ты имеешь в виду?

— Не удивляйся, Вячеслав, и изволь послушать меня,— так же сердито продолжал Стишов.— Сегодня я наконец не выдержал студийных слухов и поехал на эту знаменитую Петровку, к твоему следователю Олегу Григорьевичу Токареву... Позвонил и поехал. И прости, знаю, что ты утром был там, но разговор у тебя не состоялся по каким-то причинам. Знаю все, как видишь. И то, что следователь, в общем-то человек без предвзятости, твой доброжелатель, поставлен в нелегкое положение, как он сам сказал...

— Объясни, что сие значит?

— Я зол и вообще целый день сегодня не в своей тарелке,— сказал Стишов и резковато махнул рукой, отчего

золотисто взблеснула запонка на чистейшей накрахмаленной манжете.— Я приехал к нему раздраженный, с единственным вопросом: когда наконец почтенная Фемида кончит подозревать уважаемого человека в том, в чем он не виноват? Я был вне себя. И ты знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «К сожалению, удивлен невнятной позицией студии и некоторых коллег Крымова, лишенных всякой личной позиции, готовых согласиться с любым предположением в случившейся ужасной трагедии. И «да», и «нет», и «возможно», и «невозможно». И «все может быть». Да что это за ничтожества! Что за патентованные негодяи!— воскликнул Стишов и, расстегнув верхнюю пуговицу пиджака, заходил по кабинету.— Он не имел права называть фамилии и говорить о подробностях, но я, в общем, догадываюсь, кто эти лишенные позиции коллеги! Тебе не могут простить...

— Чего именно?

— Одни не могут простить тебе таланта, другие — независимости!

— К дьяволу независимость!— не согласился Крымов.— Кто из нас на земле независим? Пожалуйста, не преувеличивай. Нет человека независимого. Даже те, кто управляет миром, зависимы.

— Я не преувеличиваю, Вячеслав, а преуменьшаю!— возразил Стишов серьезно.— Хочешь пример? Изволь. Этот кретин Балабанов боится тебя, хотя тайно расположен к гадостям. Он знал, что ты его пошлешь ко всем святым, а ему во что бы то ни стало надо было ублаготворить знаменитого американца, с которым возможна совместная постановка и приятная поездка в Америку. И он направил меня к тебе, чтобы я уговорил своего строптивого друга. Ты им нужен как витрина. Но тем не менее они от тебя с удовольствием, огорченные и рыдающие, отделались бы. С посредственностями жить легче. И представь — у следователя уже лежит анонимка, не имеющая никакого отношения к делу, а все же — крашеное яичко к христову дню. Тебя обвиняют в аполитичности при разговоре с Гричмаром, как сказал мне следователь. А так как на встрече присутствовали двое — твой директор, Молочков, и я,— то анонимку написал один из двоих...

— Не совсем так,— усмехнулся Крымов.— Нас было четверо. Поэтому донос мог написать и я, опомнившись, отрезвев и раскаявшись, или Гричмар, чуточку хватив в баре аэропорта перед отлетом, заботясь о моей нравственности и заблудшей душе.

— У тебя еще хватает сил иронизировать, Вячеслав,— выговорил Стишов, и его тонкое стоическое лицо римского патриция побледнело, стало печальным.— Да, Вячеслав, на старости лет я не в первый раз прихожу к прискорбному выводу. Можно ли за дверью своего дома оставаться самим собою? Вряд ли, Вячеслав, вряд ли. Нельзя сохранить невинность. Угождай расхожим вкусам, улыбайся бездарным критикам — и ты мил всем, талантище, молодец, чуть-чуть не дотянул до великого! А я брезгую, боюсь взбешенных лисиц и глупцов... Ах, разве не мерзость! — воскликнул Стишов, подходя к бару, и было смешно и грустно видеть, как он, высокий, благородно седой, моложаво изящный холостяк, не без брезгливости взял двумя пальцами фужер с коньяком, понюхал его, водя из стороны в сторону носом (так нюхают нечто грубое, малоароматичное), сказал с язвительным сожалением: — Если бы я умел, то напился бы, как в субботу наш слесарь-водопроводчик из домоуправления, и тогда было бы восхитительно материться и смотреть на белый свет!

— Ты не умеешь, Толя, ни того ни другого,— сказал Крымов.— Не твое амплуа. Пить в меру и ругаться не в меру могу я. Как бывший полковой разведчик. Тебе не к лицу. Никто не поймет и не оценит. Ты в другой традиции. В дворянской. Голубых кровей.

— Поймут! — возразил разгоряченно Стишов и так стукнул фужером о подставку бара, что выплеснулся коньяк.— Поймут! — повторил он и слегка сконфуженно вытер ладони аккуратно сложенным носовым платком.— Надо тебе пойти куда надо, Вячеслав, и разорвать паутину нечестивых пауков! Иначе она задушить может!..

— Куда пойти? Жаловаться на кого? Сетовать на коллег по работе? Я не знаю, с кем разговаривал следователь. На Балабанова? У него в десятки раз больше так называемых аргументов, чем у меня: молодая актриса погибла при неизвестных обстоятельствах, поэтому ведется следствие, а сам режиссер Крымов — человек довольно избалованный, испорченный славой, возомнил, что ему дозволено все. К тому же жаловаться — признак слабости, Толя.

— Ах, что ты там такое натворил с Балабановым? — застонал Стишов и схватился за голову.— Вся студия о небывалом скандале говорит! И это действительно — в его кабинете сидел сам Пескарев? Представляю, как он доложит начальству, какими сочными все разрисует красками! И ты что — в самом деле хотел отвесить поще-

чину Балабанову? Какие у тебя ветхозаветные кавалергардские манеры! На худой конец, лучше уж было бы бросить перчатку.

«Значит, было. Неужели было?»

— Нету их нонеча, белых перчаток-то кавалергардских. А случись такое лет тридцать назад, с превеликим удовольствием прикоснулся бы к его нежному личику без лишних размышлений. Жаль, давно растерял солдатскую прыткость. Значит, правда, скандал? Прекрасно! А мне казалось — все произошло в моем трусливом воображении.

— Ты самоубийца, Вячеслав, чудовище и драчливый мальчишка! Ты с завязанными глазами ищешь край пропасти!

— Опять не вполне так, Толя. Ну вообрази: пришел я к одному кинематографическому начальству. Толстощекий наш отец бежит по кабинету навстречу, весь нетерпение, весь излучение восторга: «А-а, вы ко мне, какой гость, какой гость, не часто вы меня балуете!» Радостное трясение руки, чуть ли не сладостное лобызание, чай с сушками, счастливое блистание глаз, чуткие расспросы, обещания: «Конечно, конечно, все утрясем! Если не помогать талантам, зачем нам здесь, чиновникам, сидеть?» И — ни чер-та! Пальцем не пошевелит. Такова современная форма выживания. Все на опыте проверено, Толя.

— Повторяю: ты задира и самоубийца! Ты как будто нарочно ищешь своей гибели!.. Я умоляю тебя! Смирись! Я прошу тебя! Я умоляю! — вскричал вдруг Стишов и просительно сложил руки на груди.— Ты непременно хочешь безвинно пострадать?

— С чем смириться?

— Не вступай ни с кем в конфликты, Вячеслав, прошу тебя.

— Представь, что многое от меня не зависит, Толя.

На лестнице в мансарду послышались взбегающие шаги, и, спросив на пороге: «Папа, можно?» — в кабинет вошла Таня, с лукавым подозрением тряхнула волосами в сторону Крымова, затем Стишова, поставила на откинутую подставку бара графин, заискрившийся розоватой жидкостью, сказала:

— Я вижу, у вас секреты. Папа, это сок моего производства. Размятая малина в колодезной воде. Потрясающе! Нужно пить и мечтать о чем-нибудь. Я сейчас налью.

Она щедро, до краев наполнила чистые фужеры, подала сок обоим и, босая, на цыпочках сделала шутливый реверанс.

— Если я не нужна, то я пошла на пляж поиграть в волейбол и выкупаться. Возражений существенных, папа, нет? Обед на кухне.

Она поцеловала отца в висок и вышла, легко ступая загорелыми ногами, а он еще чувствовал прикосновение ее детских губ, как прохладу ветерка, родной плоти, и не сразу расслышал голос Стишова, поперхнувшегося глотком ледяного сока:

— Ты абсолютно невиновен, но кому-то надо замутить чистую воду: а может быть, Крымов и виновен!

— Наверное, виновен, Толя, наверное.

— О чем ты говоришь, безумец!

— Слезинка ребенка... помнишь? Поэтому мы все виноваты. За слезинку ребенка, без вины пролитую. Мы все, кто еще способен чувствовать. Иначе никто ничего не стоит.

— При чем здесь Федор Михайлович, скажи на милость? Я замечаю, в тебе сентиментальность появилась!

— Поверь, Толя, нам не хватает парковых скамеек, чтобы подумать об изруганной практицистами сентиментальности.

Они оба, знавшие друг друга не первый год и понимавшие друг друга с полуслова, сейчас видели — или хотели видеть — одно и то же в разных плоскостях, может быть потому, что серьезно встревоженный Стишов как бы изменил своей привычной манере на редкость воспитанного человека распространять вокруг себя уют приятного общения, что порой так нужно было Крымову, как покойная гавань после бурного плавания. Стишов не мстил судьбе за много лет, прожитых без семьи (он развелся с женой в молодости), без детей, с единственной прочной привязанностью к матери, женщине мудрой, всю жизнь посвятившей сыну и, к сожалению, умершей лет десять назад. Всегда безупречно выбритый, подчеркнуто опрятный, причесанный (седые волосы отливали серебристым глянцем), он даже дома, в кабинете, среди сплошь забитых книгами стеллажей, был безукоризненно элегантным, носил модные, молодящие его сорочки. И по мнению Крымова, эти его сорочки, галстуки, светлых тонов приталенные пиджаки, стройно подтягивающие его высокую, спортивного вида фигуру, и узкие отглаженные брюки были явным выражением его упорного желания держаться в нужной форме, неустанно и последовательно бороться с неодолимо наступающим возрастом. Любя полуостро́ту более, чем остро́ту, он чуждался резкостей, не мог, как ни

чудаковато это выглядело, убить и комара на своей руке (он предупредительно смахивал его носовым платком, убежденный во всеобщей мировой связи всех живых существ), но Крымова подчас крайне изумляло другое: непоколебимая преданность Стишова кинематографу, стоическая верность искусству, которое он ставил выше жизни.

— При чем здесь Федор Михайлович?— повторил Стишов с недоумением, отвергая в несогласии и любимого Достоевского.— Слезинка — архаизм. Реально — слезы. А уж если так, то я хочу тебе сказать другое. Где современные боги? Где кумиры и гении, которым хотелось бы подражать? Нет серьезных школ, никто не хочет авторитетов в искусстве, ибо всякий считает себя первым. Писать, как Толстой? Старо. Как Репин? Скучновато, консервативно. Снимать, как Эйзенштейн? Надоел старик. Вот поэтому раздерганность, куча мала талантов, пиршество многих, недостойных входить в сад искусства, которые усиленно сочиняют сценарии, шустро снимают и без конца возятся, завидуют, толкаются в теплом безветрии. И все же есть у нас некоторое количество людей, в том числе и один мой друг, которые могут украсить любой кинематограф мира, но...

Стишов пригубил фужер и, словно обжигаясь, допил холодный сок, белая холеная рука его дрожала (этого никогда раньше не замечал Крымов), и дрожала золотистая запонка на белоснежной манжете.

— Почему люди поклоняются талантам и одновременно хотят унизить их? И этот трагический несчастный случай, в котором что-то ищут... и в чем-то подозревают тебя. В чем? Слезинка, слезы... Уму непостижимо! Умоляю тебя, не вздумай говорить о какой-то мифической своей вине следователю, запутаешь все и не будешь никем ни на секунду понят. Ты как-то упрекал меня в том, что я считаю искусство параллельной жизнью, выше реальности. Но ты-то, ты, бывший командир взвода разведки, вся грудь в орденах, ты-то, суровый реалист, не окажись современным донкихотом... рыцарем печального образа от своего вселенского чувства!

Крымов помолчал, вдавился затылком в теплую обшивку кресла.

— На Страшном суде,— сказал он в раздумье и лукаво подмигнул,— человечество в свое оправдание представит эту великую книгу. Нам всем не хватает и донкихотства. Понимаешь? Снова Федор Михайлович...

Он закрыл глаза, и опять внезапная судорога сладким удушьем прошла по его горлу, как давеча при встрече с Таней, и, с трудом пересиливая себя, страшась этих приступов недомогания, он повторил шепотом:

— Понимаешь ли ты меня, Толя?

— Снова Достоевский, дружище? Но ты сильный человек, в тысячу раз сильнее меня...

— Это не Достоевский. Это наша жизнь.

Стишов в замешательстве притронулся ледяными пальцами к руке Крымова, спросил неуверенно:

— Что с тобой, Вячеслав? Ты стал какой-то... неземной... недосягаемый для меня. Я действительно перестаю, что ли, понимать тебя. Разве мы можем взять на себя все несовершенство мира?

— Несовершенство мира... Я не о том,— глухо проговорил Крымов с закрытыми глазами и стиснул зубы.— У меня сердце разрывается,— сказал он хрипло,— как вспомню холодок ее мокрых волос на щеке, когда вез ее в больницу. И что ужасно — машину трясло, и ее голова сползала мне на грудь, как будто просила о спасении... И ты знаешь, какая мелькала у меня тогда страшная мысль? Что я везу свою Таню и что это конец моей жизни. Можно было сойти с ума. Поверь, между нами ничего не было. И не могло быть. Да нет, это какое-то другое чувство, выше, чем жалость.

— Поясни, пожалуйста,— попросил Стишов.

— Прости за некоторую цветистость и пошловатость, других слов сейчас не найду. Такие, как Ирина, талантливы, как талантлив цветок, но они слабы, беспомощны, их ломает ветер...

— И тебе хотелось помочь?

— Я не смог. Боюсь, Толя, что произошел не несчастный случай.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего не хочу. Что-то сил нет, Толя. Был какой-то сумасшедший день сегодня... Впрочем, как все последние дни.— Он попытался улыбнуться глазами.— Пей сок, приготовленный Таней, а я выпью еще коньяку. Это посущественней. Лень вставать. Налей мне.

— Не много ли ты в последнее время? Как я заметил, ты не отставал и от известного в этом смысле Гричмара,— упрекнул Стишов и, наливая коньяк, задержал руку, беспокойно взглянул на Крымова, кивнувшего с понимающе-ироническим согласием.

— А бог его знает, Толя, пью и не пьянею. Сам удив-

ляюсь. Это от «пере». От перенапряжения, от переутомления. И от прочей перечепухи. У меня почти не было перерыва между картинами, не отдыхал, сплю скверно. Выспаться бы, как медведю, суток трое, и все пришло бы в порядок.

И будто забыв про коньяк, он в изнеможении усталости вытянулся, полулежа в кресле, скрестил руки на груди, сказал шепотом:

— Ты уж не сетуй на меня, смертельно хочу спать. Представляешь, как спал Наполеон после каждой выигранной битвы? А если он их проигрывал? Что ж, тем более...

— Для чего ты притворяешься передо мной? Пусть ты не любишь ныть, но я тебе не чужой...— проговорил с сердитой обидой Стишов и нервно заходил по кабинету, по рассохшимся, попискивающим половицам.— О русская интеллигенция со своей вечной перед всем миром виной!

— Ну, это слишком глобально, Толя.

— Именно глобально, чересчур! Я старше тебя на десять лет, прожил жизнь и в буче боевой, кипучей повидал все,— продолжал Стишов.— Поэтому позволю себе действовать самостоятельно до тех пор, пока тебя не оставят в покое. Я не только твой друг, но и твой зритель. Считай — поклонник.

Крымов сказал полусерьезно:

— Спасибо, Толя. Но здесь ты вряд ли сможешь мне помочь. Все будет зависеть от меня самого. Кроме того, я оптимист и надеюсь, что со временем встречусь со всеми оппонентами в царстве теней и поговорю по душам, если здесь не удастся.

— Разумеется. Особенно если будешь искать по примеру русской интеллигенции вину в себе и заявишь о ней следователю и всей студии под бурные аплодисменты умилившихся твоему признанию коллег.

— Вот видишь, как ты сердито начал шутить, а упрекал меня. Каково?

— Я не шучу, Вячеслав. Я просто зол. Понимаешь ли ты, что тебя могут замотать и выжать, как лимон? Все эти шутки с юриспруденцией дорого сто̀ят. Прими седуксен и выспись, мой друг. Я позвоню вечером или завтра утром. Выспись, выспись, ради всего святого! Надеюсь, тридцать лет назад ты в своей разведке еще не чувствовал вселенской вины? Я не прощаюсь!

«Таким я его не знал,— подумал Крымов, слыша

быстрые шаги вниз по лестнице, затем скрип песка на садовой дорожке.— Рафинированный интеллигент, аккуратист, никогда не влезающий ни в какие конфликты, брезгующий неосторожным словом,— и вдруг заговорил с каким-то непривычным ядом и гневом — неужели он так предан нашей дружбе? Почему же я был с ним не до конца искренен и ерничал, как самый последний идиот? Есть ли у меня более преданный друг?..»

Он услышал в раскрытые окна оживленные голоса из сада, стук калитки и нехотя встал, вышел на балкон, окруженный светоносным воздухом погожего дня, разогретой зеленью, медовым жаром текущего снизу запаха цветов, и, на миг ощутив всю прелесть лета, подумал растроганно: «Да, да, как прекрасна жизнь! Кто заставляет нас делать ее суетной, ничтожной?» И тотчас увидел внизу, за калиткой, Стишова возле стоявшей у обочины машины и рядом нелепо рослого Валентина, голого до пояса, в клетчатой каскетке, и его невесту Людмилу, тоненькую тростинку, в огромных противосолнечных очках, с распущенными по плечам кофейными волосами. Они, видно, возвращались с пляжа и встретили Стишова. Он что-то сказал Людмиле, учтиво поцеловал ей руку, и она вошла в калитку, покачивая узенькими бедрами, кокетливо, как веером, помахивая панамой. Мужчины остались за калиткой одни. Стишов взял Валентина под локоть, повел его по дороге, и хотя Крымов не мог слышать, о чем они говорили, он тайно подосадовал, понимая, что разговор идет о нем.

И он вернулся в кабинет, принуждая себя думать о невесте сына, которая не очень стеснительно вживалась в их семью, вызывая страх у Ольги, по-прежнему считавшей, что девочка из ателье не пара Валентину по многим причинам.

«А может быть, иногда ошибка является спасением и благом, а благо ошибкой? Все мы одиноки и слепы в своих ошибках. Благо, благо... Белые лебеди в голубых озерах, нежные лотосы и ангельски белые одежды, как в буддийском раю? Я не верю в райское блаженство... Тогда во что я верю? В то, что вне искусства нет для меня места в мире. Это единственное. Знаю, что истинное приподнято над жизнью вместе с ощущением присутствия смерти... но я еще никогда не достигал этого в той мере, как хотел. Я знаю: изменились человеческие чувства. Не предал ли человек самого себя? Это я хочу понять?»

Он усмехнулся, взглядывая на книжные полки, отыскивая глазами тома Льва Толстого, среди них и особенно любимые им дневники (его евангелие в ночи бессонницы), где каждая фраза как горькой солью была пропитана самобичеванием, презрением к собственной слабости, где душевные муки великого человека подчас были связаны с мелочами быта, которые приносили ему не меньше страдания, чем события глобальные. Но это был он, Толстой, с его одержимостью, раскаянием, идеями опрощения, любви, братства, тем, что после войны хотелось понять Крымову, но что было выше сил понять, когда неудержимо и безжалостно во всем мире начало таять, утрачиваться нечто существенное, важное, оставляя как памятники былой искренности и доброты лишь слова.

«Если я хочу верить в искусство, то, значит, и в доброту, иначе есть ли смысл жить? — внушал он себе с душным чувством бессилия.— Кто же они, мои так называемые оппоненты, мои соотечественники, мои братья, значит, мои единомышленники? Боязнь страуса пристально посмотреть вокруг и на себя в зеркало. Боязнь правды... А дальше, дальше что?»

И повторяя вслух «а дальше что?», Крымов подошел к письменному столу, за которым уже давно не работал, заваленному папками, письмами, еще не раскрытыми журналами, от этого беспорядка сиротливо запущенному, выдвинул нижний ящик и достал оттуда конверт с деньгами (они хранились дома для непредвиденных расходов). Это была часть гонорара за последнюю картину, и он пересчитал деньги: полторы тысячи. «О, как жаль, как жаль, просто не повезло...» Он бросил купюры обратно в стол, не сомневаясь, что если бы по счастливой случайности в конверте оказалось четыре тысячи, то отдал бы их Молочкову завтра же с условием, что у Гулина тем не менее развязаны руки для любых писем. И Крымов удивился тому, что хотелось сделать немедленно — отдать эту мистическую дань Молочкову за его униженность, рабскую льстивость, за его цепкость в жизни — цепкость, ниточкой протянутую от воронки на нейтральной полосе в сорок четвертом году до той случайной встречи у автоматов с газированной водой, счастливой встречи, вытащившей его к нормальной жизни, к деятельной, но больной Соне, любимой им до преклонения.

«Тогда я выстрелил ему в руку, чтобы спасти его, те-

перь я дал бы ему четыре тысячи, чтобы помочь его Соне... Так кто же я в таком случае? Сама добродетель? Нет, тогда в воронке он был противен мне, но это было единственное, что я мог сделать, чтобы он ушел в госпиталь, чтобы больше никогда не видеть его в разведке. А сейчас? Дать ему деньги, чтобы он ушел из съемочной группы и чтобы тоже его никогда не видеть?.. Что-то вроде взятки и компенсации. Но почему трижды в своей жизни я так серьезно думаю об этом жалком человеке? Как унизительно рыдал он в воронке и как непреклонно был сжат его рот, когда на шоссе он развернул машину! Неужели в нем — главная опасность всему? Смешно, конечно...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Отец, разреши к тебе?

Он нарочито бодро повернулся от письменного стола к вошедшему в кабинет Валентину — босой, в незастегнутой, без рукавов рубашке, тот переступил порог, наклонив в дверях голову, и Крымов против обыкновения с тревожной радостью обнял его, похлопал по еще горячей от долгого лежания на солнце спине.

— Проходи, сын, проходи, я рад, мы с тобой не так часто видимся. Садись, Валя, кури, а я посмотрю на тебя вблизи,— сказал Крымов легким тоном, каким обычно разговаривал с детьми, и показал на сигареты на тумбочке в изголовье тахты.— Кури, пожалуйста.

— Я не курю, отец,— ответил Валентин и присел на край тахты в неудобной настороженности, нахмуренный, большерукий.— Я начал и бросил: прочитал все, что пишут о раке, особенно англичане... К сожалению, курит Людмила.

— Стало модным среди женщин,— сказал Крымов и тоже сел на тахту, разглядывая сына с внимательным недоверием. Неужели это плоть его и Ольги, неужели это он, Крымов, мужской сущностью своей проявился в сыне, в неуклюжем, худом, баскетбольного роста юноше, сверх меры серьезном, рассудительном, строгом, ничем не похожем на отца в юные годы, исполненные военной отчаянности, но унаследовавшем тот же серый цвет глаз, тот же запах кожи (что крайне удивило однажды Крымова)?— Однако дурная и чужая мода наверняка пройдет, как пройдет все.

Он договорил последнюю фразу несколько иронически,

точно бы предлагая вольную раскованность разговора, но лицо Валентина оставалось сосредоточенно серьезным, и Крымов спросил:

— Как у тебя дела?

— Отец, я никак не могу сориентироваться в жизни.

— Вот как? Сориентироваться?..

Валентин не подхватил его полуироничного, ни к чему не обязывающего тона, которым нередко умышленно пользовался Крымов, чтобы тактично не обострять их взаимоотношений, ибо убедился с некоторых пор в ненужности переламывать упрямство, несговорчивость сына, не расположенного ни шутить, ни смеяться над чем-либо и над кем-либо, самоуверенно желающего обходиться собственным умом.

На третьем курсе он начал получать повышенную стипендию и, освобождаясь от семейной зависимости и Ольгиных забот, наотрез отказался пользоваться домашней денежной помощью, сменил костюмы на дешевые курточки, покупая их самостоятельно, а раз после объяснения с обиженной матерью сказал отцу угрюмо и бесповоротно: «Я не хочу пользоваться ни твоим именем, ни твоими средствами. Я буду сам». И это стремление к ранней по нынешним временам материальной независимости (разумеется, частичной), точнее — к самоутверждению на зыбкой почве студенческой, хоть и повышенной, стипендии сначала озадачило Крымова. Он, оказывается, и не подозревал такого упорства в сыне, зная в то же время, что тяга к самостоятельности и неуправляемое мальчишеское самолюбие принесут ему не ожидаемую им свободу поступков, а болезненные удары жизни, не терпящей излишней пренебрежительности к принятым нормам зависимости в современных родственных взаимоотношениях.

— Отец, я не могу сориентироваться в жизни,— повторил Валентин.— Никак не могу.

— Мне казалось...— Крымов вытянул из пачки сигарету, неторопливо размял ее,— мне казалось, что тебе всегда все ясно, сын.

— Не надо иронии. Я уже не мальчик, который хочет казаться взрослым.

— Слушаю тебя, слушаю, Валя...

Весь кабинет был полон солнца и воздуха, напитанного запахом листвы; птицы, истомленные зноем, пели в саду вяло, нескончаемо длинный июльский день переходил в длинный вечер, и было слышно, как оса, залетевшая

в окно, тоненько звенела, ползала по зеркалу, где в отсвечивающей глубине купались зеленые ветви берез. «Сейчас он скажет то, чего я не ожидаю,— подумал Крымов.— Он ищет сло́ва, чтобы не обидеть меня».

А Валентин сидел на краю тахты, сжимая между колен большие руки, поперечная морщинка разделяла переносицу, серые глаза хмуро сосредоточились на зеркале и не моргали, но явно было — он не видел ни зеркала с его зеленой глубиной, ни назойливо звеневшей осы, и Крымов повторил:

— Я слушаю, Валя.

Он спросил тихо:

— Скажи, отец, как определить степень вины преступника и жертвы?

— Вины жертвы?— удивился Крымов.— Что ты имеешь в виду? Или кого ты имеешь в виду?

— Я имею в виду тебя, отец.

— Интересно. Продолжай, пожалуйста.

— Ты сможешь мне ответить откровенно? Иначе я не буду ничего спрашивать. Сможешь?

— Постараюсь.

Валентин плотнее стиснул сцепленные между коленями пальцы и с мрачноватым напором сбивчиво заговорил:

— Отец, происходит какая-то несправедливость, какая-то мерзость вокруг твоего имени... Какие-то слухи, сплетни... У нас в институте, как ты знаешь, народ разношерстный, некоторые злорадно поглядывают на меня и шепчутся: вот он, наследник известного Крымова, который дошел до преступления, и тэдэ и тэпэ. Что они, с ума посходили?

— Мне можно отвечать?

— Нет, подожди, я не все еще... Не понимаю одного, отец, не понимаю, откуда развелись шептуны и почему хотят верить клевете и всяким злобным слухам поклонники маркиза де Сада! Как они могут представить тебя в роли преступника? Или хотят, что ли? Нет, отец, человек не венец творения и никакое там не гордое звучание или непротивление и самоусовершенствование по Толстому! Скажи, почему зло остается безнаказанным?

Валентин хрустнул пальцами, сумрачно глядя куда-то в направлении книжных полок, а он, Крымов, предполагая дальнейший нелегкий разговор с неподатливым сыном, молчал, ясно понимая, что не сможет ответить Валентину

какой-то одной мудрой, отцовской, проверенной опытом формулой. Ибо не было у него одномерного ответа, того ответа, взятого у святой или порочной истины, что поставила бы все на раз и навсегда предназначенные места, оценила свою и чужую жизнь, и определила бы твердые границы между «да» и «нет», после чего собственная позиция четко и навсегда объяснила бы весь мир вокруг, который, однако, с великим непостоянством кривлялся, кокетничал, смеялся, убивал, извращал натуру по кем-то навязанным ему противоестественным законам.

— Я отвечу, Валентин, как смогу,— проговорил наконец Крымов и, не закурив, бросил размятую сигарету в пепельницу на тумбочке.— В войну погиб цвет народа. В живых из лучших сохранились немногие. А дети не стали лучше отцов, хотя нельзя осуждать какое-либо поколение скопом. Вот, может быть, поэтому теперь мало кто рискует броситься грудью на амбразуру, защищая свою и чужую честь...

— Грудью на амбразуру?— повторил Валентин и опустил голову.— Это что, отец, заслонить своим телом пулемет?

— Я употребил метафору,— проговорил Крымов, ужасаясь тому, что мелькнуло в лице сына, когда он опустил голову.— Я не о том героизме, который грудью закрывает пулеметы, хотя в жизни бывают и такие безумные мгновения. Я хочу сказать о другом. Понимаешь, Валя, современная цивилизация повела мир по ложному пути. Умные люди изобрели машины, но техника не нашла умных командиров, не подчинилась и стала управлять людьми. И изнежила их, отобрала у них силу духа. А вместо него вложила в души счетную линейку, которую техника же и производит... В конце пятидесятых годов появился новый вид приспособленцев к благам цивилизации — родные благоденствующие братья во всем мире. На Западе их называют конформистами. Теперь это касается и нас. Мы не отгорожены бетонной стеной.

— А ты, отец, к кому себя относишь?— недоверчиво спросил Валентин, и по жесткому тону его Крымов почувствовал, что сын непримирим ни к врагам его, ни к каким-либо смягчающим оправданиям сложившихся обстоятельств.— Надеюсь, ты не конформист?

— Я испорченный человек, Валя. Я режиссер и строю мизансцены жизни, в этом мое несчастье,— сказал с грустной усмешкой Крымов.— Даже собственные похороны я могу увидеть со стороны и поставить сцену. Впро-

чем, говорю не совсем точно. Вернее будет так — постоянное желание познать, чтò подобная неприятная сцена дала бы людям и чтò отняла бы у них. Не осуди, сын, за громкие слова, но в последние годы я думаю о том, где лежит тайна жизни и тайна смерти, которая объясняет наши поступки. И наверное, здесь полезнее быть адвокатом, чем судьей. А это не всегда удается. В двадцатом веке совестливые люди, в общем-то, не очень счастливы, сын. Несчастных счастливцев меньшинство. Весь мир стал или становится несчастным. А я, если хочешь, пытаюсь понять, когда и где человек свернул или сворачивает с пути истинного. И я в том числе...

— Отец, ты идеалист! А я хочу знать, что такое подлость и что такое честность! — И — всё! — воскликнул Валентин и встал с отчужденно насупленными бровями.— Знать, кто назвал добро добром, а зло злом? Почему добро мы принимаем как добро, а зло как зло? И где он, истинный путь цивилизации, отец? Техника и наука вовсе не зло, а благо, как горячая вода! А ты сам знаешь, что нужно человечеству для спасения? Укажи! Может, пришло время второго пришествия и второго библейского чудака?

— Ты слишком возбужден... и слишком сердито говоришь со мной. Сядь,— сказал Крымов и мягко взял сына за попытавшуюся вырваться руку, потянул книзу, заставил снова сесть на тахту.— Страшного суда, а не просто пришествия, ты хотел сказать,— поправил Крымов.— Что ж, может быть, и пора судить человечество за все зло и глупости. Но будет ужасно, если суд нравственный подменят судом атомным. И превратят его во всеобщую казнь, а землю в пепелище.— Он помолчал, досадуя: что-то сейчас мешало ему быть убедительным в разговоре с неподатливым и бескомпромиссным Валентином.— И все-таки, сын, есть нравственный путь, хоть и не единственный...

— Какой путь? Истинный? Каков он?

— Практически невозможный. Это сострадание. Чувствовать и понимать страдание другого. Но для этого должны родиться в мире тысячи терпеливых проповедников.

— Отец, все это слова, слова! Сострадание хорошо только между порядочными людьми,— выговорил Валентин рвущимся баском.— А к сволочам всяким? Тоже сострадание?

— Точного ответа у меня нет. Я хочу сказать, Валя, что сволочи и несволочи связаны одной веревочкой,—

проговорил задумчиво Крымов.— То есть каждый человек связан с другим и со всем живущим на земле, и это вроде единой сети. Из нее часто невозможно вырваться.

— Значит, преступник и жертва — оба виноваты, раз они в одной сети.— Валентин нехорошо рассмеялся, и в смехе его был и протест, и нервозность растерянности, не свойственной ему.— Значит, оба они преступники.

Крымов ответил сухо:

— В том случае, если жертва соглашается стать жертвой.

— И ты никогда не считал себя жертвой? Ни разу в жизни? Ты всегда побеждал?

— Так категорично я тебе не могу ответить. Часто побеждали и меня.

— Я не о том.

— И я не о том. Но понял тебя так, как надо. В войну я поражался, как много людей обреченно, без борьбы, без последнего сопротивления давали в немецких концлагерях расстреливать себя. Поверь, Валя, в разведке я твердо знал свой последний шаг, даже если израсходован последний патрон в пистолете.

— Ты хочешь сказать о ненависти и презрении?

— Нет. Это не выход. Есть кое-что выше.

— Что же?

— Отсутствие боязни. Перестать бояться за себя — это выше ненависти. На войне иногда удавалось. Редко, но бывало.

— А теперь ты чего-нибудь боишься?

— Боюсь.— Крымов тронул худое колено сына.— Боюсь потерять вас: мать, Таню, тебя. Значит, слаб.

— Отец...— вновь сорвавшимся баском произнес Валентин и поспешно отвернулся, договорил:— Если ты так о себе, то что же ты обо мне думаешь?

— Ничего плохого.

— А в войну ты меня в друзья не взял бы,— сказал вызывающе Валентин.— Ты, пожалуй, всех нас, двадцатилетних неумеек, презираешь.

— Нет. В друзья я бы тебя взял. Но мы и так с тобой...

— Неправда. Между отцом и сыном не может быть дружбы.

— По-моему, ты ошибаешься.

Вот он сидел рядом с ним на тахте, его сын — упрямец, спорщик, наивный умница, его мужское продолжение на

земле, ни обликом, ни жестами, ни единой черточкой характера не похожий на своего отца в двадцать один год, на того бравого независимого лейтенанта, командира взвода полковой разведки, всегда готового к действию и риску, сразу поверившего в собственное бессмертие на войне. Так чем же объяснялось раннее повзросление, готовность к риску и та прочная вера в себя — смертельно занесенным над головой острием? зияющей и хорошо видной бездной между бытием и небытием? И что делало инфантильными, беззащитными его сына и этих много знающих, интеллигентных, начитанных парней, рано знакомых с формальной логикой и алогичностью,— тихое благополучие, изнеженность в семейном быту, сверхобильная, до противоестественности, забота родителей о чадах своих? И как следствие — отсутствие самостоятельности? Можно было бы, конечно, всему дать объяснение, как почасту и делается в жизни, чтобы оправдать успокоительную и выгодную сию минуту людям точку зрения. Но любое объяснение ничего не меняло в самом поколении, подчиненном какой-то заразительной неизбежности своего времени, никем еще полностью не осознанного. Оно, время, складывалось из тупых и острых углов, из ненужных вещей, лишних денег и безденежья, несовпадающих восточно-западных мод и конструкций, где нередко проступал заимствованный расчет даже в любви, в выборе знакомств, когда искусственно растопленный холод еще больше увеличивал отчуждение, чего и в помине не было в счастливую пору военной и послевоенной молодости Крымова, в пору опасности, бедности и надежд. И он ощутил некое сложное положение сына в институте, обусловленное, по-видимому, и его непомерной требовательностью по отношению к другим, и неприятными событиями, связанными с ним, Крымовым.

— По-моему, ты ошибаешься, сын,— повторил Крымов насколько можно спокойней.— И я рад, что твоя дружба со мной...

— Неправда,— прервал Валентин и нахмурился.— Невозможно. Отец есть отец. Я ведь не могу тебе сказать то, что сказал бы другу.

— А у тебя его нет?

— Настоящего — никогда не было. И сейчас у меня нет настоящих друзей. Есть соучастники компаний и танцевальных радений. Завидую, что у тебя есть Стишов, вот он, наверное, не предаст.

— Только наверное?

И Валентин ответил холодно и убежденно:

— Отец, я знаю, что друзья предают первыми. Как и жены.

«Раньше я ни разу не задумывался над тем, что сын так одинок».

— Жены? Почему жены?

Валентин выпрямился, поперечная морщинка резче обозначилась между его темными прямыми бровями, божеская отметинка способного человека, как определял про себя эту морщинку Крымов. Но тут же лицо сына выразило снисходительное удивление, и голос его прозвучал почти насмешливо, будто речь зашла о мимолетной шалости:

— Такова уж природа женщин, отец.

Крымов озадаченно вздохнул.

— Прости, у тебя ведь невеста, Валя. Как-то не вяжется с этим твоя пошловатая фраза. Вы что, поссорились?

— И не думали.

— Я могу предполагать, что ты любишь Людмилу?

— Если бы знать, что это такое — «любить», отец.— Валентин закинул голову, проговорил несколько смущенно: — Я не могу с тобой откровенно. Как-то не очень ловко... Я женюсь на ней. Людмила беременна, и я женюсь... Ты не очень шокирован моим легкомыслием?

Валентин опять нехорошо рассмеялся, и Крымов подумал, что его смех и вопрос о легкомыслии — все чужое, не его сущность, а нечто оборонительное и слабое в очевидной защите, к которой он прибег в попытке самоутверждения перед отцом.

— Не очень,— солгал Крымов и прибавил вынужденно участливо: — Все, надо полагать, естественно. Только маме раньше времени не нужно об этом.

— Мама многое воспринимает слишком трагически. Но ничего. Мы будем пока жить у Людмилы. Я буду подрабатывать. Через два года кончу институт. Буду снимать какую-нибудь картину... Проживем в любви и согласии. Вот так!

Его лицо некрасиво дернулось, снова приготовленное к оборонительному смеху, но Крымов попросил негромко:

— Не надо так смеяться, сын. Я на твоих баррикадах. Ответь мне, пожалуйста, серьезно, Валя: ты любишь Людмилу?

— Не знаю, отец. Я хотел бы, хотел бы, но что подела-

ешь... Я думаю: полюблю, когда будет ребенок. А как ты поступил бы на моем месте? Как ты... именно ты?..

Валентин ослабленно ткнулся всем телом вперед, сцепливая большие руки между коленями, похрустывая пальцами, окончательно растеряв неприступную самоуверенность, и Крымов с горькой жалостью отметил, что его серьезный сын, его продолжение на земле, его в конце концов надежда, не рисковал и не обладал смелостью разобраться в самом себе в свои двадцать лет, когда без долгих раздумий верят первым чувствам. «А имею ли я право спрашивать, как у них случилось?»

— В таких вещах, Валя, советов не дают,— сказал уклончиво Крымов и обнял сына за плечи.

— Так кто, кто же может мне посоветовать, кроме тебя?— проговорил Валентин, и в голосе его заколебалась натянутая струна.— Советовал же ты мне, когда я поступал в Институт кинематографии. Ты хотел, чтобы я пошел на операторский, и я пошел...

Он неловко пошевелил плечом, освобождаясь от руки отца, и тот опять почувствовал здоровый сладковатый запах молодого тела, и это телесное, родное, физически сильное, и эта обнаженная растерянность Валентина кольнули Крымова терпким сожалением: да, он мог бы знать, но почти не знал своего сына.

— Какой бы совет я тебе ни дал, ты должен по-мужски принять решение сам,— повторил Крымов твердо.— Представь: в войну сапер ошибался на заминированном поле один раз. Немного неточности с механизмом мины — и не поминай лихом. Женитьба и развод — дело не смертельное. Но рану могут нанести смертельную.

— А как было у тебя с матерью? Как у тебя все произошло?— спросил требовательно Валентин.— Ты ни в чем не сомневался?

— Никогда и ни в чем,— ответил Крымов.— Когда я увидел ее в первый раз, на меня нашло какое-то безумие. Что-то вроде дурмана... И не улыбайся, сын. Это так.

— Отец, ваше поколение было счастливым. Вы знали, чего хотели.— И Валентин возбужденно поерзал.— Отец, я не за тем к тебе пришел, извини, я не за советом. Я как-нибудь сам...

— Так будет лучше, Валя. И знаешь, тот дурман не прошел у меня до сих пор.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В то новогоднее утро они последними вышли на крыльцо в жестокую стужу сугробного замоскворецкого дворика.

Вокруг заиндевелых лип розовел морозный январский воздух.

Он стоял внизу, у крыльца, и, протягивая ей руку, помогая сойти, сказал нагловато:

— Держитесь крепче, дама моего сердца. И все будет в порядке, если я не умру на дуэли.

Она изо всей силы сжала его руку, но не сошла по ступенькам до тех пор, пока не замолкли во дворе удаляющиеся голоса, смех, скрип снега за воротами. Подняв голову, она смотрела на него, и тонкие у́гольные брови ее изумленно круглились.

— Что значит «все будет в порядке»? И что за рыцарские пошлости — «дама моего сердца»? По-моему, вы начитались романов Вальтера Скотта!

— Но вы действительно дама моего сердца, черт возьми!

Весь вечер он не мог понять, что именно неотразимо притягивало в ее лице, и только сейчас, в свете ясного, стекленеющего утра ошеломленно увидел: у нее были мягкие, бархатные, с нежной косинкой глаза и чуть полноватые губы, готовые к радости.

За столом она сидела напротив него, мелкими глотками отпивала вино, держала бокал застенчиво и раз спросила его, растягивая слова: «Вы такой невесе-елый — вам здесь скучно?» Перебарывая неловкость и желая придать начатому разговору непринужденную легкость, он пробормотал расхожую студенческую остроту: «У меня бабушка корью заболела». Но, случайно повернувшись, увидел в зеркале чье-то напряженное, хмурое лицо и не сразу узнал себя, поражаясь своей «вислоухой» неспособности поддержать застольный разговор в компании гражданских. И тут он разозлился на собственную неуклюжесть, выпил с отчаяния сверх меры и, поднятый головокружительной волной, без стеснения принялся острить, произносить тосты, опрокидывая на столе рюмки полой недавно купленного, заменившего гимнастерку пиджака. Она же, удивленная, посыпа̀ла солью скатерть и весело говорила, что Новый год напоминает древний праздник Диониса и проливать вино — ритуальное священнодействие.

Ровно в двенадцать часов, дурачась, под хлопанье про-

бок от шампанского он по-солдатски закричал «ура», после чего в порыве новогодних чувств начал обходить стол, чокаясь, говоря каждому поздравительную чепуху, потом остановился возле нее, с бедовой решительностью сказал: «Горько!» — и в обморочном шутовстве дважды поцеловал ее, а она не успела опомниться, запротестовать, лишь сказала шепотом:

— Что за «горько»? Вы с ума сошли! — И краснея, добавила со смехом: — Просто чудак какой-то!

А когда отодвинули стол и зашумела танцевальная толчея, он сел на диван, в багровую тень абажура, закурил и, вспотев от волнения, увидел, как неаккуратный, растрепанный, с хмельным лицом парень подошел к ней и пригласил танцевать, однако она взглянула на парня мельком и отрицательно покачала головой. «Молодец! — подумал он. — Ну хоть на секунду взгляни на меня, я не такой уж плохой, честное слово». В это время ее позвали, и она, обдав ветерком, запахом платья, прошла мимо дивана, где он курил. Она, должно быть, ощущала, что он, глупо расплываясь в улыбке, смотрит ей вслед, потому что обернулась, повела в его сторону спрашивающим взором и пожала плечом.

Он был молодым человеком заурядного облика, поэтому нередко испытывал боязливую ревность, глядя на красивых женщин, встречавшихся на улице или в компании, а когда находил в их внешности какой-то недостаток (несколько длинноватый нос, слишком широкие бедра, неопрятность в одежде), то с успокаивающей иронией думал: «Значит, образцов истинно прекрасного нет и среди них». Но в ту ночь он не узнавал себя, подхваченный дерзостью балагура, смелостью отчаяния, секундно страшась, что туман вот-вот рассеется и мигом проявятся скрытые несовершенства незнакомки и все станет явным обманом.

Сойдя с крыльца, как только затихли смех, скрип снега, голоса за воротами и дворик опустел, розовея в январской заре, они оба стояли, не понимая, что же произошло: вокруг зимнее утро, пустота неба с бледным истаивающим месяцем, ледяной пар, сугробы спящего Замоскворечья — неужели кончился ночной дурман, веселая кутерьма в этом уютном деревянном домике и надо было возвращаться ему в студенческое общежитие, ей домой, куда-то на Остоженку?

— Вы произнесли какую-то глупость, — сказала она. — Не заметили?

— Совершенно верно. У меня это бывает. Хоть отбавляй.

Ее пальцы ждуще шевельнулись в его руке, и глаза коснулись улыбкой его зрачков.

— С Новым годом! А где ваш приятель с патефоном? Помните, как все было смешно и неправдоподобно?

— Я вас увидел вот тут, во дворе,— ответил он и, едва слыша ее голос, поплыл в темной глубине ее бархатных глаз, вспомнив, как они с другом ввалились в маленькую переднюю, отфыркиваясь, отряхиваясь, внося в комнатное тепло студеность снежного московского вечера, а она, случайно встретившаяся им во дворе, тоже оживленная, снимая ботики подле вешалки, рассказывала кому-то: «Смотрю, две фигуры топчутся около сараев, за ручки дергают. Спрашиваю: вам куда? Мы, отвечают, в каком номере дома? Заблудились, бедненькие. Вот привела вам гостей!» И его друг, аспирант Горного института, душа-парень, неотразимый ухажер, со словами «спасительница наша» находчиво и храбро бросился перед ней на одно колено, по-гусарски ловко помог стянуть ботик, и это рассмешило ее.

— Все было смешно,— повторила она, не отводя глаз от его зрачков, и тихонько высвободила руку.— Вы немножко пьяненький, но, вероятно, все же помните, что сказали тогда в передней?

— Наверняка...— ответил он, по-прежнему не в силах до конца сообразить, о чем она спрашивает.— Наверняка напорол...

— Вы тогда сказали: «Тут черт те что, сам черт ногу сломит в этих дворишках с сугробами! Вот встретили два дурака красну девицу, жар-птицу, и даже не познакомились!»

— Я так сказал?

— Вы еще добавили: «Вот музыку принесли. Один патефон для двух компаний».

— О, жуткий глупец! Непроходимый болван! Пень стоеросовый!

— Что вы, наоборот, было хорошо! Вы просто сказали это от смущения,— возразила она и оглядела дворик, где они стояли одни посреди огромных сугробов, на которых лежали алеющие пятна.— Но, кажется, нам надо идти...

— Ну не идиот ли!— проговорил он, зажмурившись, и вообразил весь минувший вечер и ночь и себя, развяз-

ного, острящего, самоуверенного, и стыд захлестнул его: ведь она слышала его невыносимое ерничество. («Вы *хочете* шампанского?» Он ходил вокруг стола с бутылкой и говорил: «Хочете или не хочете?» На него смотрели в ожидании каламбура, но каламбура не получилось. «Что вы хочете этим сказать?» — «А что вы хочете?») «Так что же со мной случилось? Я как в дурмане, как будто выпил сладкой отравы, хотел понравиться ей, и во мне сломался какой-то винтик».

— Я был пьян,— выговорил он виновато.— И вы должны меня ненавидеть...

— О чем вы?— изумилась она.— Вам нравится снег? Падающий перед Новым годом снег?

— Н-не понимаю...— пробормотал он.

— Что ж здесь понимать? Идет снег, горят фонари, а вы около сараев топчетесь с патефоном и вдруг встречаете жар-птицу — пожалуй, это уже интересно! И вы тогда не были пьяны. И был канун Нового года. А сейчас мы другие. Мы постарели на один год. Вот и все. Проводите меня до автобуса. А жар-птицу вы не поймали...

Она спокойно, дружески погладила рукав его шинели и пошла к воротам по заледенелой тропинке, чуть волновалась над ботиками меховая оторочка ее узкого пальто с пелериной. Он тупо двинулся за ней. «Вороне как-то бог послал...» — завертелось, застучало темными молоточками в его голове при виде плавного, ритмичного колебания ее пальто, и он даже не поверил недавнему бесстыдству собственных плоских шуток, пошлому крику «горько!» и тому двоекратному поцелую в щеки, вызвавшему у нее испуг (она прикусила губы, точно от боли). «И это я, солдафон, наглец, полез с дубовой рожей в райский сад! Хаха, кавалеро!..»

— Спасибо. Здесь я сяду сама. А вам, по-моему, надо на трамвай. Вон там, видите, остановка? Как мне повезло — автобус идет!.. А утро какое чудесное! Наверное, такие холода бывали в семнадцатом веке. Представляете, резные хоромы, дымок из труб, окошки угольками горят на заре и галки над куполами церквей, как сейчас. Чудесно!

— Сейчас?.. Вы сейчас уедете на автобусе?

А на улице без единого прохожего, еще тихой, еще опустошенной новогодним праздником, утро стыло в морозном пару, в крупном мохнатом инее на проводах, в лиловой мгле заваленных снегом подворотен, над малиново рдеющим куполом полуразрушенной церкви висел, иста-

ивал прозрачной пластинкой месяц, там хаотично, черно, тревожно вились галки, звонко щелкали в прокаленном воздухе, и этот древний звук тоской разрывал ему душу.

— Подари мне на прощанье блеск твоих чудесных глаз, предстоит нам расставанье, мы на запад уходим сейчас...— пропел он дурашливо, сдвинул армейскую шапку на затылок, будто желал сделать веселую выходку деревенского парня, и, сдернув перчатку, протянул руку.— Ну, давайте пять! Ваш автобус! Покеда! («Что я говорю? Бред! Безумие! Я просто свихнулся!») Подари мне на прощанье...— опять фальшиво пропел он в безнадежности стыда оттого, что она не подавала руки, покусывая нижнюю губу аккуратными, ослепляющими зубками.— Подари мне на...

— Пожалуйста, подарю, только перестаньте,— прервала она и с презрительным сожалением обвела глазами его глупо оживленное лицо.— И уходите, уходите быстрей, несчастный!..— договорила она и повернулась спиной, быстро сошла с тротуара на мостовую навстречу автобусу с бело заросшими инеем стеклами, хрустевшему колесами по льду.

— Постойте!— крикнул он, и в горле что-то сорвалось, он задохнулся, но сейчас же вскочил следом в распахнувшиеся с треском двери холодного, почти пустого автобуса (трое пассажиров дремотно ежились на разных сиденьях), вырвал из кармана шинели мелочь, бросился к кондуктору, толсто закутанному в тулуп.— Два билета! Один мне на память!— выговорил он в исступлении и наклонился к ней, уже севшей на скрипучую обивку бокового места, заговорил четко, дерзко, самонадеянно:— Если вы не дадите мне свой телефон, то я опять поцелую вас... при всех! Вот здесь. Знайте, что вы против меня совершили преступление! Если бы я вас не увидел...

— Уходите же, уходите, клоун несчастный...— проговорила она с гадливостью и, прислонясь головой к заиндевевшему стеклу, неестественно засмеялась.— Да что вы делаете? Что же это за несчастье!..

— Я прошу ваш телефон!— умоляюще крикнул он, не обращая внимания на недоуменно уставившихся на них пассажиров, и, вроде бы из тумана поймав ее голос, выскочил из автобуса, ударенный по плечам сдвигающимися створками двери.— Кажется, она сказала номер, или мне послышалось... Записать, записать,— бормотал он полоумно, прикладывая автобусный билет к фонарному столбу,

и огрызком карандаша записал номер.— Или показалось мне?

Он стоял один на мостовой, отупело глядя на завивающийся по снегу дымок автобуса, и студеным воздухом сдавливало дыхание.

Целую неделю длилась непрерывная мука, он пытался понять и не понимал, что происходило с ним, неясно осознавая будничную жизнь вокруг: появлялись и пропадали вблизи знакомые и незнакомые лица, проходили тенями фигуры профессоров в аудиториях, доносились откуда-то издали голоса студентов, звонки трамваев, звук его имени, порой окружала холодноватая тишина аудитории, где наискось лилось зимнее солнце, отражалось на столах, шуршали страницы, затем вместо обеда обжигало водкой в забегаловке, наконец зажигались огни и возникали окна, задернутые занавеси, подворотни, согнутые тела атлантов, подпирающих балконы с витыми чугунными решетками над старыми подъездами Остоженки. Здесь он ходил часами, подолгу всматривался в номера квартир, взбегал на этажи, неутомимо ждал на лестничных площадках, на углах и напротив арок во внутренние дворы, надеясь встретить ее, ждал терпеливо и упорно и, лишь продрогнув окончательно в метельные ночи, возвращался в общежитие по обезлюдевшим переулкам, подняв несогревающий воротник шинели, носом вдыхая мокрый молодой вьюжный воздух. «Я найду ее, найду ее!» Дурман того вечера и того морозного новогоднего утра не отпускал его, жег позором, стыдом, но одновременно и овладевал им подобно сладостной неизлечимой болезни, которая в желанном бреду приближала ее плавный голос, мягкий, слегка с косинкой взгляд, ее волнующееся над ботиками пальто с пелериной. И преследовала бесконечно повторявшаяся в ту ночь навязчивая мелодия песни «Подари мне на прощанье...», и заезженное шипение патефонной пластинки, и собственный фальшивый голос, пропевший этот мотив на автобусной остановке. Но чаще всего он видел ее, прямо сидевшую на боковом сиденье, с изогнутыми бровями, розово освещенную через мерзлое стекло утренним солнцем, и током проходило через него: «Уходите же, уходите, клоун несчастный...»

Позднее он не мог бы логично и точно объяснить, каким усилием воли, какой одержимостью, какими изобретенными комбинациями телефонных чисел (номер, записанный на автобусном билете, не отвечал), каким ежевечерним изучением ворот и подъездов Остоженки он

в конце концов нашел ее. И невозможно было бы объяснить, почему она согласилась пойти с ним в гости к другу, аспиранту-горняку, уезжавшему в командировку.

А скромная обитель его друга близ Таганки (комната и кухня) была в тот вечер сказочным царством тишины, невиданного блага, ошеломившего тем, что рядом была она, касалась натопленной голландки, оглядывала книжные шкафы, старинное трюмо,— и он опять почувствовал горячую волну ядовитого дурмана, хотя не пил ни капли, почувствовал, что сходит с ума, что сейчас начнет плоско острить, шутить без разбору — неужели опять?

И он свистнул с насмешкой над собою, лег на диван, просунул под голову руки и, покорный, стал глядеть на нее с ребяческой завороженностью.

Она сидела в кресле, смотрела задумчиво чистыми темными глазами, а он в обезоруживающем безмолвии не мог представить, как набрался смелости поцеловать ее тогда, в Новый год, и после говорить всякую ерунду.

— Оля,— позвал он шепотом.— Ты хочешь, чтобы я умер?

— Послушай... кажется, ты сейчас не пьян?

— Не уверен. Оля, я умру или от своей глупости... или оттого... что я не знаю, что со мной творится... Сядь ко мне на диван. Не бойся, ради бога.

Она пересела на диван, и снова, как в новогодний вечер, его лицо опахнуло мягким ветерком от ее движения.

— Погладь меня,— попросил он и зажмурился.

— Что?

— Погладь меня по голове.

И он взял ее руку, помня ждущее прикосновение вот этих легких пальцев новогодним утром в замоскворецком дворике, провел по виску, по волосам, положил голову ей на колени, потерся щекой, чувствуя шерстяной запах плотной юбки, тепло сдвинутых коленей, таких округло-женственных, таких страшных в своей близости, что сказал замирающим шепотом:

— Оля, у меня голова кружится, как на краю пропасти.

— Наказание какое! Ты офицер, у тебя пять орденов, а ты как мальчишка...

— Оля... Хочешь, я умру на твоих глазах?

— Что ты делаешь? Зачем?— проговорила она и выпрямила спину, напряженно глядя в окно.— Зачем? Это какое-то несчастье...

А он молчал, все потираясь щекой о шерстяное тепло ее юбки, о ее колени.

За окном тихого царства этой комнатки на Таганке зимние сумерки все гуще наливались синевой, засветились первые огни, падал и падал неторопливый густой снег, заваливая переулок. Изредка под туманными фонарями проходил бесшумный троллейбус, сбрасывая с проводов фиолетовые искры, на далеком мосту медленно ползли уже по-вечернему светившиеся трамваи, звон их едва пробивался сквозь лениво текущую завесу снегопада.

Потом предупредительно постучали в дверь. Вошел его друг, в бурках, в пальто, с чемоданчиком, уложенным, по-видимому, на кухне (чтобы не мешать им), не зажигая света, кашлянул и, обычно настроенный на игривый разговорчивый лад, спросил чрезмерно прямо:

— Ты его любишь?

— Невыносимо дурацкий вопрос! — Она встала, свела брови. — А если и да и нет? Что из того? Где у вас выключатель? Включите свет!

— Спокойной ночи. У меня поезд через час, — сказал друг, смущенно сощурясь на зажженный свет, и надел шапку. — Ключ остается в кухне на столе. Желаю молодым счастья!

Он попятился к двери, доброжелательно и соучастливо кивая.

— Пока! До встречи, остряк! — крикнул Крымов и, вскочив с дивана, закрыл за ним дверь, постоял у порога, засунув руки в карманы. — Да, если да, и да, если нет, — проговорил он резко и полувопросительно взглянул через плечо. — Все равно ты будешь моей женой.

«Опять началось безумие! Опять дьявол в меня вселился!»

— Я? Твоей женой? Разве я могу быть женой такого странного и непонятного человека?

Он сказал неподчиняющимся голосом:

— Ты еще увидишь, какой я странный, какой непонятный, но какой смелый парень! Знай, что я служил в разведке. Ты представляешь, что такое полковая разведка и что такое ходить в тыл к немцам?

— Пожалей, пожалуйста. Неужели ты хочешь победить меня, как в войну? Ты самолюбивый хвастунишка...

— Оля, милая, уезжай сейчас же, я знаю, тебя ждут дома! Уезжай. Так будет лучше. Иначе... («Опять, опять!..»)

— Спасибо. Я поеду. А что иначе?

— Иначе я ничего не смогу с собой поделать. Уезжай, я прошу тебя. Я люблю тебя. Я черт знает как люблю тебя!..

Он проводил ее до автобуса, потом долго топтался под фонарем, морщась, чиркал спичками, а поднявшийся меж домов ветер срывал, тушил огонек, мокрый снег налипал на сигарету. В ладонях, по-фронтовому сложенных ковшиком, он все-таки сумел прикурить, сделал затяжку, но снежный смерч с неистовой силой мстительно выбил жарок из сигареты, и тогда он впервые за много лет заплакал в бессилии. Он плакал со сладострастной злобой к себе, к этому неподвластному воле безумию, ко всему, что было связано с тем предновогодним роковым вечером и тем инистым утром в замоскворецком дворике.

Что это было — дурман или естественное состояние? Ему было ясно одно: он любил Ольгу без памяти, прежние случайные встречи с другими женщинами не вызывали того безумия, той ненасытной нежности, той постоянной неутоленности, какую он испытывал к ней.

Да, то было другое время, и они были другими, тогда начиналась незабвенная пора послевоенной молодости.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В тот день, расставшись с Валентином, он не дождался Ольгу, вышел из дома, не нашел ее на поляне и один долго ходил по лесу, по высокому берегу реки, вдоль песчаных отмелей, где весной садились дикие утки. Сначала по воде плыли, текли ленивые по-летнему облака («Откуда это непередаваемое наслаждение в их медлительности?»), на закате нежно заалели на плесах перистые, женственно-тонкие, обещающие поднебесное блаженство («Это же чудесный обман!»), затем начало постепенно надвигаться то невесомое молодое ощущение июльского вечера, в котором всегда парит долгий свет зари, что-то чуткое, зыбкое, не имеющее четких границ во времени. И уже в мягко синеющей темноте, охватываемый папоротниковой сыростью, Крымов сидел на поваленной березе, курил, отгоняя веточкой комаров, глядел на другой берег, проступавший за поблескивающей внизу рекой. Там километрах в трех оставался дачный поселок. В потемках леса не пробивалось ни единого огонька, хотя в поселке, вероятно, за-

жглись над заборами фонари всех улочек, между сосен сквозили окна дач, пленительно зеленел абажур настольной лампы в комнате Ольги, и рядом горел свет в его кабинете — ожидая его по вечерам, Ольга включала в мансарде свет, объясняя свою странность с загадочной полуулыбкой: «Я боюсь одна, а это маячок, чтобы тебе легче было найти дорогу домой».

«Я боюсь одна, а это маячок...» — вспомнил он растроганно, а когда встал и, еле угадывая тропинку, спустился по крутому откосу к берегу, внизу ярко вспыхнул огненно переливающийся зигзаг: струились, двигались золотые извивы нитей. И Крымов не сразу понял, что же так ярко полыхало, сверкало, извивалось в черной воде.

Он миновал кусты, ступил на узкий, шаткий мостик, со всех сторон окруженный блаженным хором лягушек, стонущих в камышах на отмелях, и тут увидел, что́ вспыхивало, купалось на самой быстрине. На том берегу, на западе, где небо было светлей от зари, над темной вершиной березы царственно играла алмазными огнями большая неизвестная звезда.

«Что это,— подумал Крымов, завороженный праздничным блеском над макушкой березы.— Сириус, кажется?.. Жизнь прожил и не знаю...»

Он остановился на середине мостика, задрав голову, увидел в прорехах застывших верхушек далекое пульсирование звездных фейерверков, величественное ликование неба, всю эту сверкающую россыпь, голубое дрожание космических лучей в глубинах жутких провалов галактик; в лицо дохнуло из небесных пропастей вечным холодом, ритуальной тайной непостижимости, и Крымова стало томить тихое желание попросить прощения за что-то, в чем были виноваты все перед этим величием недосягаемой красоты, перед этой праздничной запредельностью, которой нет названия.

«Что мы знаем, самонадеянные и самовлюбленные? Уверены, что знаем всё,— и не знаем ровно ничего. А что там? А дальше что? А зачем? Во имя чего? В чем смысл всего земного и небесного? Или смысл в том, что нет никакого смысла? Или во всем тот смысл, который постигнет человек в момент смерти? Может быть, смерть и есть постижение всего? Да, небо такая же тайна, как смерть... Да, да, нужно постоянно об этом помнить! Но почти никто не хочет этого помнить. И мы забываем, не хотим знать, что общение с тайной красоты — радость, а радость — высшая мудрость. И как ничтожна вся человеческая возня с сию-

минутной выгодой, завистью, тщеславием... Какая никчемная чепуха! О, скольким людям на земле приходило такое понимание! И что же?»

Он усмехнулся этому своему пониманию земной тщеты, глядя на играющую подвижными лучами звезду, и все же на душе у него было светло и освобожденно.

И правда, в мансарде в его кабинете горел сквозь листву свет, и мирной зеленью настольной лампы было залито окно Ольги рядом с кабинетом. Не зажигая электричества на первом этаже, он быстро взбежал в мансарду, дверь в комнату Ольги была приоткрыта. Световая просека разрезала, раздваивала потемки на лестничной площадке, и казалось, из ее комнаты пахнуло ночным покоем, чистой постелью.

— Ты не спишь, Оля?

Он вошел. Ольга в рабочих брюках, в черной рабочей рубашке сидела в соломенном кресле, подперев кулаком подбородок, и смотрела на небольшой, сегодня написанный, еще не просохший пейзаж, прислоненный на полу к стене, освещенный лампой с края стола,— потухающий закат за лесами, последний отблеск в воде и струистое, тревожное дрожание первой звезды в малиновом отблеске. Может быть, той, незнакомой, царственной, которая передвигала лучистыми алмазными радиусами над темной вершиной березы? Она тоже видела ее?

— Это я, Оля,— сказал он негромко.— Здравствуй.

Она не отняла руку от подбородка, посмотрела на него скошенными внимательными глазами и недоверчиво чуть-чуть кивнула.

— Здравствуй. Ты так поздно, Слава?

Он услышал в ее голосе не то шутливую полувопросительность, не то невнятный упрек и сокрушенно вздохнул, подходя со спинки кресла, увидел ее собранные в старомодный пучок волосы, ее маленькое ухо, ее открытую рабочей рубашкой шею и сказал осторожно:

— Я, как всегда, виноват. Пошел искать тебя. И не нашел. Забрел в лес, за мостик. И там хорошо думалось. Кстати, видел, как рождалась ночь. Было прекрасно...

— Ясно. А Анатолия Петровича с тобой не было?

— Он уехал рано. Странно... Вот такую звезду, как на твоем пейзаже, я тоже видел. Только под мостиком, у свай По-моему, это Сириус...

— Значит, ты был один и было прекрасно,— прогово-

рила Ольга тоном мягкой насмешки, снизу взглядывая ему в лицо с ожидающим выражением.

Он, стоя возле кресла, виновато поцеловал ее в слабо улыбнувшиеся губы.

— Пожалуй, впервые за много лет заметил летом Сириус или что-то в этом роде,— сказал он, ощущая прохладное безразличие в ее не ответивших губах, и придал своему голосу оттенок шутки: — А с кем была ты?

— Сама с собой.

— И как?

— Представь, как хорошо нам было! Как хорошо мы пообщались, поговорили, поплакали.

— Поплакали? О ком? О чем?

— О тебе. Обо мне.

В ее тихих бархатных глазах была прежняя незавершенная вопросительность, за которой Крымов почувствовал нечто встревоженное, упрекающее, тщательно скрываемое ею, и он сказал уже без ненужной сейчас между ними словесной зашифрованности:

— Если можно, Оля, объясни, что случилось. Я сегодня немного устал, поэтому никак не возьму в толк. Ты почему-то на меня сердишься?

— Нисколько. Просто поплакала о нашей ушедшей молодости. Но это, конечно, пустяки, бабья лирика...

Ольга поднялась, обхватила руками плечи, точно обняла себя, чтобы согреться, постояла перед пейзажем, губы ее слегка круглились подобием улыбки (а он помнил их холодок безжизненности, что ожег его минуту назад), и так, обнимая себя, поглаживая ладонями плечи, она отошла в сторону, за свет лампы, и оттуда, из зеленой тени, сказала нарочито оживленным голосом:

— Не думала, что так случится, Вячеслав. И как это все некстати и грустно!

— Случится? Что?

— По-моему, ты не рассчитываешь свои силы.

— Так было всегда,— пошутил он, со страхом догадываясь, о чем хотела сказать она.— Я давно знаю свои недостатки, Оля.

— Я их узнала недавно, прожив с тобой целую жизнь. Так что же нам делать, Слава?

«Вот чего я боялся, вот этого ее унижения. Я боялся, что кем-то замешенная грязь испачкает Ольгу. Неужели студийные сплетни во всей красе дошли и до нее? Нет, люди беспощадны...»

— Оля, я, видно, катастрофически поглупел и, значит

задаю наивные вопросы: что случилось? Тебе кто-то звонил? Ты получала письма? Конечно, анонимные...

Из полусвета темнели ее неулыбающиеся глаза, а губы (сколько раз он целовал их, холодноватые, не утоляющие его) вздрагивали отражением сдержанного удивления.

— Я тебя не осуждаю. Ты перестал меня любить, поэтому можешь поступать как хочешь. Дело не в звонках и не в письмах.

— Оля...

— И тут ничего не поделаешь. В жизни бывает все.

— Оля, зачем ты?..

«Неужели она верит и мне нужно объясняться, оправдываться? А у меня нет сил».

И он с ощущением неимоверной усталости присел на корточки подле пейзажа, и это зеленоватое после заката небо, неистовый огонь первой звезды в пустой чистой воде, и пепельная туча грачей, вьющихся над вечерним дальним лесом, и недавние беззвучные фейерверки в ночи, тайный праздник в бездонных глубинах галактик, какое-то движение, смещение, шевеление лучей — все ритуальное великолепие, что открылось ему на середине мостика, как со дна ущелья, меж неподвижных вершин на высоком берегу, мгновенно потеряло освобождающую надежду, и он подумал с отчаянием: «Все поменялось местами, и все летит в бездну!»

— Оля,— сказал он покорно и встал, не решаясь повернуться от пейзажа, но теперь ничего не видя на нем.— Оля, прошу тебя только о единственном: верь себе, а не кому-либо... Знаешь, о чем я думаю в последнее время? Есть птицы певчие и птицы ловчие. Так вот, ловчие, даже когда они сыты, могут ударить острым клювом в затылок. Смысл? Его нет. Но желание ударить есть. Причин тысячи. И одна мельче другой. И со мной происходит то, чего я не хочу, Оля. Жизнь почему-то не может нас научить правде. Мы слишком доверчивы. И ты тоже доверчива, Оля. Я сегодня опять подумал, как ничтожна возня людей, когда вдруг на мостике увидел в воде вот эту красавицу звезду... Впрочем, банальны все истины, которые давно открыты, давно забыты и заново открыты.

Он нахмурился после невольной своей искренности, что могла быть воспринята Ольгой как нарочитая, а она стояла у стены в сумеречной полосе за светом настольной лампы и слушала его с опущенными глазами.

— Ужасно,— сказала она и приблизилась к нему,

ласково оглядывая его лицо и притрагиваясь кончиком пальца к его подбородку.— Ужасно, как ты изменился за последнее время, похудел, осунулся, стал не тот. Что-то случилось, Вячеслав... Я тебя очень любила тогда, в Новый год, когда мы остались с тобой здесь... Теперь ты уже не совсем тот или полностью другой?

— Другой. Наверно, не полностью.

— Хуже?

— Да.

— Значит, ты меня предал, Вячеслав?

— Ни разу.

— Я тебе, Слава, сейчас не верю почему-то,— сказала она с рассеянным лицом и пальцем нарисовала замысловатый вензель на лацкане его пиджака.— Ведь я часто замечала, как смотрят в твою сторону женщины. Потом ваши студийные нравы, артистическая богема, могу представить... И ты не святой, Слава. Так ведь?

— Ты ошибаешься, Оля, я почти святой. И ты не права насчет студийных нравов. Они как везде. И богемы нет,— сказал Крымов, испытывая желание обнять ее и не говорить ничего в покое ее близости, ее спокойного, не утоляющего холодка, как в ту вьюжную, пустынную ночь, когда они остались вдвоем на недостроенной даче. Но что-то мешало ему повторить минуту того новогоднего настроения, о котором вспомнила Ольга, и он только провел рукой по ее плечу, такому родному под черной рабочей рубашкой, договорил почти робко:— Как и чем я могу поклясться, что люблю тебя?

— Не надо,— проговорила она без выражения.— Иди, пожалуйста. Иди, Слава. Уже очень поздно. Иди, мой милый святой.— Она опять нарисовала пальцем невидимый вензель на лацкане его пиджака, и лицо ее было безучастно.— Иначе мы оба не заснем.

— Спокойной ночи.

Он поцеловал ее в щеку и вышел с мучительным чувством, будто она, не веря ему, умышленно не хотела договаривать и разрушать все до конца.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Извините, Вячеслав Андреевич, за нескромный вопрос, который я не решился бы задать вам, если бы, так сказать, не формальная сторона нашей профессии. Дабы

установить истину, нам подчас следует знать и нечто интимное... нескромное. У вас были, извините, пожалуйста, еще раз, близкие отношения с Ириной Вениаминовной Скворцовой?

— При первой нашей встрече я рассказал все, Олег Григорьевич. Неужели мой вторичный ответ прояснит истину случившегося несчастья? Если да, то все ясно? Если нет, тогда что?

— О, я вижу, вопросы уже задаете мне вы, Вячеслав Андреевич. Я отлично понимаю, что каждый момент столкновения с жизнью — это для вас, художника, неким образом сбор материала, опыт, который, так сказать, воплотится... Вы, художники, как губки, всё впитываете и реализуете. Но так или иначе вы не хотите ответить на мой формальный вопрос?

— Как вам объяснить? Почти невозможно объяснить. Это не для протокола, который вам нужен.

— А именно? Может быть, вы не хотите говорить о какой-то, извините, аномалии у актрисы Скворцовой? Она перенесла тяжелую травму, и неудача в балете наложила отпечаток на ее психику. Скажем, особая экстравагантность?..

— Ну для чего вы так? Ирина Скворцова была чистым ребенком, доверчивым до наивности. Таких среди современной молодежи не часто встретишь. Она верила, что назначение жизни — это радость. Не удовольствие, не безделье, не обеспеченность, а именно — радость. Она обладала чувством нравственной свободы. О какой аномалии можно говорить?

— Конечно, конечно... Не хотел вам причинить неприятное, не хотел. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Андреевич, а не было ли у вас перед несчастным случаем, так пока будем его определять, какого-либо серьезного разговора с Ириной Скворцовой? Она ничего вам не сообщила, не рассказала? Ни о чем не просила? Не припоминаете ли вы какие-либо ее слова?

— Припоминаю. Она была расстроена случайно услышанным ею чужим разговором на студии.

— Не припомните каким?

— Как часто бывает, неудачливые претендентки на роль перемывали ей косточки и, разумеется, говорили о том, что она бездарна и что главную роль, разумеется, получила за то, что стала любовницей режиссера.

— Это не так? Не отвечает действительности?

— Что «не так»?

— Ирина Скворцова не была вашей... любовницей, извините, или... подругой, приятельницей, как сейчас говорят в вашей среде?

— Не знаю, как говорят в нашей среде по данному поводу, но Ирина Скворцова не была ни моей любовницей, ни подругой, ни приятельницей. Было другое.

— Так что же было между вами, Вячеслав Андреевич? По долгу службы я нахожусь в неудобном положении... приходится задавать вам, так сказать, пикантные вопросы, и вы уж потерпите мою настойчивость.

— Я потерплю. Но на пикантные вопросы позволю себе не отвечать.

— Однако в ваших ответах я слышу одновременно и да и нет. Как следует мне понимать вашу диалектику?

— В смысле нет.

— А именно как?

— Олег Григорьевич, я не могу вам объяснить всю суть моего отношения к Ирине Скворцовой. В ней была и сила и хрупкость, и твердость и беззащитность. Перед жизнью она была беззащитна. Как почти все одаренные люди.

— Но о вас, к примеру, нельзя сказать, что вы беззащитны, хотя вы зверски талантливы, как выразился один крупный режиссер, ваш коллега.

— Все не так, как кажется. Я был просто удачлив. Вокруг меня много преувеличений. Завистливых и глупых. В искусстве удачливых не очень любят. Завидуют, льстят, но, поверьте, не очень любят.

— Вы кокетничаете сейчас, Вячеслав Андреевич. Маститая критика пишет о вас...

— Не надо читать маститую критику. Она часто лжет или расписывается под узаконенными репутациями. Критика должна быть молодой, а значит — дерзкой.

— Вы опять кокетничаете.

— Как вам угодно. Если возможно кокетничать с правдой, то вы правы.

— Вы как-то недобры ко мне, Вячеслав Андреевич. Вы заведомо видите в моем лице некоего, так сказать, недоброжелателя, а моя профессия предполагает беспристрастность даже к очень подозреваемым лицам, каковым вы не являетесь. Но вернемся к делу. Вы сейчас так говорили о Скворцовой, будто... как бы поточнее выразиться? Будто были без ума влюблены в эту экстравагантную девушку. Такое чувство имело место?

— Я не был влюблен без ума в эту экстравагантную девушку. Более того, она терпеть не могла экстравагантности, и я тоже.

— Так или иначе — что же было между вами? Она хотела стать вашей женой? Хотела, чтобы вы развелись, а вы чувствовали себя связанным семьей, детьми, и у нее, у Ирины Скворцовой, появилась обида, горечь, неудовлетворенность своим положением?

— Ничего похожего.

— Так что же было между вами, в конце концов, Вячеслав Андреевич? Она была удовлетворена своим положением?

— Она не была удовлетворена собою. По крайней мере, мне так думалось. Вы знаете, что после блестящего начала в балете она получила травму и ушла со сцены на целый год. Несколько раз я видел, как она дома работала у станка — старалась вернуть себе форму во что бы то ни стало. И не смогла, к большому сожалению. Когда я предложил ей роль, представьте, Скворцова сначала не согласилась. Она не хотела предавать и себя и балет.

— И вы считаете, что именно это привело ее к трагическому исходу?

— Я разве сказал так?

— Но так можно было понять из ваших рассуждений.

— Я отвечал на ваш вопрос, который был не совсем точно сформулирован.

— По всей вероятности, я вынужден буду задать вам еще много неточных вопросов, так что вы меня заранее извините, Вячеслав Андреевич. Иногда, знаете, самый прямой путь к истине — окольный.

— Не надо, прошу вас, Олег Григорьевич, неточных вопросов и окольных путей. Честное слово, я очень устал. Я облегчу вашу задачу. Я понимаю: вам нужно установить причину гибели Ирины Скворцовой или виновника ее гибели, найти убийцу прямого или косвенного.

— Вы хотите пить? В графине вода уже теплая. Пожалуйста, боржом, Вячеслав Андреевич. Сегодня с утра опять печет...

— Благодарю. И душно, я бы сказал, у вас в кабинете. Почему вы не открываете окна?

— О, вы наблюдательны, зрение у вас профессиональное, Вячеслав Андреевич.

— Я хочу облегчить вашу задачу, нерешаемую из-за неточности моих свидетельских показаний. Я скорее всего

обвиняемый, потому что виноват... виновен в том, что произошло. Вениамин Владимирович Скворцов, которого я встретил здесь у вас, был прав. Он справедливо назвал меня злым искусителем... обвинил в том, что я попытался вселить в его дочь надежду... Но я не меньше вас хотел бы знать, как все случилось, как все произошло. Была ли то трагическая случайность, или она осознанно решилась на самоубийство, несчастная девочка? Или... что же? Я хочу верить, что это случайность...

— Однако, Вячеслав Андреевич, есть основания думать о несколько иных причинах трагического исхода, о несколько иных обстоятельствах...

— Значит, вы кого-то подозреваете? Понимаю вас. Разумеется, юстиция, закон, следствие, показания, свидетели. Но я единственный свидетель. И если я не знаю, но хочу знать точно, как и почему все произошло, то кто же тогда может знать, кроме господа бога, а мы с вами не верим в бога, кажется.

— Был еще один свидетель, Вячеслав Андреевич.

— Кто?

— Вы с ним хорошо знакомы. Шофер вашей студии Гулин Степан Евдокимович. Вы почему-то о нем молчите, хотя поступили с ним, мягко говоря, не по-джентльменски.

— Сердечно сожалею, что не по-джентльменски проявил свою невоспитанность. Также сожалею, что был слишком мягок с почтенным шофером Степаном Евдокимовичем. Впрочем, мягкость и раскаяние — извечная порочная черта русской интеллигенции.

— Но вы же избили его, Вячеслав Андреевич! Вы, представитель художественной интеллигенции, известнейший человек, режиссер, избили рабочего человека, который вызвал ваш гнев только тем, что был свидетелем вашей ссоры со Скворцовой в тот день, когда произошел трагический акт. Вы об этом как раз умолчали.

— Любопытно, как он мог быть свидетелем чего-либо, когда находился в это время за тридцать километров, уехав обедать в чайную в районный поселок, если верить его словам? Признаюсь, он вызывал и вызывает гадливое чувство...

— И поэтому вы нанесли ему побои, причинив телесное повреждение?

— Какое повреждение?

— В справке из сорок второй поликлиники, представленной свидетелем, сказано, что у него была разбита губа

вследствие соприкосновения с зубами от удара и наличествует кровоподтек под носом.

— Великолепно! Я действительно очень сожалею, что ударил его только два раза. Для подобных граждан два раза маловато.

— Прошу вас, Вячеслав Андреевич, прочитать вот это заявление свидетеля.

— Про себя или вслух?

— Сомневаюсь, что чтение будет художественного свойства. Почему вы так насторожены со мной, Вячеслав Андреевич?

— Так же как и вы, несмотря на любезную форму обращения и глубокое уважение ко мне. С вашего разрешения я читаю вслух, чтоб было яснее и искреннее. Так вот... «В главное управление. От Гулина Степана Евдокимовича». Ну ладно, что же он пишет, Степан Евдокимович, заслуженный шофер, награжденный грамотой? Ах вот как он излагает суть дела... «Хочу уважаемым товарищам из милиции описать суть дела преступления, потому как я работал по картине «Поколение» и вез товарища Крымова Вячеслава Андреевича, режиссера картины, и артистку Скворцову Ирину, по отчеству не знаю, на натуру, где потом будут снимать эпизод. Когда ехали на освоение натуры, режиссер Крымов В. А. попрекал Скворцову в глупости, в том, что она делать ничего не умеет ни в балете, ни в кино, а Скворцова сидела молчком, тихо плакала, а потом сказала, что с такими оскорблениями ей жить на свете не хочется, а режиссер Крымов на эти слова смеялся с исключительным эгоизмом. Когда на натуру приехали, они ушли к церковке на правом берегу реки, я остался на левом по причине негрузоподъемного мостика. Режиссер Крымов приказал ждать час-полтора, но их не было два часа, и есть мне захотелось, потому что был обед. На том берегу я их видел, ходили друг против друга, руками размахивали, вроде все ругались. Как раз подумал я, что долго они еще разбираться между собой будут, и уехал в поселок хоть глоток водицы глотнут, весь по́том изошел на жаре. А когда приехал я за ними, тут увидел, что Скворцова вроде мертвая, утопленная на траве лежит, волосы мокрые, лицо белое, как мрамор, а режиссер Крымов зверем кинулся на меня, стал избивать в кровь и с нецензурными словами, как бешеный, предупредил, чтоб я нигде пикнуть не смел, что видел и слышал. Повезли мы Скворцову в больницу и сдали там. Вот что я знаю об этом преступном деле. Справку о телесном нанесенном мне по-

вреждении прилагаю. К сему Гулин». Все? Да, подпись разборчива. Что ж, великолепно объяснил уважаемый шофер. Все изложил с беспощадностью реалиста. Здесь чувствуется стиль жертвы. И вы принимаете во внимание мемуары пострадавшего водителя?

— Я принимаю во внимание все, что имеет отношение к данному делу. Водитель Гулин излагает свое личное отношение к тому, что случилось. Выводы делаю я. На основе показаний всех тех людей, которые знают вас и знали Ирину Скворцову.

— И если вы выслушаете Гулина, затем мудрого руководителя студии Балабанова, достопочтенного хозяйственника Молочкова, то у вас сложится справедливое мнение — вывод о возможном преступнике, о гипотетическом убийце режиссере Крымове. Я уж не говорю о Вениамине Владимировиче Скворцове, об отце погибшей девушки, который без колебаний обвиняет во всем меня. Пожалуй, он прав как отец, и я понимаю его тоже как отец. Я виноват или... не знаю, как такое заявление выглядит с точки зрения правосудия... не виноват, а виновен, виновен в том, что вселил в Ирину Скворцову надежду, а злобные завистники, тошнотворные, как сама пошлость, разрушили эту надежду. И если это ее убило, какой все-таки хрупкий цветок была она...

— Вячеслав Андреевич, подобные заявления уводят нас в сторону, в психологию творчества, в темный лес, где рискуешь заблудиться в трех соснах и сломать себе шею. А я, знаете ли, дорожу своей шеей. Поэтому вновь возвращаюсь к главному — что же, по-вашему, было непосредственной причиной смерти Ирины Скворцовой? Открою вам секрет, который, в общем-то, не является секретом. Отец Скворцовой обратился в инстанции высшего порядка и требует тщательного расследования причин смерти его дочери, и дело, так сказать, поручено мне, а я человек дотошный, извините за откровенность, и хотя мое уважение к вам...

— Какое тут может быть, ей-богу, уважение, и что такое уважение, и почему уважение и для чего!.. Бред! Я вам сказал, вернее, по протоколу, ответил. Я виновен...

— Вячеслав Андреевич!

— Я виновен, и делайте со мной то, что положено дальше.

— Вячеслав Андреевич!

— Я сказал вам — другого виновного вы не найдете.

— Вячеслав Андреевич, я удивлен... Вы должны отве-

чать за свои слова, а не бросать их на ветер. Подобные заявления опасны, в конце концов!

— Я уже давно ничего не боюсь. Нет, иногда, конечно, смерти боюсь. Здесь побеждает чистое любопытство: а как будет без меня и после меня? Всю жизнь страдал от любопытства. Может быть, поэтому я и стал режиссером: хотел познать чужую жизнь. Но многого так и не познал.

— Вы сказали, что во всем виновны вы?

— Абсолютно во всем. И вам не нужно больше задавать вопросы ни Балабанову, ни Молочкову, ни прочим...

— А Стишову, который был у меня вчера утром? Достойнейший, по-моему, человек.

— Тоже не надо. Романтик и идеалист, влюбленный в меня. Он не может быть объективным. Тем более он мой друг. Близкий к тому же.

— У меня к вам больше вопросов нет. Пока нет. Если они возникнут, то придется вновь побеспокоить вас, Вячеслав Андреевич.

— Благодарю. Мне можно идти?

— Всего хорошего. Желаю всяческих творческих успехов на экране.

— Благодарю. Тронут вашим добрым отношением к киноискусству.

Его потное лицо облепило масленым теплом уже раскаленной, грохочущей в этот час улицы, бьющей в уши соединенным ревом моторов, и он, утомленный, подошел к машине, поставленной им под ветвями притротуарной липы. Обжигая о горячий металл пальцы, открыл ключом дверцу и сел в машину с внезапно захлестнувшим отчаянием оттого, что пропадает, не может остановиться, овладеть собой, найти равновесие, что все делает сейчас в каком-то туманном неблагоразумии, потеряв контроль над здравомыслием, и что это состояние погубит или уже погубило его. Он еще не представлял полное разрушение прежнего, свое новое, униженное место в жизни, где будут действовать иные законы, иные отношения, как бывало на его памяти с некоторыми известными людьми, ударами справедливых либо несправедливых обстоятельств сбитыми с ног. И не представлял собственное положение зависимым в такой степени, какая раньше не распространялась на него.

То, что происходило с ним, и то, что он делал, плохое

и хорошее, говорил, отрицал, утверждал, было немыслимым образом остранено, усложнено некими нелепыми обстоятельствами, дурными поводами, чем-то, чудилось, нереальным, зыбким, временным, что должно немедленно, вот-вот закончиться, вновь войти в будничную действительность, которая внешне ни в чем не изменилась и была той же, как до отъезда Крымова во Францию. Однако явные перемены произошли и беспощадно возвращали его в тот жаркий июньский день, последний день Ирины,— и когда он с головной болью вышел от следователя и в аптечке машины нашел амидопирин, помогли лишь две таблетки, он без воды проглотил их химическую горечь и подумал, устало приваливаясь к накаленной солнцем спинке сиденья: «Сейчас я должен поехать на дачу».

Потом он сидел, раздумывая — а так ли уж надо ехать сегодня на дачу, к благостному лету, к соснам, траве и солнцу? Может быть, остаться в Москве, побыть в пустой квартире одному, обдумать в одиночестве случившееся сегодня, ибо и на даче никто не мог помочь — ни Ольга, ни Валентин, ни его любимица Таня.

«Какое блаженство: вот так сидеть в машине одному, смотреть на дрожание светотени в глубине липы с запыленной листвой и не думать ни о чем, только видеть, слышать улицу и чувствовать. Но разве чувствовать значит не думать? И все-таки не проходит какая-то ноющая боль, неопределенная, как тоска, которая появилась ночью, когда я ушел от Ольги... И почему мне хочется бежать куда-то? И почему так легко было говорить следователю о своей вине, чтобы прекратить унизительные для него и для меня вопросы,— неужели никогда не кончится это?»

И еще надеясь вернуть душевное равновесие, он попытался вспомнить самый счастливый день в прожитой жизни и наконец вспомнил его — далекий, весенний, как если бы повторилась незабвенная пора детства. Ах да вот он: солнечный март, капель, синие тени берез на белом снегу... и мальчик (это он) стоит перед заваленным сугробами крыльцом и смотрит на радостную голубизну неба над крышей, на свисающие с заледенелых желобов сосульки...

Нет, он помнил еще и другое счастливое утро, нежный свет зари на стенах чужой мансарды, малиновые блики на тяжелой мебели, пахнущей чем-то старинным, сладковатым... И были тогда длительные майские вечера и цепенящий запах сирени в саду. Где это было? В Германии? В те

дни все было удивительно, ни разу позже не повторившись. Ночью горели по горизонту запоздалые зарева окончившейся войны, а среди глыб сгущенного пепла, разрывов, дыма и, мнилось, обуглившихся гигантских лебедей, улетающих вдоль грозного горизонта, округло выделялись вдали купола, крыши, вершины деревьев. А зеркальный месяц остро, дерзко блистал в прорехах, обещая жизнь, любовь, молодость, удачу, возобновление того довоенного утра под Москвой, когда он увидел *ее*. *Она* в летнем ситцевом сарафане стояла у калитки, срывала стручки акации, касаясь голыми коленями прислоненного к изгороди велосипеда... Потом он явственно увидел рядом с нею и себя. Он накачивал велосипедную шину, а она стояла под той же акацией, молча водила ладонью по забору, и губы были надуты. «Не может быть, чтобы мы поссорились. Из-за чего? То были неповторимые дни моей юности, хотя не осталось в памяти ни имени милой девочки в сарафане, ни причины ссоры...»

Но до сих пор почему-то не забывалось, как в те очень давние дни юности проснулся на сеновале с болевшими от поцелуев губами, разбуженный безмолвием после ночной грозы, и поразился: из-за туч выглянула, заблестела ему в глаза одинокая, чисто омытая звезда и до рассвета стояла над черной покатой крышей, еще влажно дышавшей свежестью дождя.

«Вчера я тоже видел звезду, но это было другое — чувство утраты, а та ночь в юности не ушла из памяти. Да, да, синие мартовские тени на снегу, луна в Берлине, девочка в ситцевом сарафане, сеновал, пахучий ветерок просыхающей крыши — что это, безоблачные сны моей жизни? Да, истинное — то, давнее. Оно осталось со мной, не ушло и, может быть, именно оно держит меня на земле...»

И страстно захотелось вспомнить и почувствовать свое раннее детство: тихий отблеск росы на лугах, крик грачей в ветреное утро, тишину заката, дух парного молока, звук уключин на реке, а ночью далекий лай собак под разверстой глубиной осеннего неба, потом — мокрый перрон, до краев затопленный февральским туманом, уже предвесенним, угольно пахнущим паровозным дымом, и себя за руку с растерянной матерью, встречающей отца, откуда-то приехавшего, небритого, с неприятно дергающимися губами: «Нет, мать, на земле мне прощения, как нет счастья...»

Ничего похожего он, Крымов, не сумел со всей горькой полнотой передать в своих фильмах, да и больно было передавать разочарованно-безысходную, давящую силу отцовской тоски.

« — Никто. Ничто. Никому. Вот так я жил, мать.

— Почему же?

— Мое время...

— Я жалею тебя, Андрей.

— Святая ты... святая!

— Посмотри на Славу, ты не забыл его?

— Неужто сын?»

Неопрятно грязные руки отца, заметные, однако, крупностью, ладной мужской красотой, были черствы, когда он погладил по плечу мать и неловко притронулся к щеке своего забытого сына. И сын, испуганный жалким, раздавленным видом отца, видел, как затеплились ласковой покорностью глаза матери, простившей все обиды непутевому мужу и этому несправедливому миру — она была в тот день счастлива, чего он не мог понять.

«Счастье — это то, чего мы сами не испытали. И это тоже так...»

«Где и в какой стране я искал счастливую маленькую площадь, которая должна была быть олицетворением земного рая, тишины, нежной прозрачности от закатного солнца? Где — в Костроме? В Париже? В Вене?»

Тогда он вышел из храма и стал спускаться на Резиденцплац, внезапно решив, что перед ним именно та, обетованная площадь,— серело ноябрьское небо над крышами, над кирхой, падал первый, мягкий, ангельски чистый снег, мохнато белил камень площади, сиденья извозчичьих колясок, как в добром девятнадцатом веке, падал на зеленые и красные попоны застоявшихся лошадей, на сплошь забеленные традиционные шляпы извозчиков, озябших, топчущихся меж колясок, точно на площадях старой России, а посреди Резиденцплац снегопад валил на скопление раскрытых зонтиков туристов, столпившихся вокруг гигантской чаши фонтана, из которой в безумном ужасе тянулись к небу породистые морды бронзовых коней, густо засыпаемые крупными хлопьями. Возле мрачной арки неподалеку от готического собора (с его высотой сводов и гулкой огромностью, где эхом раздавались шаги по каменным плитам) черно стыла наполовину в снегу статуя некоего кардинала. И все на площади было не то и не так.

А он целый день искал по городу и не находил веселую,

людную, благословенную площадь, радостно запомнившуюся в первый приезд. Тогда он стоял на тротуаре у каменной балюстрады, ощущая сквозь тонкий пиджак и тепло и холодок апреля, а всюду отливали солнцем витрины магазинчиков, стекла киосков, мимо двигалась пестрая толпа, одетая в преддверии лета с праздничной и весенней яркостью, а внизу маленькая круглая площадь лежала греческим амфитеатром, вся в согретом апрельском покое светоносного дня и еще свежего горного воздуха, в сиреневых тенях платанов — тихая, солнечная, как обещание вечной весны в старом австрийском городе.

«Так, может быть, она приснилась мне? В Вене или Зальцбурге?»

В последний свой приезд в Вену Крымов сбежал из дворца Пальфи, где проходила встреча московских кинематографистов с австрийскими интеллектуалами, и снова стал упорно искать эту безымянную площадь, а она попрежнему пряталась где-то за каменной балюстрадой, теплая, окруженная зеленеющими платанами, с пестрыми весенними толпами...

Он так и не нашел ее в этот промозглый февральский день, пасмурный, ветреный, в конце концов заблудился и, отыскивая свой отель, попал (как узнал позднее) на «блошиный рынок». Он шел по растаявшему бурому месиву, сыпал мокрый снег, а справа и слева возникали посинелые на холоде лица, машины и прилавки; там было расставлено, хаотично навалено что-то невообразимое: стенные гробообразные часы, громоздкие подсвечники времен Франца-Иосифа, бронзовые канделябры, лампы, навесные замки разных веков, книги в затерханных кожаных переплетах, старомодные меховые шубы, всевозможные шляпки прадедовские жилеты, детские стоптанные туфельки, олеографические картинки прошлого столетия, красочные открытки, изображавшие новогоднюю елку в оплывших свечах в обрамлении пышных декоративных сосулек, кайзеровские солдатские шлемы, многорукие индийские боги, вырезанные из дерева, костяные статуэтки-пепельницы, стоявшие некогда в пышных гостиных, люстры времен былого величия Австро-Венгрии, потертые юбки, грязные пиджаки, тронутые молью дамские горжетки — от всех этих многообразных и бесполезных вещей на прилавках, от возбужденной толпы, от плотной толчеи повсюду исходил шерстяной запах мокрой одежды, сырого снегопада. Вокруг нестеснительно толкались неопрятные бородатые парни в донельзя заношенных

джинсах, громко смеялись, обнимая длинноволосых девиц, хлюпающих лиловыми носиками, пили прямо из бутылок пиво и шумно закусывали сосисками из целлофановых пакетов.

Крымову бросилась в глаза молодая женщина в короткой заячьей шубке, с бледным, истонченным лицом — она отвела взгляд, когда он неожиданно задержался около ее необычного товара. На подстилке у ее ног лежали две хохломские ложки, набор русских матрешек, разноцветные мотки шерсти. Крымов с любопытством рассматривал отлакированных влажным снегом матрешек, чужеродных, случайных здесь, на венской толкучке, и тут же подумал, что эта женщина — по-видимому, его соотечественница, покинувшая родину в поисках земного рая...

А она не подымала разительно черных на белом лице ресниц, хотя он стоял уже дольше, чем следовало из праздного интереса. Она, должно быть, почувствовала в нем не рыночного ротозея, а человека из дальних краев, которого не хотела бы встретить в такой неприютный, продутый ветром день вот тут, на унижающей толкучке.

— Вы не из России? — наконец решился спросить Крымов, видя вблизи ее усталое красивое лицо, ее заячью, почти новую шубку, в которой, вероятно, так тепло и кокетливо было ходить в трескучие морозы, а теперь было зябко стоять на ветру, в растоптанной множеством людей снеговой каше. — Простите, — добавил он. — Я заметил хохлому, русских матрешек, поэтому подумал...

Ее изможденное лицо изменилось, порозовело, выгнулись дуги атласных бровей, она вскинула большие, ожигающие печалью глаза и сейчас же опять опустила ресницы, тонкой рукой без перчатки запахнула шубку на горле и ничего не ответила.

— Вероятно, я ошибся, — проговорил Крымов, извиняясь за совершенную неловкость. — Энтшульдиген зи, битте, мадам [1].

Он выговорил эту фразу и вдруг увидел, как ее лицо исказилось болью, она сказала сдержанным грудным голосом:

— Мой муж умер от инфаркта месяц назад. Я без средств.

И Крымов, удивленный звуком ее голоса, изысканно ясным, интеллигентным русским произношением, какое, казалось, невероятно было услышать на этом рынке, в су-

---

[1] Извините, пожалуйста, мадам (*нем.*).

матохе, в перекриках возбужденных пивом и торговым азартом бородатых парней, спросил:

— Где вы жили в России? В Москве?

Она торопливо достала из кармана шубки сигареты, сигарета подрагивала в ее точеных пальцах с облезшим маникюром на ноготках; женщина спеша чиркала колесиком зажигалки, никак не могла высечь огонь, и Крымов помог ей своей зажигалкой. Она прерывисто вдохнула дым и, кутая воротником шею, сказала:

— Из окон нашей квартиры был виден Тверской бульвар.

И он представил себе Тверской бульвар за чугунной оградой, весь в сугробах, заснеженную крышу нового МХАТа между деревьями, завьюженные липы под окнами, обжитую, удобную квартиру и ее, эту молодую женщину, выходящую из подъезда в вечерние огни бульвара, и даже увидел, как она на остановке, садясь в троллейбус с замороженными стеклами, расстегивала заиндевелый замочек сумки, чтобы достать проездной билет. И вообразив это, он остановил взгляд на мотках шерсти, мокрых от растаявшего снега (эти намокшие мотки особенно выказывали непоправимое несчастье), и, понимая безнадежность жалости и сострадания, сказал небрежно:

— Я хочу купить у вас матрешку. Сколько она стоит?

— Я не продам,— ответила она вполголоса, опуская глаза.

— Почему?

— Я знаю: у советских туристов нет лишних денег,— проговорила она, и манера, с какой она курила, снова напомнила ему Москву, зимний вечер, съезд и тесноту машин у Дома кино на Васильевской улице, чью-то очередную премьеру, а в просторном фойе хорошо одетые женщины курили в креслах, смеялись, говорили о последнем фильме Феллини, о бракоразводном процессе Элизабет Тейлор, об ужасно затянутой картине Антониони...

— Я через два часа улетаю в Москву,— сказал он и безмятежно вынул бумажник.— Деньги мне уже не нужны. А матрешка чудесная. У меня сто шиллингов. Этого хватит?

Она взяла деньги, и в ночной глубине ее расширенных глаз скользнуло тихое необратимое отчаяние, от которого у него сжалось сердце.

В отеле, собирая чемодан, он долго вертел в руках эту купленную на «блошином рынке» матрешку и, не изменяя прочному военному и послевоенному суеверию не брать

вещей по несчастью, оставил ее в номере (как сувенир) на постельной тумбочке вместе с последними тридцатью шиллингами прислуге...

«Но как и чем неудачные мои поиски счастливой площади и та молодая женщина касались меня и Ольги? Возможностью радости и возможностью несчастья? А Джон Гричмар? А Молочков? А отец Ирины? Нет, не хочу о них думать, я непереносимо устал».

Крымов потер виски, стараясь массажем успокоить непроходившую головную боль, а ему надо было сейчас во что бы то ни стало расслабиться, снять напряжение, как он иногда делал после тяжелейших репетиций и съемок: погонять машину по кольцевой, въезжая на незнакомые проселки, останавливаться, выходить, дыша лесным и полевым воздухом, прогретым ветерком, снимавшим усталость.

Да, да, Гричмар...

«Когда я просыпался в третьем ряду, то понимал, что твой фильм гениален». «Когда я просыпался, то понимал...» Кому я сказал такую фразу? Именно Джону Гричмару по поводу его картины. И что же? Да он и не обиделся, он рассмеялся. Формалистическая скучища, напичканная Фрейдом. Однако в фильме одна сцена была поразительная — отец и дочь встречаются в тайном ночном клубе в разных компаниях, дочь не видит отца, и отец наблюдает из полутьмы за ее добровольным стриптизом, потрясенно узнавая, стыдясь, страдая, готовый сойти с ума... Что мне лезет в голову? Опять Молочков? Сидел всегда как замерший в ожидании кузнечик на диване, сама преданность, влюбленность — зачем, зачем ему четыре тысячи? На дачу? Воздух для Сони? Какое имеет значение — на дачу или в сундук. Как душно, нечем дышать было на шоссе. Сейчас направо поворот — и лес. Все пройдет, все забудется в лесу по дороге на дачу. Ни Гричмара, ни Молочкова, ни той женщины на «блошином рынке», ни той счастливой площади в Вене... Какое они имеют отношение ко мне и Ольге? Вернулся из-за границы, не важно, здоров ли, доволен ли, но обласкан Западом... Так ведь? Хочу забыть, не хочу помнить многое. «Когда я просыпался, то понимал...» Она замучила меня, эта фраза. Ее надо забыть. И Джон Гричмар тоже забыт

с ошеломляющей сценой в его фильме, и Париж с его пляс Пигаль, и отель с коктейлями в баре. И Балабанов с багровеющим лицом, и неподкупный Пескарев с его костылями, и работники студии в коридорах со своим жалким злорадством. Да не они жалки, а я сам и то, что было прошлой ночью... Только одно было тогда страшным — холод Ольги и мое одиночество. Но куда я мчусь и зачем? Куда свернуть? Где лес?»

Жгучее пекло на шоссе, скользящий блеск, удары мушек в стекло, накаленный ветер, вонь размякшего асфальта, выхлопных газов — бесконечная кольцевая вроде бы сразу и навсегда кончилась, едва машина свернула в лес, на узкую, испещренную пятнами солнца дорогу, где мягко подуло в окна прохладой и нижние ветви елей освежающими веерами замахали над ветровым стеклом, обдавая то светом, то тенью.

«Все кончено, все позади и кончено. Моя машина — моя крепость, мое убежище и прибежище, прибежище от всех бед,— подумал с иронией Крымов, силясь наслаждаться прохладой, лесным воздухом, и тут вспомнил фразу любимого Толстого из дневников девятисотого года — прекрасную фразу надежды: «Если буду жив. Живу и пишу. Как будто несколько бодрее себя чувствую».— Да, бодрее, бодрее. Все великолепно. Все чудесно. Все отлично. Если буду жив...»

И не понимая, что с ним происходит, Крымов почувствовал, как подступают, горячо душат его слезы, жаркой пеленой застилают глаза; он стиснул зубы и неумело заплакал от смертной усталости, от тоски, глотая рыдания, опуская голову, как будто кто мог услышать, увидеть его в машине, подглядеть его слабость, которую он ненавидел в других и которую так сладостно и горько познал сейчас

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Это было огромное, напоминающее спортивный зал помещение со стеклянными звуконепроницаемыми стенами — посередине чудовищным сооружением темнела металлическая гильотина, сверкая косым острием поднятого ножа, с выемкой ложа внизу, куда обреченный должен был положить голову, перед тем как освобожденный бритва-нож упадет на подставленную шею, разрубая позвонки.

Он уже предчувствовал огненный ожог боли, свой последний немой крик с закрытым ртом и видел собственное обезглавленное тело, кровь, мертвую голову, крутящуюся в корзине. И от этого последнего, неумолимого, что предстояло ему, окатывало ужасом и леденели волосы на затылке, подкатывала тошнота.

Какие-то тени проступали в камере, одна стена которой была подобна широкой двери в сторону стеклянного помещения, на этих тенях жестко скрипели ремни, а безликие лица были учтивы, добры, изъявляли дозволенную законом расположенность к нему перед последними минутами его жизни. Они, тени, что-то ненадоедливо делали по углам, несуетливо ждали. Кто-то спросил спокойным белым голосом, желает ли он выкурить сигарету, и он весь встрепенулся, окончательно сознавая, что вот оно, прощальное удовольствие на земле, что ему (ведь еще в детстве читал и знал про это!) разрешают исполнить последнее желание приговоренного к казни. Он понимал всю бессмысленность того, что ему предлагали, понимал — все, что он должен сделать или не сделать, ничто не имело значения — и сказал тупо, еле шевеля коснеющим языком: «Да». Ему подали зажженную сигарету, приторно-терпкий дым одурманил его, и мгновенно закружилась голова. Стеклянный зал, стены, темное сооружение с косым ножом вверху, приготовленным для него орудием смерти, поплыли в белесом туманце, и слабость облила липкой испариной. Он тяжело одурел, едва не потерял сознание, опершись грудью и руками на какой-то стол, вокруг которого двигалось и кружилось смутное, белое. И в этом белом не исчезали, присутствовали безмолвные тени, одна из них неощутимо вынула из его рта сигарету, вкус и запах табака исчезли, стало легче, белое рассеивалось в камере, и опять ласковая тень вкрадчиво спросила его, не желает ли он стакан красного вина, и если желает, то пить следует медленно, иначе не будет удовольствия... Испытав тяжелый дурман сигареты, он хотел отказаться от стакана вина («Почему стакан, а не бокал?»): в одурении сигаретным дымом был ядовито-приторный порочный привкус наркотика, этот наркотический привкус мог быть и у красного вина, которое он не любил в другой, свободной жизни. Но глоток теплой красной жидкости из стакана, незаметно поднесенного, вложенного в его руки неотступающей тенью, влился в горло вяжущей густотой и имел цвет человеческой крови, он поморщился, почувствовав ее солоноватый вкус и вместе хмельную прият-

ность когда-то испробованного во Франции сухого красного вина.

«Чьей силе я подчиняюсь, почему я соглашаюсь с ними? И почему на тенях надеты ремни?.. Кто меня заставляет? Меня никто не насилует, не настаивает. Ведь ничто уже не имеет смысла, через несколько минут меня не станет».

Странно было и то, что он не ответил отказом, возмущением, криком, когда бесплотный голос нежно спросил его, желает ли он увидеть женщину, и тотчас возникла в камере тонкая сильная фигура женщины. Она вошла вся в прозрачном, волнисто покачивая бедрами, а когда приблизилась той же покачивающейся спутанной походкой, сквозь бесстыдное одеяние молодо, доступно и грешно обозначились крупные литые груди с коричневыми сосками, изгиб стана, живот, стройные ноги.

«Бессмысленно»,— толкалось в его сознании, и хотелось забиться в угол, вдавиться в стену, отрицая и проклиная работу сознания, которое отчетливо воспринимало происходившее в камере и одновременно упорно и веско повторяло: «Бессмысленно все, что не повторится завтра. Бессмысленно все, что завтра не будет чувствоваться тобой. Надежда — в повторении. Нет надежды — смерть. Смерть почти все существующее делает бессмысленным. Остается одно: перешагнуть туда через боль и отчаяние... А там будет смысл или не будет? О, если бы там был смысл! Смысл — это жизнь, вернее, не исчезновение навечно. Существование в другой форме — телесной или бестелесной, только бы не пропасть, не исчезнуть бесследно, не превратиться в ничто. А почему, господи? Почему я боюсь исчезнуть навсегда? Может быть, в этом и есть великая справедливость — исчезнуть, раствориться, то есть не чувствовать после исчезновения ничего? Жизнь — ощущения жизни. И значит, желания. Пустота, когда их нет. Смерть — темнота, провал, нескончаемый полет куда-то. Если бы было так — ощущение бесконечного плавного полета в темноту. Но это жизнь, жизнь. Быть пылинкой в мироздании. Стать пылинкой... Я верю и не верю. Больше — не верю. Что чувствовала она в последние минуты? Подумала ли она обо мне, как я подумал о ней сейчас? Нет, это не была любовь, было что-то другое. Значит, я жалею и помню ее до сих пор. Разве все случилось со мной из-за нее? И — гильотина? И кто меня осудил на казнь? Я совершил преступление? Только в одном, как я помню: мне нужно было повернуть руль вправо, чуть-

чуть вправо, к обочине, а я повернул его влево... Почему руль не был послушен мне? И почему в голове мелькнули фразы, сказанные кем-то во сне: «И ничего — и ни единого шага. И ничего — и ни единого смысла»? Я хотел поиграть с судьбой?.. И какими прекрасными показались эти чужие фразы, обещающие отдых, покой, блаженство вечерней тишины. Фразы, произнесенные кем-то в тот момент, когда навстречу неслось грохочущее, дымящее...»

«И это со мной было?»

Прошлой ночью он проснулся от беспричинного страха и, задыхаясь, лежал в поту, в оцепенении, а страх заполнял холодом его всего, сбивал дыхание спешащими ударами сердца, сдавливал тоской, отпускал на миг и вновь разрастался беспричинный ужас перед чем-то последним, роковым... И он, мотая головой на подушке, ожидал и уже торопил крайнюю секунду, когда разорвется сердце и прекратится все, но сердце не разрывалось, не останавливалось, и мука пытающими зубьями, колючками льда вонзалась в него. «Скорее бы кончалась ночь, я не вынесу этого»,— говорил он себе, глядя в темноту комнаты, в ту сторону, где должны быть окна, и вдруг явственно почувствовал, что дом уходит, опускается, скользит под землю, в раздвигающуюся бездну и чернота с хрустом смыкается над ним многометровой толщей, сгущается, стискивает, давит на крышу, на стены, на двери («Вот так, вот так ушли недавно под землю два отеля в Калифорнии!»),— и в этом всасывающем падении, в душной подземельной тьме невозможно было позвать на помощь по телефону с оборванными проводами, в то время как он знал, что неотвратимое наступило, пришло, настал срок, что в закупоренной темноте провалившегося дома сейчас все кончится и он не успеет найти, спасти ни жену, ни дочь, которые были где-то здесь, в соседних комнатах. И напрягаясь, он крикнул, позвал их, но из груди выполз жалкий сип: «Оля... Таня...»

«Это конец, конец,— думал он, наполовину вынырнув из кошмара.— Я осознаю свою гибель, прощаюсь с самим собой, с женой, с дочерью и представляю, какие муки испытывали заживо погребенные, приходя в сознание среди непробиваемой тьмы с запахом гробовых досок и могильной сырости... Что испытал с его болезненным, тончайшим воображением там, под землей, Гоголь, труп которого при вскрытии могилы был найден, как говорят, перевернутым? Он сошел с ума? Я тоже схожу с ума, потому что теперь не

сомневаюсь: все, все, что делал, что любил, исчезнет вместе со мной. Так, может быть, ложь — спасение? Да, самая правдивая правда становится бессмысленной, если исчезнет кем-то внушенная человеку ложь о непрерывности его жизни. И мы все подчинены спасительной лжи. Это великий обман, чудодейственный обман о бесконечности дней на земле и бесконечности удовольствия жить, что выше всех правд, ибо держит нас в надежде делать что-то... Может быть, правда живет под защитной крышей лжи? Неужели она только жилец, постоялец, снимающий комнату в доме великой лжи, которая от рождения внушает всем нам: может быть, ты и не умрешь... по крайней мере, с тобой это случится гораздо позже, чем с другими, а может, и не случится?..— продолжал думать он, радуясь в полусне этому оправданию человеческих деяний и страданий.— Самая чистая правда не имеет никакого значения перед великим обманом, которого хотят сами люди. Не было бы той лжи — и не увидел бы я ни застывших в небе верхушек берез, ни той царственной звезды, как было вчера. Значит, жизнь — спектакль, сценарий, в котором действуют, двигаются, чего-то желают герои, не думая, не желая думать о том, что неизбежно задернется занавес. И я должен видеть этих героев, чтобы понять свой спектакль в душе. Игра? О чем я? Имею ли я право так думать? Да, значит, и меня делает иногда в меру счастливым, в меру довольным никем не победимая ложь о бесконечности моей жизни?.. Я нарушаю что-то, я переступаю запретную грань, за которой тайна тайн вечности и тайна непостижимого человеческого бытия... Страх перед смертью исчезнет, когда будет найден и осознан смысл жизни. Но думают ли об этом люди всерьез? И знаю ли я этот смысл?.. Но куда мы проваливаемся? В какую пропасть летит наш дом?»

И Крымов очнулся в тумане сна, приподнялся на постели, с мгновенным облегчением слыша скрипящее трезвое тиканье будильника,— в кабинете светлел воздух, и, чудилось, во всем мире стояла тишина летней ночи, прохлада вливалась в открытое окно, омывая ему потную грудь. Он на ощупь зажег в изголовье дивана свет, ударивший в глаза изобильной яркостью, и тотчас выключил его.

Еще во власти сна, он до последнего слова вспомнил вчерашний разговор с Ольгой в ее комнате, этюд, прислоненный к стене, струистый след звезды в вечерней воде, увиденный им с моста и на ее пейзаже. «Какое удиви-

тельное совпадение! Мы одновременно увидели одну и ту же звезду. Какая же связь между этой звездой и моим кошмарным сном? Между звездой и ложью... Да что там доискиваться какой-то мистической связи! Я обманул в чем-то и Ольгу и Таню, любя их без памяти. Но так ли? А можно ли было иначе? Грешен, жалок во всем!»

И Крымов то зажигал свет, тщетно принимаясь читать, то снова гасил, тер грудь, глотал воздух, подставляя лицо ветерку из окна, где в саду перед рассветом было немо, безразлично, пустынно. Шершавый холод знобил, сжимал его тоской, и задыхалось сердце в предчувствии, что сейчас в мире произойдет нечто глобальное, страшное — Земля столкнется с гигантским астероидом, остановится в черноте Вселенной; и чудилось, что в эту минуту умер кто-то из близких, случилось несчастье с детьми,— и тогда он привставал в постели, сидел, глядя на раздернутые занавески, за которыми еще была ночь, равнодушная, медленная, ничем не помогающая ему, и молил эту ночь, чтобы она скорее кончилась, иначе он сойдет с ума от одиночества, от необъяснимого страха, от предчувствия беды.

В соседней комнате спала Ольга, и надо было сделать усилие, перестать думать о том, что мучило его, не давало ответов, заставить себя найти меру спокойствия и войти к ней, лечь рядом, поцеловать ее сонную, едва отвечающую своей стеснительной ровной нежностью.

«Ты знаешь, в моем возрасте глупо говорить это, но я люблю тебя, как и двадцать лет назад»,— начал он повторять пришедшую в голову фразу, которую должен был сказать ей, но точно бы пошлостью обволакивалась заранее эта непроизнесенная фраза, и он отбросил ее, понимая, что пришло чужое, не его, что после таких слов он не сможет взглянуть в ее тихо упрекающие бархатные глаза.

И вспомнилось: вчера у нее было такое выражение глаз, будто она ждала какого-то слова, ждала некоего примирения, хотя не было между ними той явной размолвки, что нуждалась бы в мире. Ольга не была создана для семейных ссор и никогда не выказывала самолюбивого желания победы над ним. Она и вчера упрекнула его не словами, а незавершенной улыбкой, и от этого было еще тяжелее думать о ее безгрешности, о своей вине перед ней.

«Оля, что бы ни было, ты не должна не верить мне»,— нашел он наконец слова и, вновь отбрасывая эту оправдательную фразу, не зная, что делать с собой в бессонном

одиночестве, нерешительно вошел в ее комнату, постоял в сероватой темноте возле Ольгиной постели и осторожно лег с краю, пересохшими губами коснулся ее оголенного плеча, показавшегося очень теплым, детским, незащищенным.

— Оля,— сказал он беззвучно,— прости меня...

— Я не понимаю, зачем ты меня разбудил,— вдруг сказала она, не поворачиваясь, отчетливым голосом, поразившим его раздражением и холодностью.— Я не спала ночь. Я только заснула. Господи,— прошептала она с мольбой,— зачем я вышла за тебя замуж? Мне нужен был обыкновенный человек... Что же нам делать теперь, Вячеслав? Разойтись?

— Я бы мог тебя освободить, Оля, если б не любил,— проговорил он хрипло.— Поступай как лучше.

— Умоляю, уйди, пожалуйста. Я не вынесу...

В кабинете он упал на диван и, чтобы хоть немного успокоиться, потянул с тумбочки дневники Толстого, но текст не воспринимался им, выглядел слепым в недвижном свете ночника. Он не сумел прочитать ни строчки, смотрел на освещенную страницу и неизвестно почему ждал телефонного звонка, оповещающего о несчастье,— внезапного запредельного сигнала. Но весь дом молчал, вне времени, одномерно и трезво постукивали часы, ни одного звука не доходило из комнаты Ольги. Мертвый безлунный сон витал над миром, и дальняя неясная мысль тихонько шептала, что он обязательно должен заснуть — в этом спасение. И думая, что вот-вот наступит предел и освобождение из тисков бесконечной ночи, он, лежа на спине, начинал массировать грудь, глубоко дышать, считая до ста, потом гасил свет, закрывал глаза — и тут из тьмы на мохнатых лапах опять подходил к постели беспричинный страх, все тело напрягалось, и необоримая тоска безысходности гнала его встать, одеться и сию минуту бежать по аллеям поселка куда глаза глядят, бежать на край земли... Но это было бы уже безумием.

В ту ночь он понял, что одинок до конца дней своих и никто помочь ему не сможет.

«Откуда эти голоса? И почему-то я слышу их так явно, так близко, что различаю нерусский акцент. Кто говорил с таким резким знакомым акцентом? Это мой друг... его имя вертится у меня в голове, но не могу вспомнить...»

— Надо думать уже о земле, думать, думать как бешеным...

«О земле? А о человеке? Что земля без человека? Для чего она? Для кого она?»

— Смотреть на огонь, на воду, на землю в миллиард раз интересней, чем на экран и в телевизор. Как это сказать? Жизнь подменяют игрушкой, нет... игрой в жизнь. Весь мир играет в дешевую красоту. Дураки и самоубийцы. Там у меня в мастерской... то есть в кабинете, только воробьи и все другие хорошие птицы в окна чирикают. Летом в три часа спать нельзя — концерт. И птиц погубят. В музее будем смотреть на воробья. Как на птеродактиля.

«Какая горечь, какая тоска, какая злость в его словах!»

— Сейчас родится человек с нечеловеческой диспозицией. Без интеллекта. Человек-машина второго сорта. Он играет с деньгами и вещами, а сердце летит та-ак...

«Что значит «та-ак»? Кажется, тут был смысл вот какой — сердце не было в согласии с этой диспозицией. Люди поддались всеобщим соблазнам и перестали жить в согласии с собой».

— Дети, дети... Может быть, они идут по спинам отцов.

«Кто? Нет, не просто дети. Дети человечества? Дети всего мира? Что ж, в этом вечная и страшная правда...»

— Человек не виноват в том, когда и где он родился и как родился... Пока есть лицо, речь, руки — это симфония. Плохая, но музыка. Американцы хотят видеть человечество в операционном зале. Кричат о моральном превосходстве над остальными, а сами страшные хирурги... мечтают превратить в дураков весь мир. Американцы — это проклятие Европы, а когда они уйдут, европейцы договорятся. Сейчас много людей с международными глазами. («Международными глазами... Что значит это?»)

— Мы плохому учимся у вас, вы плохому учитесь у нас. У нас и у вас от этого будут сначала головы болеть. Мы будем кричать от боли и не сможем думать. Мы все убийцы и самоубийцы. С завязанными глазами убиваем друг друга. И себя. Вспарываем вены себе, а думаем, что убиваем соседа. Глупцы с надутой грудью. Достоевский говорил: красивое, как это... красота будет спасать мир. Не так. Женщины спасут, если он не взорвется в восемьдесят восьмом году. Женщины, верные земле, как собаки. Мужчины предали землю, изнасиловали ее цивилизацией. Женщины сделают то, чего не ожидают сами. Им надоели безмозглые мужчины-политики, которые придумали войну

и эмансипацию. Женщины не ангелы... Если бы женщины были ангелами, то мы их не захотели бы. Женщины — просто женщины. Они продолжают человечество...

Где происходил этот разговор? Да, да, они сидели перед очередным просмотром в фойе кинозала слегка хмельные от выпитого виски, и умные свиные глазки Гричмара светились устало, грустно.

«Оля не спасла меня, хотя я не политик, а она не просто женщина... Но когда и где все это было — в каком веке, в каком мире? Я стал забывать... Кажется, пятьдесят седьмой год, под Москвой? Она рвала стручки на ветке акации, легкая юбка подымалась, обнажая ее полные колени, нежное утолщение бедер, и это сводило меня с ума... Она была единственной женщиной, которая тянула меня к себе до беспамятства своей прохладной покорной близостью, напоминающей свежие апрельские вечера с прелестью тихого сиреневого воздуха...»

«Может быть, эта боль — возвращение к самому себе? Спасение в том, чтобы вернуться назад, очиститься? Да ведь позади пустота, ничего не было — ни войны, ни любви, ни фильмов, ничего не было. Неужели я вернулся к тем святым и чистым минутам своего рождения на свет, когда еще ничего постыдного не было?.. Неправда, главное было. Моему рождению предшествовала любовь отца и матери. Неужели я вернулся к тому началу, к той любви, которой обязан всем, к своему благословенному детству? А что было потом в моей молодости?

Война, риск, награды и вместе постоянная мысль о том, чтобы выжить, а иногда в гибельные минуты мерзкое желание, чтобы легко ранило в руку или в ногу, и мечта попасть в госпиталь, отлежаться, отдышаться в тылу хотя бы полмесяца... А я считался чуть ли не самым храбрым лейтенантом в разведке. Мне было двадцать лет. Зачем я прострелил ему руку? Жалость? Хотел избавиться от него? От его страха? Чего я хотел всю жизнь? Удовлетворения честолюбия, хотел любви, хвалы людей, их восторга, их слез? Как ничтожно, как непростительно... Невозможно многое вспомнить без стыда, без отвращения к самому себе. И что была моя жизнь — дурман или естественное состояние? Но иначе я ее прожить не мог. И редко кто возвращается к детской чистоте. Если бы можно было... Что

со мной случилось? Сколько мне лет? Гораздо больше пятидесяти... В то же время и двадцать, и сорок... И все-таки это я лежу на том столе в стерильно белом окружении кафеля... Но что они делают со мной? И почему я плыву в воздухе над белизной стола и вижу себя сверху, и непонятно, для чего же она наклонилась надо мной, моленькая медсестра, я вижу ее молодой лоб, ресницы, и она касается губами моих губ. Для чего она делает мне искусственное дыхание? А я уже не хочу возвращаться... где-то ждет меня, зовет и обещает покойное, радостное, как ясный весенний вечер, как золотистый закат на вершинах берез... и благостная растворенность во всем. Я плыву по воздуху к этой закатной тишине, к этому покою, и нет боли, и нет той непереносимой тоски. И я хорошо вижу Ольгу; она в каком-то бедном сереньком костюме сидит в коридоре, ожидая последнего, что должно случиться со мной, и неслышно плачет. Значит, она любила меня и еще любит?.. И любимая моя дочь, моя радость Таня уткнулась ей в плечо и вся замерла, а капельки слез катятся из ее глаз. Почему-то Валентина нет с ними. И добрый мой друг Стишов стоит у окна, заложив руки за спину, и кривится, и кусает губу. Милые мои, не надо этого! Я не могу вам ничего сказать. Не могу прикоснуться к вам, успокоить. Но у меня уже нет желания жить...»

И в эту секунду ему представилось, что они с Ольгой пообедали в маленьком, совсем безлюдном, почти без официантов ресторане, где на пустых столах лежали накрахмаленные толстые салфетки и пугающие, огромные карты-меню, и одни вышли на воздух немыслимо крошечного городка. Солнце перед закатом грустно золотило каменные стены узеньких, чисто выметенных из конца в конец, пустынных улиц, и ему почудилось, что северный русский городок этот не на земле, а в царстве светлой печали, вечного молчания, а когда подошли к парапету в конце улочки, где тоже не было ни одной живой души, внизу открылась долина, и глубоко в долине текла река, уходила в красноватый туман на горизонте, извиваясь, блестя вдали, как на краю света в ущелье, как перед обрывом во врата рая, а там, над невидимыми вратами, стояло низкое солнце, туманными брызгами серебрилось в воде, и всюду была легкая тишина, желтизна осени, дул мягкий, бесшумный осенний ветер... Потом одиноко прошла баржа по розовой воде без единого звука, без волны, казалось, без людей, без команды и растаяла на краю света призрачной тенью.

И тогда ему подумалось, что все люди не бессмертны, и он сказал Ольге шутливо:

— Я не хочу, чтобы ты пережила меня. Тебе будет плохо. Мы должны вместе.

— Я тоже не хочу после... Я ведь люблю тебя, дурака моего ужасного...

Он вспомнил об этом в тот миг, когда ровный широкий поток высокого воздуха, пахнущего прелой листвой, винной сыростью осенних лесов, плавно вынес его над ущельем, над вратами рая, где прощально, успокоительно светило солнце в предвечерней воде северной реки и где впереди лежал в сиреневой безграничности безымянный океан, манящий теплом, покоем, благостью, обещанием вечного душевного спокойствия.

Потом он увидел песок, сахарно-белый, насквозь прогретый, в котором по щиколотку блаженно утопали босые ноги, увидел себя одного-единственного на берегу океана, упорно шагающего в бесконечность. Скоро он услышал волнообразную, неземную музыку, она воздушным пареньем текла из девственно зеленеющего тропического леса, счастливо рождаясь где-то в глубинных чащах, затем увидел на изумрудной траве солнечные полосы меж гигантских деревьев, и доплыл до него чей-то ласковый спрашивающий голос, не имеющий звуковой плоти:

«Кто ты? Как ты оказался здесь? Как твое имя?»

И он хотел упасть на колени, ответить, что потерял надежду, разочаровался в людях и, разочаровавшись, переступил, нарушил что-то, подобно своему другу Джону Гричмару, возненавидевшему человечество за его лживую цивилизацию, однако не Гричмар, а он был неискупимо виноват, и попытался вспомнить и назвать собственное имя. Но только вспомнил, что пришел сюда из далекой страны синего неба, тонких голубых теней на мартовских сугробах, испещренных капелью, куда вдруг потянуло вернуться от этой жемчужной беспредельности океана, где вокруг было мертво, неподвижно, вернуться назад, в оставленную страну синевы и весенней капели, со страстным желанием опять увидеть, испытать, ощутить все то земное, что приносило нестерпимую боль, называемую на том языке болью жизни. А тот же ласковый голос без звуковой плоти стал убеждать и внушать ему, что он совершает путь возвращения к самому себе, к первоначальной чистоте, что он такой, как многие, жившие на земле, что он часть целого и теперь не имеет значения, за-

блуждался он или не заблуждался, ибо царство добра знает предел, проявление зла предела не знает.

«Да куда же я иду? Какая неземная печаль в этом пустынном блаженстве!.. Опять бы туда, назад, к той боли, к Ольге с ее тихими глазами, к смешливой моей Тане, к Балабанову, к Молочкову, ко всем грешным и, в общем-то, несчастным, туда, туда, к ним! Но как твое имя? Кто ты? Вспомни! Как ты оказался здесь?»

Но вспомнить свое имя он уже не смог, как не смог почувствовать навсегда ушедшую боль и в последние секунды понять, почему возникли среди летней травы на бугре распахнутые ворота древнего каменного монастыря, залитого полуденным солнцем, виденного им когда-то на Севере, и почему появилась высокая монашка, вся в черном, траурном, мучительно знакомая родным взглядом бархатных глаз, с белым платом на черной шапочке, с мокрым от слез лицом, которая шла ему навстречу в сопровождении худого и изможденного протопопа Аввакума, в смертельной тоске прижимая к груди молитвенно сложенные руки.

1981—1984

МГНОВЕНИЯ

МИНИАТЮРЫ

РЕВНОСТЬ

Он стоял у окна и, хмурясь, смотрел на струи дождя, стекавшие по стеклу. Изредка влажный шум проходил по вершинам уличных тополей, ветер бросал в стекла мокрые листья, крупные капли стучали по железу карниза, и лужи на асфальте морщились, вытягивались косяками.

— Осенняя глупость и «мадам, уже падают листья»,— сказал он раздраженно.— А завтра мне лететь в этот обиженный богом Киренск! Просто несравненное наслаждение. Опять сапоги, грязь, тайга, сырой капюшон. Надоело, представь себе, мотаться туда-сюда, ибо не двадцать лет и даже не сорок. Словом — не мальчик...

Она подошла сзади, с неопределенной улыбкой глядя на его седеющий затылок, спросила вполголоса:

— В Иркутске у тебя, конечно, пересадка?

— Да, к великому сожалению. Как известно, прямого рейса до Киренска нет.

— Ты хотел сказать «к радости», а не к сожалению. Наверно, ты оговорился, родненький?

— Нет, я сказал именно: к сожалению, родненькая. Но что такое? Ты — опять?

— В Иркутске ты встретишься с ней?

Он повернулся с досадой.

— О чем ты? С кем «с ней»?

— Не притворяйся, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, с кем.

— Это просто казнь инквизиторская. Ты меня ревнуешь, не знаю к кому. В твоем воображении постоянно возникают какие-то мифические женщины. Ради бога, хоть перед отъездом не надо фантазий!

Она прикрыла ладонями лицо и, помолчав, сказала наигранно-весело:

— Задумался ли ты хоть раз, что я целую жизнь прожила впустую? Ведь все свое время я отдала тебе и детям. А надо ли было идти на такую жертву?

— Ну вот, начинается семейная сцена, акт первый... О чем ты?

— Все о том же, все о том же, милый муж. Нет, это не театр. Вся моя жизнь прошла в сплошных мелочах. Магазины, кухня, прачечная, накормить тебя и детей, прибрать квартиру, проводить утром, встретить вечером. Мелочи, мелочи, мелочи. И так ушла молодость. Дети стали взрослыми, разъехались, ты занят самим собой, своей геологией, своей Сибирью. И осталась я совсем одна, бедненькая женщина, привычный интерьер твоей квартиры, твоя удобная московская любовница... Нет, нет, домашняя возлюбленная, пожалуй.

Он взял ее за плечи, подавляя раздражение, заглянул в глаза.

— Ну, к чему ты перед моим отъездом говоришь колкости? Мне и так не по себе, ехать не хочется, а еще ты... И тебя не хочется оставлять одну. Не можешь представить, как мне надоели эти рейсы, самолеты, местные аэропорты, провинциальные гостиницы!..

Она высвободилась из его рук, усмехнулась.

— Пожалуйста, не притворяйся. И не обманывай меня. Не хотела тебе говорить, но прости меня великодушно, среди поздравительных телеграмм в день твоего рождения я видела и *ее* телеграмму. Не понимаю, как у нее хватило дерзости написать одно слово «целую» и не поставить подписи?

— Ты уверена, что эта телеграмма была от «нее»?

— Я видела обратный адрес: Иркутск.

— Прошу тебя, перестань. Я люблю одну тебя — и больше никого. Ты можешь, наконец, в это поверить?

— Ой, какая сентиментальность! Я сейчас зарыдаю, и ты — тоже. Будем вместе рыдать от переизбытка чувств. Идиллия. Голубиная симфония. Тристан и Изольда.

— Я прошу тебя — не смейся над святым. Пойми, мы не молоды, и это единственное, что у нас осталось...

Она с притворной нежностью погладила пальцами его подбородок.

— Знаешь, о чем я вспомнила? Помнишь, как в пятьдесят первом году я встретила тебя с ней? Тогда мы поссорились, и ты ушел к ней... к своей первой школьной любви... нет, скорее, любови, если вспомнить твой солдатский лексикон тех лет. Назло мне, правда? Я возвращалась

тогда из архитектурного института, перед вступительными экзаменами, и мы встретились на углу Якиманки. До сих пор помню: ты был в каком-то полосатом пиджачке, наверно, американском, купленном на Тишинке, держал ее под руку, медово улыбался, что-то говорил, волосы были прилизаны, ордена звенели. А она гордо, как королева, шла рядом и своими каблучками прямо-таки в асфальт ввинчивалась. Она всегда играла манерную женственность. Противно до отвращения. До тошноты, если хочешь!

— Как ты всегда преувеличиваешь. Смысл-то в этом сейчас какой?

Она, бледнея, четко сказала:

— А смысл тот, милый мой, что твое предательство меня тогда удивило, потрясло! Я, как дуреха... действительно была дуреха, прорыдала всю ночь, а утром с треском провалилась на первом экзамене и совсем перестала сдавать. Вот почему я не поступила в архитектурный, а пошла на курсы иностранных языков. Да и курсы ты мне не дал закончить, потому что родилась дочь...

— Я, по-видимому, и впрямь виноват перед тобой. Но ты напрасно вспоминаешь то, что было тридцать лет назад. Очень жаль, конечно, что ты не поступила в архитектурный институт. И все-таки виновата и ты. У тебя не хватило настойчивости и желания поступить...

— Да, да, да, настойчивости и желания,— закивала она насмешливо.— И ты в Иркутске встретишься с ней? И снова меня предашь, ту, у которой нет настойчивости?

Он даже зажмурился, покачал головой.

— Умоляю тебя, не смейся над этим. Поверь: ее нет в Иркутске. Я даже не знаю, где она живет сейчас. Она замужем. У нее двое детей.

Она опять закрыла лицо ладонями, прошептала:

— Я смеюсь над собой. Над тобой. Над прошлым. Не умею жалобно плакать, поэтому смеюсь. Дурочка глупенькая!

Он сказал насколько мог ласково:

— Почему же ты мне не веришь? Я не подавал никакого повода... Ну, поцелуй меня, я не хочу вспоминать прошлое и не хочу ссориться. Ведь я уезжаю на два месяца. Два месяца без тебя...

— Ты хотел сказать, что будешь скучать? Неужели? Вот как?

И она заставила себя улыбнуться, но не поцеловала, а сомкнутыми губами прикоснулась к его губам, как бы показывая этим холодком, что должна бы, но не может

поверить ему, поэтому вынуждена пойти сейчас только на перемирие или временно сдаться в плен его ласковой лжи.

Потом, ночью, после, казалось, примирительной близости он заснул, а она в отчуждении и привычном одиночестве тихонько лежала рядом с ним, сдерживая стон неутолимой боли, мучившей ее много лет, и терлась лицом о подушку, вытирая слезы.

«ЗНАЛ ЛИ Я ЕЕ В ЮНОСТИ?»

Она была в каком-то черном, шелестящем, как кольчуга, одеянии, жесткую колючесть которого я ощущал. Она целовала меня, а я смутно видел ее бледность, черную прядку волос на виске, но черты лица, когда она поворачивалась ко мне, будто бы ласково, влюбленно улыбаясь, были нечетки.

Мы шли по незнакомой улице старого Замоскворечья, и было, наверное, время к вечеру, вокруг темнело, в сумерках размыто и молчаливо стояли дома, а она говорила, что нам надо уехать куда-то в древний русский городок, чтобы никто там нас не знал, пожить несколько дней в маленькой провинциальной гостинице вдвоем... Я шел рядом, чувствовал ее нежные губы, вкрадчивый шелест ее черного колючего платья на теплом упругом бедре (похоже, это уже было когда-то в нашей ушедшей юности), воображал, как счастливо буду обнимать ее там, в тайной провинциальной гостинице, как она исступленно будет любить меня в тихом номере с окнами, открытыми в городской парк или сад, пропахший яблоками, как мы будем бродить с ней по ночным улицам этого русского городка мимо полуразрушенных храмов, мимо старых купеческих лабазов на пустынной под луной площади,— представлял эту жизнь вдвоем в тишине и покое и думал, что этого не может быть, что это противоестественно. Я видел ее юной, в пору нашей краткой школьной любви, но сознавал, что сейчас ей было столько же лет, сколько сейчас и мне. Мы уже прожили свою жизнь, и близость между нами казалась невозможной — в ней и во мне жили как бы два возраста, и это безнадежно разъединяло нас и горестно сближало воспоминанием о несбывшемся.

И мы все шли и шли по безлюдной улице, говоря о том, что не свершилось, не сбылось в нашей жизни, а она попрежнему улыбалась и преданно целовала меня, потом, неощутимо придержав за рукав, вдруг приостановилась

и, потупясь, зачем-то начала подниматься по каменным ступеням к стеклянным дверям темной аптеки, каких сейчас не бывает, но какие были в моей и ее молодости. Я видел, как она всходила по ступеням, чуть напрягая спину, чуть покачивая талией, обвитой шелестящей материей, и не понимал, зачем ей нужно в эту аптеку и почему на ней это металлически-жесткое, неприятное, точно змеиная чешуя, платье.

В ее взгляде, в прохладных детских губах была грустная безобманная преданность, овеивавшая и ее и меня ожиданием нескончаемого блаженства в годы нашего беспечного довоенного утра, но теперь я знал, что это наваждение, что я люблю свою жену, не имею права предавать ее, что покорные губы этой девушки и вместе пожилой женщины в черном погубят нас с женой, и убеждал себя не прикасаться к ней, забыть, не думать о ней, боясь ее необоримой, влекущей власти, этого ее траурного платья и этого обещания блаженства, которое никогда еще не испытывал.

Кто же была эта женщина, которая приснилась мне? Знал ли я ее в юности? И почему она была в траурном платье?

ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ

Когда сейчас я оглядываюсь далеко назад, мне кажется, что мой чувственный мир был со мной уже с тех пор, как я помню себя.

И я сознаю, что ничего существенного не произошло в моем восприятии земли, неба, солнца, ничего не изменилось, к примеру, в моем отношении к летней росе, к тихим пятнам осеннего заката на листьях ивняка, северному запаху зимы и медленному новогоднему снегопаду, засыпающему московские переулки.

В мои годы я испытываю почти то же чувство узнавания колдовства красоты, какое было в десять, двенадцать, четырнадцать лет. Тогда с неосознанным ликованием верилось мне в каждодневное и беспечальное повторение земной сказки, действующим лицом которой был и я, верилось в бессмертие всех, кого я любил.

Но впервые увиденная смерть, страшный гробовой запах всего ритуала похорон, первое соприкосновение с непоправимым резко отсекает легковерный период детства, и в некий уголок души вползают страх, отвращение,

ужас, несовместимый с прежней доверчивостью к окружающему. Весь свой век мы оставались бы нерадивыми учениками, плохо выучившими уроки горького и безобразного, если бы нас не бросил на волю случая мудрый учитель — опыт. А опыт — это утрата призрачных детских надежд, потеря близких, разочарование и порой измена истине в страхе перед неправедной силой лукавцев. В накоплении познания некрасоты вместе с неисчезающим (как это ни удивительно!) чувственным, возникшим еще в детстве отношением к природной красоте идет развитие мышления, величественной и скорбной мысли о главном предназначении человека — творить добро — и одновременно о его жалком несовершенстве, слабости, низости, предательстве. Ведь слепо поклоняясь всему модному, новому, человек предает старое, а значит — часто и самого себя.

В наивысшей точке моего душевного опыта навсегда соединились ничем не заменимое чувственное отношение к бесценной нашей земле и мучительные вопросы о загадке человеческого существования.

Вероятно, разница между художником и нехудожником заключается в том, что, скажем, человек практического склада, глядя в сырой сентябрьский вечер на мокрые тополиные листья, распластанные, прибитые дождем к мостовой, на рябящие в свете фонарей лужи, как бы конусами вытянутые под осенним ветром, на острые гвоздики струй, торопливо звенящие по карнизу, увидит не подробности осени, создающие не передаваемое словами настроение, а только нудный осенний дождь в городе, пожалеет о забытом дома зонтике, вспомнит, что прошлая осень была сухой, и вздохнет об ушедшем лете.

Я не сомневаюсь, что благодаря чувственному восприятию, особенно чуткому к настроениям и мотивам красоты, писатель «намечается» еще в детстве, хотя человек, наделенный таким восприятием, может и не стать писателем.

ЧАСЫ БЕЗМОЛВИЯ

В середине августа уезжали из Ниды, уютного приморского городка, располагающего к безделью, лени, бездумным прогулкам по берегу залива, по тихой перед закатами красноватой косе, заполненной рыбаками-любителями, к вечерним прогулкам по пирсу, где загадочно

и зловеще поскрипывали, покачивали мачтами в звездном небе красавицы яхты.

Мы уезжали в Клайпеду, чтобы сесть на утренний поезд. Было пять часов, самое сонное время перед рассветом. В большом санаторском автобусе мы были с женой только вдвоем, и автобус непонятно почему сумасшедше мчался в лесу по пустынному шоссе, а луна высоко стояла над узким между соснами коридором дороги, и лунный свет ходил вправо и влево позади нас по пустым сиденьям.

Я оглядывался на поворотах и ясно видел это явно связанное с нами, какое-то общительное и обнадеживающее скольжение лунного света по пустым сиденьям, легкое движение теней, прикосновение синего воздуха за спиной. Мы молчали. И помню: было чувство грустного безмолвного одиночества, не нарушаемого шумом мотора, неизмеримой тишины ночного мира, смутно мелькающего за голубоватыми стеклами, ощущение вселенской заброшенности в этих литовских лесах, в этой далекой от Москвы предосенней ночи, как будто я очистился от всего пережитого, вернулся к первоистокам и плыл с молодой надеждой в страну всеобщей благодати и радости, омываемой волнами доброты, плыл во вторую жизнь.

Наверное, это были редкостные часы остро осознанной связи и повторяемости всего в мироздании.

ПОСЛЕДНЕЕ

...И чудовищно мощная раскаленная волна взвила меня в поднебесье, я почти ослеп от гигантских полыхающих повсюду молний, почувствовал, что лечу в жарком потоке то ли испаряющейся воды, то ли стремительного вихревого воздуха, злобная всеобнажающая сила на лету сорвала с меня одежду и с головы до ног будто ошпарила кипятком, содравшим живую кожу, как если бы наизнанку вывернуло чулок,— я уже умирал... Предгибельный озноб обливал лицо пронзительным холодом — мне не хватало дыхания, и одновременно меня корежило в невыносимом жару, переворачивало со спины на живот, унося на воздушной подушке, подобной сковороде с кипящим салом. А рядом в рвущейся оранжевой мути что-то бешено обгоняло меня, обдавало свистящими нахлестами, я едва различил нечто красное, темное, лиловое, что сумасшедше уносилось вперед. Я напрягся из последних сил, стараясь понять, что же такое настигло и перегоняло меня сбоку,

и ужаснулся тому, что увидел. Маленькое, в комок сжатое младенческое тело со страшной скоростью вращалось в воздухе розовым колесом, и я успел заметить искривленный криком рот новорожденного, болтающуюся кровавую пуповину. За ним, сверкая, просвистело вытянутое серебристое облако, какое-то скопление блистающих молний — не без труда я понял, что это сверкающее скопище, обогнавшее младенца, было кучей разбитых оконных стекол, среди которых черной неуклюжей громадой кувыркалось, мелькало что-то металлическое, гофрированное, похожее на гармошкообразно сплюснутую автомашину, поразившую меня, как и промчавшийся розовый младенец. И уже не было сомнений, что я сошел с ума или весь мир вокруг сходит с ума, утратив закон земного притяжения.

«Конец! Всему конец!» — ревел чей-то утробный, лохматый, будто из вселенской бездны, голос, он оглушительно трубил, торжествующе-злобно грохотал, а я с тупым отчаянием, с безумной жалостью к погибающей земле увидел внизу, в многокилометровой глубине подо мной, багровые спирали, фиолетовые протуберанцы, текущие в разные стороны реки огня, фонтаны ослепительных пульсаций неземного света, неистовые бури пожаров, обширные взрывы, от которых нескончаемым кипящим пламенем разливались огненные круговороты волн, словно от кидаемых самой Вселенной громадных метеоритов, насмерть раскалывающих землю. Меж этих дьявольских океанов огня, в прорехах адской мглы шевелились, извивались судорогами в невыносимой боли, рассыпались в прах города, на их месте пылали красные пустыни, и над расплавленной землей угольно торчали гнилыми зубами скелеты каких-то башен. А над ними, подхваченный взрывом, вертикально взмывал в небо, распадаясь длинными клочьями пламени, одинокий трамвай, сгорающей ракетой уносился в зенит по вздыбленным рельсам, и были немы и страшны в его окнах силуэты мертвецов и особенно — обезумелое в закостенелой смертельной гримасе лицо вагоновожатого, сплюснутого железными стенками вагона. И как не проявленные до конца фотографии, проступали в глубине, на асфальте шоссейных дорог, тени исчезнувших машин и рядом — другие тени, бестелесные знаки куда-то бежавших и распыленных в движении людей — отпечатки недавней человеческой плоти, навсегда законченной жизни.

А раскаленный поток воздуха нес меня в никуда на своей пекущей тело подушке, и сознание мое постигало, что только один я и в самую секунду катастрофы появившийся на свет младенец еще жили, чтобы подвергнуться самой жестокой казни — погибнуть последними. Но нет, моя плоть тоже молниеносно сгорела на земле, а работало сознание, отделенное от тела, от умершей вместе со всеми плоти. Самым чудовищным было то, что где-то надо мной с вселенским грохотом разваливались миры, вверху бушевали дьявольские бури, изливалась в небе и разбрызгивалась там всепоглощающая лава — это пульсировали, взрывались звезды, рушились планеты, вращалась обезумелой каруселью наша галактика, а внизу безднами чернели, зияли коричневые ямы выпарившихся океанов, и темные извивы превратившихся в пар рек старческими морщинами рассекали круглую обуглившуюся землю умирающую в судорогах агонии.

И с криком ужаса, застрявшим в горле, до конца не очнувшись от смертной безысходности, я проснулся.

«Неужели все это кошмар?— подумал я, еле переводя дыхание, ощупью зажег свет в изголовье, с неверием оглядывая потолок, стены, книжные полки своей комнаты, тихой, мирной, ночной.— Да, я вижу свой кабинет, книги Толстого, Чехова, слава богу, все еще существует...»

И вдруг я ощутил такой голод, что в обморочной слабости даже закружилась голова. Тогда я вышел на кухню, открыл холодильник, дрожащими руками отрезал кусочек колбасы, вожделенно намазал горбушку белой булки сливочным маслом, с наслаждением вдохнув родной и земной запах хлеба...

Потом я долго стоял у запотевшего окна, затопленного черной осенней тьмой с редкими огнями уличных фонарей, и, слушая удары ветра по крышам, думал о том, что эти кошмары стали посещать меня в глухие ночи все чаще.

ЧЕРВЬ

В этот пасмурный день голые березы стояли в тумане, пахло дымком (где-то жгли листья), а я шел по больничному парку, по асфальтовой дорожке облетевшей аллеи и думал о том, что скоро зима, сугробы, декабрьские холода,— и представлялась мне почему-то натопленная изба, ровный жар от печи, запотевшие от самовара оконца и каравай пахучего, еще теплого хлеба на столе.

Но мысли мои текли лениво, сонно, ибо уже две недели давали мне успокоительные лекарства, вызывая нерушимое состояние прямой белой дороги в пустоте, где я иду равномерно, механически, равнодушный ко всему на свете, лишенный остроты недавней боли.

И тут на сыром асфальте меж чернеющих листьев увидел я какой-то слабо шевелящийся шнурок, на который чуть было не наступил, и остановился, не поняв сразу, что задержало мое внимание.

По асфальту полз дождевой червь, энергично подтягивая и распуская свое розовое, свитое из колец игольнообразное тельце, и я поразился его нацеленному, устремленному движению. Он полз, видимо, на левую сторону аллеи, к другому газону, где была такая же, как на правой стороне, осенняя трава, такие же опавшие листья, такая же земля — для чего он полз туда?

И я удивился тому, чему не удивился бы лет пятнадцать назад,— этому дождевому червю, наделенному, по-видимому, неким сознанием, желанием и целью ползти куда-то, хотеть чего-то (может ли хотеть червь?), ведь движение — это уже хотение разума, стремление, выбор или команда инстинкта, отвергающая бессмысленную неподвижность.

«Да что ж это такое? Всюду ищу то, чего не объяснишь»,— подумал я, усмехаясь над этим своим невинным пороком, и вдруг залюбовался разумным совершенством червя, ритмичными сжатиями и разжатиями, плавной гибкостью его остроигольной плоти, почти красноватым ее цветом (почему красноватым, если он, червь, пропускает через себя землю?) — и еще раз убедился в разумности и соразмерности природы. Вспомнились великолепные стихи Державина, строка из них: «Я червь — я бог!» — и возникло сопротивление этой прямой и, как мне показалось, неточной метафоре, унижающей смысл великого прарождения каждого существа в единой цепи творения — полную великого смысла работу природы.

«Странно,— думал я.— Всю жизнь в моем понимании дождевой червь предназначался, пожалуй, только для рыбной ловли, а сейчас я поражаюсь его совершенству и красоте и даже не отрицаю в нем сознания. Что же тогда есть всё вокруг нас? Мы знаем обо всем, наверное, чуть больше, чем этот червь знает о нас».

И я продолжал внимательно смотреть на его передвижение, чувствуя, как двухнедельная апатия, лень и безразличие уходят от меня. А мимо по аллее начали прогу-

ливаться больные, и уже неудобно было стоять посередине асфальтовой дорожки и с серьезным видом таращить глаза на дождевого червя. Они, больные, могли превратно понять меня — о, постоянная условность, мешающая нам жить! Но мне стало неприятно от хинной ухмылки на младенчески толстощеком лице парня, одетого вместо пальто в больничный подпоясанный халат: щекастый, толстоватый парень этот ежедневно встречался мне в столовой. И заметив его ухмылку, я про себя, как новообретенному знакомому, сказал червю: «Ползи, брат, ищи», и, несколько возбужденный, пошел по дорожке в глубину аллеи.

«Как я не понимал этого раньше! — упрекал я себя.— Почему вот здесь, в больнице, червь, случайно увиденный под ногами, вызвал такое чувство, что все мы в мире связаны одной неразрывной цепочкой?..»

Я отошел метров на сто и внезапно с неожиданным беспокойством оглянулся, точно от чужого взгляда, направленного мне в спину.

Младенчески круглолицый парень задержался возле фонарного столба, на том месте, где только что стоял я, и, набычась, пристально глядел себе под ноги. Потом он неуклюже шагнул вперед, сделал слоновьей ногой твистоподобное движение, как если бы раздавливал окурок на асфальте, и, подняв плечи, вразвалку зашагал в противоположную от меня сторону.

И хорошо понимая, что̀ сейчас сделал круглолицый парень, я вспоминал, что его привезли в больницу с почечной коликой (его крики, стоны в палате были много часов слышны в коридоре), но эта его боль, которая в тот день вонзалась во всех нас бедой и сочувствием, представилась сейчас фальшивой, неистинной, даже враждебной мне.

Парень все дальше уходил по аллее гуляющей развалкой, я же подошел к тому месту, где минуту назад увидел дождевого червя.

Там было лохматое мокрое пятно, напоминавшее раздавленную красную смородину.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Ночью шел дождь, стучали капли по стеклу, я просыпался несколько раз в темноте своей больничной палаты, разбуженный тревожно бегущим по карнизу звоном.

А серым утром подуло от окна холодом, я встал с постели и увидел с высоты этажа первый выпавший снег — пышная белизна на крышах флигелей, на дорожках парка была ослепительна, нежна рядом с черными, наполовину побеленными ветвями берез — весь парк сыпал на гулком ноябрьском ветру снежной пылью.

И это черное и белое, осеннее и зимнее, запах холода и косое сверканье снежной пыли, летящей с макушек деревьев, напомнил мне другой снег, другой холод за окном и в зимнем свете утончившееся лицо матери, ставшее странно молодым, почти девичьим от замершей навечно тени полуулыбки в уголках губ, как будто она, прощаясь со мной, увидела что-то тихое, радостное, недоступное никому в нашей суетной и недоброй к ней жизни, и жалела меня, своего единственного сына, и успокаивала: «Не плачь по мне, теперь уже не больно, теперь уже все кончилось...»

Я стоял у окна, кутаясь в халат, дрожа в ознобе. А потом сидел на кровати и думал о том, что хотел бы прожить тот же земной срок, какой был отпущен ей, и закончить свой путь в тот же день, какой стал последним для нее,— чтобы наконец в этом уравняться с чистотой моей недосягаемо святой матери, милосердно и искренне любившей меня и в самую последнюю перед небытием секунду.

СЛУЧИВШЕЕСЯ

Она была девочкой, когда случилось несчастье с отцом. Полусонная, она видела в комнате безголосо рыдающую мать, жалко-неопрятную, в одной ночной сорочке, непричесанную, с отчаянием глядевшую на неподвижную в углу комнаты фигуру отца, уже одетого, только рубашка под пиджаком была еще не застегнута и галстук не повязан. Она видела его бледное, небритое и будто смертное лицо, помнила его молчание, непонятное, тяжелое, и то, как он поцеловал ее колючими ледяными губами и ушел из дома навсегда в сопровождении троих людей, незнакомых, сумрачных, пахнущих влажными плащами.

Еще ничем не защищенная, она лишь ощутила во всем этом какую-то постороннюю силу, беспощадно отобравшую у нее отца, тоненько крикнула тогда: «Папа!..» — лбом прислонилась к стене и плакала так, трясясь, дергая детскими худенькими плечами, икая от страха.

Когда три года спустя она была в пионерском лагере, вызвали мать и сказали ей, что «ваша девочка» странно шепчет, отойдет потихоньку в сторону и шепчет, шепчет бессмысленное.

Это произошло после того, как семье сообщили, что отец умер.

Ей исполнилось шестнадцать лет, и в ней проснулось нечто неудержимое. Она убегала из дома, пропадала до утра, возвращалась вся растерзанная, измятая, будто вываленная с ног до головы в грязи. И жадно жуя хлеб, ходила по кухне, смеялась, целовала воздух и как бы обнимала его, делая движения объятий, привставая на цыпочки, и все шептала что-то неистово ласковое, страстное. Мать узнала: она бегала в парк, встречалась там с группой беспризорных подростков, которые научили ее «взрослой любви» и самым бесстыдным словам.

Сейчас ей за сорок. Она много ест и все время шепчет. В праздники по-особенному оживляется, надевает новое платье, красит губы, глядит в зеркало, нелепо танцует по комнате одна под марши, звучащие по радио, а потом выходит на улицу, радостно сливается с толпой и смеется тихим смехом.

Чрезмерно возбуждают ее скопление людей, торжественная медь духовых оркестров, толпы народа, уличное веселье. Но с той же силой действуют на нее и вид похорон, траурная музыка, скорбные лица людей, черный цвет. Тогда она навзрыд плачет и, не вытирая слез, неудержимо бегущих из ее прозрачных, удивительно светлых, совсем детских глаз, отходит в сторону и, трогая пальцами то место на щеке, куда поцеловал ее когда-то отец, шепчет шепчет...

Что она шепчет? О чем?

ОМЕРТВЕНИЕ ЧУВСТВА

Все эти многомиллионные тиражи журналов типа «Плейбой», «Адам и Ева», все эти издания разнообразных и разномастных «Кэнди», все эти энциклопедии и руководства по сексу и эротике («Кама-Зутра») в лавочках на набережной Сены и в магазинах близ Монмартра, все эти секс-фильмы с девизом «нон стоп», идущие на парижской пляс Пигаль или гамбургском Реепербане, на ночных улицах европейских и американских городов, все эти варианты и вариации извращенной любви, что за три марки

можно наблюдать в окошечки на Сан-Паули,— все это, пошлое, тошнотное, оголенное, говорит, что бог любви и ее великой тайны предан людьми и покинул их, оставив им в наказание одну физиологическую сторону, унизительную технологию больного воображения, одно механическое удовольствие. А это не приносит радости, ибо лишено главного — подлинного чувства и нелегкого завоевания предмета любви. Утрачивается здоровье самого сильного влечения рода человеческого, обретена роковая болезнь цивилизации — омертвение чувства.

ПОЖАЛЕЛ

— А вы не смейтесь, анекдоты я не рассказываю, не люблю этого дела. О чем говорю — в жизни было. Возвращаюсь после собрания, темнотища, конечно, хоть глаз выколи, собаки лают, ветер через заборы брехи носит — одно слово: распрекрасная осень в наших краях. Иду впотьмах, думаю, как бы ноги в канавах не переломать, и тут вижу — впереди на площади фонарь горит и кто-то под фонарем на своих собственных четырех ползает, мычит, сопит, как охренелый боров, вроде позапрошлый снег ищет, и бровями землю бодает. Подхожу, смотрю — дело понятное: бухгалтер наш Иван Сазонович Бирюков на четвереньках туда-сюда передвигается, а лысина под фонарем как бубен блестит. Правда, не большой он был любитель горячительных напитков, но... по большим праздникам грешил. «Ну, чего,— спрашиваю,— землю руками щупаешь, Сазоныч? И долго ты путешествуешь так?» — «Друг сердечный,— отвечает,— я себя с ног до головы опозорил, как теперь мне жить,— говорит,— как жить теперь?» И белугой заревел, аж вся рожа перекосилась. «Растрата?» — спрашиваю. «Она»,— говорит. «Так чего же ты, такой-сякой, тут под фонарем раком ползаешь?» — «А кто ж,— говорит,— меня в темноте увидит и пожалеет, горемычного. Тюрьма мне теперь». Во, силен, академик! Многих видал я хитроумных, а этот себя обхитрить хотел! Привел я его домой, посадил на крыльцо, спрашиваю: «Как случилось? И много ты растратил, Сазоныч?» — «Чего растратил?» — «Да денег».— «Каких денег? Никак, очумел ты?» — «Да ты сам говорил, когда давеча под фонарем ползал». А Сазоныч вроде отрезвел сразу. «Прости,— говорит,— друг, никакой у меня растраты в кассе нету. Вдруг представился мне сегодня смертель-

ный кошмар, что недостачи у меня пять тысяч, и в позоре души пошел, рванул я крепко на похоронах своей совести и чуть с ума не сошел. Спасибо, ты меня пожалел, от себя самого спас». Во, бывают психи, а!

ГАМБУРГ, АПРЕЛЬСКОЕ УТРО, РЫНОК

Здесь оглушали радостно-истошные вопли продавцов, и по-праздничному оживленно кипела, текла толпа, образуя водовороты возле множества ларьков, торгующих заморскими апельсинами, яблоками, черным и белым виноградом, свежими цветами, которые неисчислимо пестрели в некоем девичьем невинном ожидании поблизости от прилавков, заваленных дешевыми куртками, женскими кофточками, грубоватой обувью и грубоватой посудой ручной работы, крошечными елками с корнями, обернутыми целлофаном, гигантскими морскими раковинами, изделиями из керамики, аляповатыми ковриками, какие можно встретить на любом провинциальном рынке России, только вместо лебедей тут гордо красовались олени на берегу озера. В этот людской хаос врывались визгливые звуки шарманки, нетрезвые песни из пивных и ресторанчиков морского типа — с якорями на стенах, с рыбацкими сетями, развешанными под потолком, до душной тесноты, до кислого запаха переполненных народом, шумно сгрудившимся за столиками, уставленными пивными бутылками (никакой закуски, перед каждым — своя бутылка); в одном кабачке сидел у окна — как в витрине — за каким-то игральным инструментом вертлявый человек в фетровой шляпе, в жилетке. Он пронзительно пел, то и дело отбрасывал руки от клавишей и сильно ударял по медной тарелке, вызывая восторг слушателей внутри кабачка и зрителей, столпившихся перед окном на улице. А за его спиной стоял манекен девицы с полными грудями и лицом свиньи; человек время от времени подмигивал манекену, скандально и хрипло что-то кричал зрителям, сдвинув на затылок шляпу, двигая бровями, ушами, всем лицом, и ему дружно отвечали хохотом, свистом, возгласами — певец явно был местной знаменитостью, любимцем толпы.

Впереди многолюдно, солнечно открылась набережная Гамбургского порта, где пресно, вместе со сладковатой гнилью, запахло рыбой, где в ларьках торговцы в белых

передниках оглушительными выкриками азартно предлагали жирных копченых угрей в прозрачной упаковке, потрясали этими упаковками, убедительно вращая глазами. Тут же рядом с черными змеевидными угрями, источавшими запах водорослей, холодно-острый аромат морских глубин, мертво лежала на прилавках огромная розоватая камбала, плоская, как бы раздавленная. На этой портовой набережной, уже по-утреннему пригретой апрельским солнцем, нескончаемая толпа замедляла движение, наслаждаясь погожим воскресеньем, громко, жизнерадостно смеялась, окружив крытую грузовую машину с откинутым задним бортом, в которой рыжий краснолицый парень продавал какие-то карликовые пальмы и, произнося слова благодарности, видимо, отмачивал шутки, под общий гогот зрителей звучно целовал бумажные купюры. Вероятно, он приезжал сюда не в первый раз, и каждое воскресенье собирались, как на балаганное представление, его поклонники. В их толпе стояли две пожилые благообразные немки в брюках, похожие на одинаково строгих родных сестер, держа кожаную сумку, откуда устало и презрительно выглядывала сонная комодообразная морда пса, купленного или продаваемого ими, сзади них — молодые турчанки в голубых курточках, в платках и шароварах; посасывала мороженое, изредка кокетливо улыбаясь, красавица метиска в военной каскетке.

Вблизи причалов грязная зеленая вода покачивала отбросы рынка, разный мусор — бутылки, банки из-под пива, размокшие пачки от сигарет, обертки от мороженого и полиэтиленовые бачки, а над Эльбой, над проходившими белыми транспортами плыли, покачиваясь и переворачиваясь в небе, два детских воздушных шара — один в виде длинноухого зайчика, другой в виде дирижабля, и сияло, пекло солнце, и слышен был говор, выкрики, смех, возбужденный ярмарочный шум.

Поднявшись по лестнице на городскую набережную, я остановился в толпе зевак, с удовольствием чувствуя тепло перил под локтями и радостную щедрость весеннего солнца, слепящий блеск воды, теплую белизну транспортов на Эльбе.

Не могу объяснить себе, почему в самых разных странах мира меня всегда так притягивают многолюдные рынки с их крикливым хаосом, почему мне уютнее там, чем на деловито-молчаливых, переполненных народом улицах современных городов или в современных больших

гостиницах, благопристойно тихих, плотно заглушенных синтетическими коврами, закупоренных толстыми мертвыми стеклами, напоминающими аквариумы для людей.

ПОМИНКИ

Скрежетали лопаты в тишине, раздавались торопливые ухающие удары, и я видел, как молодые парни быстро, ловко сбрасывали лопатами песок в могилу. И от ударов песка в гробовую крышку на дне могильной бездны гроб вздрагивал и шевелился, все глубже, чудилось, погружаясь в землю, толчками уходя в нее. Мне не хотелось думать, что там, под этой вздрагивающей крышкой, лежит великий человек, что в памяти осталось его восковое лицо, крючковатый нос, как-то особенно выделявшиеся большие уши (этого не было заметно при жизни), его сжатые серые губы, в складке которых что-то изменилось на второе утро, будто в них появилась слабая, задавленная улыбка. Потом я представил (как, наверное, представили и все мы, талантливые и бездарные, глядевшие сейчас в могилу, где с жуткой одномерностью звучали удары земли о гробовую крышку) грядущую неизбежность этого для всех нас, пока еще живых, и, услышав сбоку чей-то шепот: «Я имею право помянуть его, я любил его, а меня, видите ли, не пригласили»,— вдруг ужаснулся тому, что даже сейчас мелочное, личное, ничтожное не забылось, не исчезло, как и тщеславное беспокойство о том, кого пригласили или не пригласили на поминки.

«Все странно и непостижимо, как сама жизнь, как вот этот шепот обиженного самолюбия».

И подумав о наших бессмертных слабостях, я поднял голову и увидел над голым февральским садом, так любимым им, над коричневыми ветвями вишен радостную синеву предвесеннего неба и белую стаю голубей, купающихся в солнечном воздухе.

Эти поминки в его доме, в просторной столовой, где он обычно хлебосольно принимал гостей, где было много выпито, вкусно поедено, навсегда запомнились мне потому, что перед столовой я задержался в его кабинете, очень светлом, залитом солнцем, непроветренном, поразившем меня еще как бы сохранившимся тут теплом человеческой плоти и очень широким письменным столом в середине комнаты, по форме напоминающей большой эркер, и поразила железная пепельница на столе с раздавленной

в ней сигаретой (последней, которую он выкурил), меховая безрукавка на спинке стула, его коляска (он уже мало ходил перед смертью) и массивный книжный шкаф с, пожалуй, небольшим количеством книг — все это не вполне соответствовало моему представлению: я воображал его кабинет другим, более рабочим, более приспособленным к тихому одиночеству. Впрочем, почти все кабинеты больших писателей, которые приходилось мне видеть, оставляли в сознании грустное и томительное неудовлетворение, ибо я с трудом способен был вообразить, как мог работать Чехов в своем ялтинском, душном и тесноватом, как мне казалось, кабинете, или Лев Толстой под сводами холодноватого полуподвала Ясной Поляны, сидя на стуле с укороченными ножками, или Горький в огромном кабинете-зале великолепного московского особняка.

Когда я с запозданием вошел в столовую и пристроился с краю стола, занятого его родственниками, кто-то сунул мне кутью на тарелке, а уже произносили речи, и слышался говор в разных концах столов, как бывает на поминках после первой выпитой рюмки, и вдруг я с тоской почувствовал, что обломилось в мире что-то огромное, будто часть континента, а все слова о том, кого похоронили полчаса назад в его саду под февральскими вишнями в этот солнечный, с синевой, предвесенний день, все слова ватными комочками плавали над головами сидящих за столами людей, которым суждено было прожить еще какой-то отпущенный судьбой срок, но не понять того, что понял он, грешный и гениальный, в душе которого слабость уживалась с беспредельной отвагой — качества, вызывавшие к себе восторженную любовь одних и лютую ненависть других. Я хорошо помнил наше первое знакомство в Москве после его телефонного звонка, когда он пригласил приехать к себе и, еще вроде бы крепкий, энергичный, вышел навстречу в переднюю своей скромной квартиры на Сивцевом Вражке, улыбаясь, по-солдатски поцеловал, обнял меня дружески: «Так вот ты какой! Я думал, старший лейтенант, еще молодой, а у него виски уж седые!» — и повел меня в комнату, где за столом сидело несколько человек гостей.

Вспомнились мне его телефонные разговоры и поздравительные телеграммы, и его постоянно ощутимое присутствие в литературе, словно бы рядом с нами, хотя он жил не в столице, а в станице; мои нечастые приезды в Ростов, когда был он уже стар, болен, ноги отказывали ему, голос терял гибкую живость, и его слабая, мелкими

шажками походка отзывалась во мне болью. Незабываемо врезались в память его беззвучные слезы, его мелко затрясшаяся седая голова, едва он, поддерживаемый под руку, вышел на сцену в день своего семидесятилетия, растроганно глядя в зал, гремевший овацией. В тот день показалось мне, что воля изменила ему, и физические страдания и груз всей его трудной жизни (как только он перенес всю немыслимую клевету, злобные оскорбления ничтожеств от литературы, распространяющих завистливый и политический смрад на Востоке и Западе?) отбирали последние силы, ясно было, что он давно не писал, не пребывал в одержимости — как в дерзкой молодости — за письменным столом, не испытывал прежних дерзких желаний, литературных тревог, радуясь теперь лишь созерцанию и прекрасного, и страдающего мира, который, подобно богу, сам создавал, творил в годы этих желаний.

Я очнулся от чьего-то зазвеневшего голоса, голос прерывался сдавленными рыданиями — и тут я увидел в конце стола, освещенного сквозь окна ярым февральским солнцем, молодого мужчину в военной форме. Это был его сын, подполковник, он стоял, неловко подымая руки к лицу, и говорил поспешно, жарко, сбивчиво:

— ...Каждому он сыграл свою роль... свою, начиная от высоких инстанций и кончая своими детьми, простите меня... Наверное, отцу приходилось играть много ролей, но он всегда играл одну роль — самого себя. Простите меня, может быть, я не имею права... Он был не только великим писателем, но и великим отцом... Мало кто знает его... никто, никто...

Он не договорил, голос его охрип, сбился, сорвался на рыдания, он прижал ладони к лицу и выбежал из комнаты.

Все молчали.

Я смотрел на веселое, почти весеннее солнце, блестевшее за садом над льдом Дона, и думал о том, что покойный, теперь уже бессмертный, так и остался в этом мире загадкой, как все большие русские художники, перед которыми логика бессильна.

МАДОННА ЛИТТА

Все проходит через меня, и все сливается во мне — майские светлые ночи, июльские ливни, холодок летнего утра, шорох листьев в колее проселка под сентябрьским ветром, луна над осенним оголенным лесом, первый снег

и вместе с тем искренняя и фальшивая улыбка, глупость и ум, красота и уродство.

Однажды в музее я стоял перед леонардовской «Мадонной Литта», готовый молитвенно упасть на колени, и думал, что полотно это принадлежит не какой-либо одной стране, не какой-либо одной национальности, а всему человечеству.

Я помню, как из жаркого шумного Рима мы с писателем Чингизом Айтматовым ехали в провинциальную тишину, приглашенные на обед итальянским критиком Вигорелли, и в тесноте, в толпе электрички я внезапно увидел совсем рядом деревенскую мадонну Литта, прекрасную, полногрудую, синеглазую, пахнущую чесноком. Она громко, нестеснительно разговаривала со своими подругами, смеялась,— и в этой ничем не прикрытой естественности я чувствовал женщину, которая две тысячи лет назад могла быть близкой со мной, рожать мне детей, гладить огрубевшей рукой по голове, целовать уставшего, пропыленного, пришедшего к очагу поздним вечером с поля...

Нет, Италия, а не Сахара и не пустыни Ливии — колыбель человечества. Мадонна Литта — это мать всех матерей, и младенец у нее на коленях — это я и не я, а все те, кто почитает своих матерей, кто помнит тепло материнской груди, ласковый и обращенный на тебя взгляд милосердия, прощения, самоотверженности, любви, ибо нет ничего равного вселенскому чувству материнства,— поэтому я стою, готовый упасть на колени перед этой скромной и вечной красотой мадонны Литта, моей матери, вспоминая и тот вагон электрички, и нашу поездку в загородную квартиру Вигорелли, где огромная гостиная, освещенная во все окна лимонным осенним солнцем, переходила в огромную библиотеку. Я вспоминаю наши беседы о красоте мира, об уничтожении технократами этой красоты, необходимой человечеству,— и вижу в темных глазах жены Вигорелли мягкую доброту, прощение всем нам, оглупевшим в пустопорожних фразах мужчинам, вижу надежду, теплоту мадонны Литта, этой матери всего сущего.

НЕУКЛЮЖЕСТЬ ИСТИНЫ

Признаться, я люблю древнегреческую трагедию и не люблю прославленную эллинскую скульптуру, классически бесспорную и вследствие этого тесным корсетом

сковывающую мои чувства повелительной красотой и формой, когда не остается места для свободного полета фантазии. Ведь самое короткое расстояние между двумя точками — это прямая линия, абсолютная ясность, четкость, наглядность и, в конце концов, скука, ибо в предельной лаконичности для игры воображения не хватает ветряного простора, причудливых лесных тропинок, старых проселочных дорог, современных автострад, перекрестков и поворотов.

Я люблю извивы человеческой мысли, сложную и многоемкую весомость истины, ее угловатую неуклюжесть, ее великую и грустную простоту, найденную и открытую тобой через страдания и радость, подобные родовым мукам, и собственной смерти, и воскресению после нее.

ЗАКОНЧЕНА РАБОТА

Около четырех лет сидел над романом, который совсем не внушителен по размерам, заканчивал, не раз говорил себе: «Кажется, все»,— и вновь возвращался к тексту, правил, отшлифовывал, вписывал, вычеркивал, менял строй фраз, мучил себя в одержимой погоне за неподатливыми словами, ритмом, интонацией, емкостью формы, самолюбиво поддерживая свои силы навязчивой и, пожалуй, лукавой мыслью об одном-единственном верном эпитете, о точно летящем в цель глаголе.

И сейчас, закончив работу, еще весь в жарком поту, почти равнодушно смотрю на рукопись, от которой устал до невозможности, от которой теперь хочется немедленно отделаться, убрать со стола, унести из комнаты, забыть о ней, будто она лишний, мешающий в доме предмет, будто она не дает мне жить и воспринимать мир как прежде, до написания романа.

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ...»

(Рассказ сценариста)

Мы сидели в баре аэропорта и не спеша пили кофе — посадку на берлинский самолет еще не объявляли. Осенний туман неподвижно белел за огромными стеклами, зал ожидания все заметнее заполнялся пассажирами между-

народных рейсов, все оживленнее становилось в баре, где теперь не было свободных столиков и все гуще пахло сигаретным дымом и кофе.

«В сущности, и это ожидание прекрасно»,— думал я, с удовольствием оглядывая плащи, брошенные на спинки кресел, выбритые спокойные лица, которые выражали беззаботную освобожденность от всего привычного, обыденного в этом уже полузаграничном положении.

— Коньячку, а? Возьмем по пятьдесят для равновесия?

Мой попутчик режиссер Журавлев, с которым мы летели на кинофестиваль в Западный Берлин, решительно встал, шелковисто и свежо шелестя искристого оттенка элегантным костюмом, приглашая меня беспечным взглядом к мужскому единению, и я, конечно, охотно согласился.

«Слава богу, что лечу с ним,— подумал я, наблюдая, как тот, прельстительно улыбаясь тоненькой стюардессе, пьющей кофе у стойки, заказывал коньяк.— Не так уж плохо пожить бездумно несколько дней вместе с ним в Берлине. Он легкий в общении человек, и, кажется, за год работы над фильмом мы не надоели друг другу».

— Видели красотку?— Журавлев поставил рюмки на столик, сел в кресло, закинув ногу на ногу.— Летит в Париж, а посадку тоже не объявляют. Что ж, пока наши родные деньги не кончились, будем сидеть тут в обороне до полной победы. К полудню авось вылетим. Ну, за мягкий взлет и пуховую посадку!

Он со вкусом отпил глоток, потянулся к пачке сигарет на столике и с прежним игривым интересом поглядел в сторону хрупкой, как соломинка, стюардессы у стойки. Затягиваясь сигаретой, Журавлев сказал:

— Кидаю мысль: как правило, почти все стюардессы на международных линиях — девочки перший класс. Обратите внимание на эту. Сдержанна, юна, отличная осанка. Ноги — как у богини. Носик вздернут. Не угадаешь — кто она: француженка, русская? Так сказать — мировой стандарт прекрасного пола, рекламируемый в иллюстрированных журналах. А для чего? Чтобы, поднявшись в лайнере на девять тысяч метров, я и вы чувствовали бы себя не оторванными от матушки планеты, а как бы приближенными к земному и возможному раю. Название этому — разврат духа. Продаю мысль за... за... впрочем, отдаю даром! Бож-же ты мой!— неожиданно вскричал Журавлев и засмеялся, удивленный.— Вы смотрите, кто сюда пожаловал собственной персоной! Знаменитый Звягин,

ваш бывший режиссер. Сам, живьем! Ого! И с какой-то актрисулей! Вы видите? Поразительно! Какое-то нашествие кинематографа на Шереметьево!

Журавлев, оживляясь, заерзал в кресле, иронически развел руками, и я увидел шумно и нестеснительно входившего в бар высокого, седого, длиннолицего человека с плащом через руку и саквояжем. Он шел в сопровождении бледной девушки в прямой заячьей шубке и пожилой женщины, крепконогой, с темными усиками, на ходу озабоченно поглядывавшей на ручные часы. Да, это был кинорежиссер Звягин, два года назад поставивший фильм по моему сценарию, после чего мы ни разу не встречались.

— Ба, знакомые все лица! — крикнул он приветливо, в широкой улыбке обнажая выпуклые зубы, и как бы локтями обняв своих спутниц, сразу с уверенной стремительностью повел их к нашему столику.— Классик! — бархатным баритоном произнес он, кинул плащ на спинку ближнего кресла и тиснул меня в объятиях.— Вы куда? Зачем? Один? А-а, простите... и вы? — Он выразительно обволок своими белесо-светлыми навыкате глазами Журавлева.— Союз властителей дум? Вы — Жур-авлев? Так ведь?

— А ваша фамилия — Звя-гин, если я не запамятовал? — в тон ему ответил Журавлев, однако галантно поднялся, предупредительно пододвинул женщинам два кресла от соседнего столика.— Прошу покорно.

— Сначала познакомьтесь,— весело заговорил Звягин, поворачиваясь к женщинам.— Директор моей картины Кира Ивановна Алфеева, без экономической мудрости которой мы пропали бы (круглолицая, в распахнутом пальто женщина с усиками внезапно пунцово покраснела, но сейчас же порывистым мужским пожатием стиснула руку мне, затем Журавлеву), а это — Маша Воробьева, актриса, сыграла в моем последнем фильме заглавную роль, восходящая звезда кинематографа (девушка в шубке испуганно расширила и без того огромные глаза, ее влажные от волнения пальчики едва шевельнулись и выскользнули из моей ладони, оставив ощущение чего-то слабого, беспомощного). Летим в Париж с премьерой. А куда вы — догадываюсь. Вероятно, в Западный?

— Угадали,— сухо сказал Журавлев.— Везем.

Я спросил, что они будут пить — коньяк или кофе.

— Именно! Коньяк и кофе! Разумеется, ни то ни другое! — насмешливым басом заявила Кира Ивановна, покопалась в сумочке, вынула какие-то бумаги и мужеподоб-

ным движением коротких ног отодвинула кресло.— Мне еще надо позвонить на студию. Потом зайду в диспетчерскую, узнаю, как у них с туманом. Просто чепуха, простокваша какая-то в воздухе! Присматривайте, Григорий Михалыч, за Машей — ни сигаретки, ни коньяка, ни кофе. А то будет выглядеть драной кошкой перед парижскими снобами! Кофе портит цвет лица! Я сейчас вернусь, дети мои.

— Тебе не жарко, Машенька?— спросил ласково Звягин.— Здесь душновато. Как ты себя чувствуешь?

— Н-не знаю.— Маша расстегнула шубку, тонкая шейка ее освободилась из-под меха; мягкие, летней прозрачности глаза тихо сияли, она облизнула губы, сказала жалобно, умоляюще:— Очень пить хочется. Можно мне хотя бы два-три глотка кофе? Ну, пожалуйста,— добавила она тихонько, взглянув на меня.

Я принес кофе.

— Значит, с новым шедевром в Париж?— проговорил Журавлев, весь вдруг ершисто, вызывающе подбираясь в кресле, с очевидным и непонятным мне раздражением.— Очень рад и весьма польщен встретить вас вот так демократично на аэродромном перекрестке, Григорий Михайлович!

— Я поухаживаю за тобой, Машенька,— строго проговорил Звягин, не ответив ему, и аккуратно отшелушил обертку на плиточке сахара, отделил один кусочек, размешал его в кофе, как это мог сделать заботливый отец.

Я заметил нетерпеливую гримасу на лице Журавлева, которого, видимо, злило, что Звягин не слушал его, а оказывал подчеркнутое внимание этой совсем неизвестной актрисе, этой девочке с непорочно-ангельскими глазами, надо полагать, предмету своего очередного увлечения.

Я знал, что Звягину не везло в семейной жизни: с первой женой он был разведен, вторая ушла от него к молодому ученому-физику, ушла четыре года назад, как раз в тот день, когда мы познакомились. Тогда он пригласил меня к себе и, предложив написать сценарий, долго размышлял о том, что пора бы перенести на экран истинно смешное и трагическое, что могло бы вызывать у людей искренние слезы и искренний смех. Он говорил об этом, а покрасневшие жилками глаза его то и дело останавливались на закрытой двери в смежную комнату, где четко звучали по паркету женские каблучки, решительно передвигались стулья и, вероятно открываясь и закрываясь, прерывисто поскрипывала дверца шифоньера. Узкое лицо

Звягина было болезненно бледным, тонкие морщины прорезались в уголках припухлых век, постриженные под мальчика седеющие волосы спадали на длинный белый лоб — будто не лицо, а гипсовая маска предельно уставшего человека. Не перебивая, я слушал его и оглядывал кабинет, запущенный, неприбранный, по всем стенам завешанный афишами его фильмов, золотописными дипломами разных фестивалей; пыль волокнистым пушком серела на паркете, на полированных островках рабочего стола, заваленного грудами нераспечатанных писем, папок со сценариями.

— А! Пожалуйста, входи, Валерия! — внезапно испуганно сказал он и с артистически виноватой улыбкой глянул на открывшуюся дверь смежной комнаты, отчего словно бы прижались к черепу его крупные уши.— Ради бога...

В кабинет торопливо вошла молодая женщина с раскинутыми по плечам каштановыми волосами, одетая в похрустывающий синтетический плащ, ее красивое, незнакомое и очень знакомое лицо (возможно, видел в каком-то кинофильме) было надменным.

Не выпуская чемодан из руки, обтянутой перчаткой, она холодным кивком поздоровалась со мной и, шелестя коротким плащом вокруг соблазнительно открытых колен, пошла в переднюю. Звягин, чересчур вежливо извиняясь передо мной, торопливо вскочил и вышел следом. Потом из передней донеслись сдержанные, однако различимые голоса и его фраза:

— Мы ведь договорились. Ты возьмешь абсолютно все: мебель, вещи, в том числе и машину, я на тебя ее уже оформил. Только, умоляю, делай все это, когда меня нет дома. Я не хочу, чтобы мы расстались с ненавистью.

Она гневно прервала его:

— Ты хочешь, чтобы мы расстались смеясь? Я настолько плохая актриса, что и зарыдать не сумею? Я способна только скулить, как щенок. И оплакивать Максима.

— Валерия, умоляю, оставь его мне. Ты актриса — дети не твоя специальность. Ему нужен я, мужчина...

— Кому ты нужен?! Мужчина! Посмотри на себя. Дешевый лицедей!

Гулко хлопнула дверь на лестничной площадке, и среди наступившей тишины минуту спустя щелкнула цепочка. Звягин вошел в комнату и, с отяжелевшими глазами, утомленно провел рукой по влажному лбу, будто стирая этим жестом глубокие морщины, после чего с непонятным

смешком похлопал себя по груди и спросил, не бывает ли у меня здесь вот некой сосущей холодной пустоты.

И сейчас, вспомнив, что четыре года назад был нечаянным свидетелем этой неприятной сцены, я опять испытал едкое и грустное любопытство к Звягину, искренне обрадованный встречей с ним вот здесь, в баре Шереметьевского аэропорта. И мне было странно видеть насмешливо-задиристый взгляд Журавлева, нацеленный то на Звягина, то на Машу, стесненно глотающую кофе из чашечки.

— Так что же вы везете в Париж? — с усмешкой повторил Журавлев. — Какую-нибудь любовно-сентиментальную муть? Он, она, он и безутешные рыдания под фонарем?

— А что везете вы, коллега? — спросил спокойно Звягин и так же спокойно, не дожидаясь ответа, заговорил: — Впрочем, и я, и вы плаваем в своих проблемах, как корабли под разными флагами. Вы рассматриваете мир прагматически, с точки зрения человека, которому хочется для человечества избытка материальных благ. Так ведь? А я пытаюсь взглянуть на человеков с точки зрения тысячелетий, простите за нескромность. Со дня грехопадения Адама и Евы.

— О, я давно подозревал, что вы очень скромный человек! И активно нравственный, как пишут о вас в статьях. Вы любимец публики. Это точ-чно!

— В каком смысле?

— Во всех смыслах. Так что же остается вечным?

— Пожалуйста. Он и она, — с прежней невозмутимостью ответил Звягин, как бы вовсе не чувствуя привкуса яда в вопросе Журавлева. — Что бы ни было, мир рождается и разрушается Адамом и Евой.

— Чушь! Банально и старо, как мир! И надоело до тошноты! — возразил Журавлев. — Архаизм! А современные проблемы? Куда их девать? Спрятать в сундук и закрыть на амбарный замок? Любовная коллизия — он и она — вот, говорите, камень преткновения? А куда прикажете выбросить социальные конфликты? В мусоропровод они не влезут! Не то время для сентиментальных любовей с точки зрения тысячелетий! Все это ересь крокодилья!

— Одну минуту, — серьезно прервал Звягин, и его выпуклые светлые глаза пошарили по потолку с отсутствующим выражением. — Послушайте. Объявляют кому-то...

В зале ожидания, все так же окруженном сплошным туманом за стеклами, женский голос, мелодичный, как

сама надежда, начал объявлять по радио рейсы самолетов, вылеты которых задерживались, и попросил пассажиров, следующих рейсом Москва — Белград, пройти на посадку. Среди общего жужжания в накуренном до синевы баре этот приятный женский голос вызвал некоторое шевеление — двое мужчин, солидных, уже коньячно-розовых, деловито встали, подхватили с кожаных кресел плащи, одинаково толстые портфели и двинулись к выходу на посадку. Маша, оглядываясь на столики, неуверенно спросила:

— Может, и мы улетим скоро, Григорий Михайлович?

— Нет сомнения, Машенька,— ответил Звягин и легонько погладил ее руку на столе.— Скоро будем в Париже.

Журавлев неприязненно поморщился.

— О да, скорее в Париж! К упоительным запахам духов — шанель номер пять, к роскошным витринам, к галерее Лафайет, к жиденьким, но все равно западным аплодисментам. Париж — вот зеркальце счастья! Как хочется посмотреться в это зеркальце и подкрасить губки ароматной перлой, не правда ли, Маша?

«Куда же его так занесло, черт его дери, моего режиссера? Зачем эта язвительность?» — подумал я, уже сердясь на Журавлева, и тут заговорил Звягин, продолжая медленно поглаживать тонкую Машину руку.

— Вы вызываете меня на спор, хотя я совсем не настроен... Вот вы говорите «счастье, счастье»,— он взглянул на Машу с заговорщической нежностью, а она, краснея, ответила ему мягким, преданным сиянием глаз и прикрыла это сияние дрогнувшими ресницами.— Шанель? Великолепно. Перла? Отлично. Витрины? Интересно. Аплодисменты? Приятно. Хоть и из вежливости. Кто может поймать неуловимый миг счастья? Вы уверены, что хорошо знаете, что это такое? Вы почему-то раздражены против меня — и вот уже несчастливы...

— Ого! — вызывающе удивился Журавлев.— Дуйте дальше, наконец, хоть что-то проясняется!

— Дую. На воду,— вежливо ответил Звягин.— Но почему вы так раздражены против меня?

— Уважаемый Григорий Михайлович, с позиций тысячелетий можно наплевать на все! На все боли современного мира! — запальчиво выговорил Журавлев и в наигранном отчаянии неожиданно наклонился к Маше, сидевшей с опущенными глазами.— А вот вы, молодая актриса, вы тоже смотрите на мир с точки зрения тысячеле-

тий? Кого вы хотели бы сыграть? У вас есть какое-то заветное желание?

— Да,— жалобно ответила Маша, тонкая и высокая ее шея, видная в распахнутом мехе шубки, по-детски выказывала ее покорную незащищенность, какая бывает у людей, долго и серьезно болевших.— Я хотела бы... я мечтаю сыграть Наташу Ростову,— тихо проговорила она.— Современную Наташу...

— Вот как! — неискренне восхитился Журавлев.— Похвально, похвально! Ну, а современного Андрея Болконского кто сыграет? Режиссер Григорий Михайлович Звягин? (Звягин, вертя в пальцах коробок спичек, рассеянно улыбался и молчал.) Как он там, раненный под Аустерлицем, думал? «...все обман, кроме этого бесконечного неба...» А современный Болконский, по всей вероятности, будет рассуждать таким манером: «Все до лампочки. Ничего, с точки зрения тысячелетий, нет, кроме меня и нее!» Вот видите, придумал вам отменную нравственно-философскую сцену, достойную самого Феллини! Возьмите в сорежиссеры, Григорий Михайлович, состряпаем гениальный фильм! Буржуазный аплодисман в Париже обеспечен. Идея такова: он на закате бурных лет сентиментально любит ее за чистоту и юность, и она его безумно — за положение и деньги!

Звягин перестал улыбаться, задумчиво отбросил к пепельнице коробок спичек и стал помешивать ложечкой в гуще остывшего кофе. Он не отвечал Журавлеву, а Маша, опустив светлую, гладко причесанную голову, робко затихла, потом сказала еле слышно:

— Почему вы так говорите? Вы режиссер, а мне кажется, вы не любите кино. Или я вас тоже рассердила?

— Вы? Меня? Рассердили? О, не-ет! Заблуждение, драгоценная Маша! Я работаю в кино, но всей душой его презираю и ненавижу! Кино — это красивенькая и, значит, пошлая ложь, наверное, так или почти так сказал бы великий Лев Толстой! А я скромно добавил бы: оно, с точки зрения Адама и Евы, только щекочет нервы скучающему мещанину, которому некуда деть себя по вечерам, и он ищет кинематографический или телевизионный наркотик.

— Скажите, пожалуйста,— тем же тихим голосом продолжала Маша.— Скажите, почему нет сейчас в литературе... например, Льва Толстого?

Журавлев притворно расхохотался.

— У нас есть Евтушенко. Кстати, он близок к кино. У него отработанные жесты и прекрасная манера держаться.

— Нет... я вас серьезно спрашиваю,— повторила Маша и зябко потянула воротник шубки на щеку.— Все-таки почему сейчас в литературе нет Толстого?

— Потому что слишком много парикмахерских, уважаемая Маша. И много, чересчур много кино! И телевизора, этого дьявольского сандвича из пошлости и обмана!

Маша поежилась, закутала горло мехом воротника, робко повела на Звягина непонимающими глазами. Звягин же, все помешивая ложечкой кофе, бодро поймал ее вопросительный взгляд, яркий от волнения, и заговорил вроде бы полушутя:

— Можно ли считать себя правдолюбцем, если прийти гостем в дом матери и ни с того ни с сего сказать ей, что любимый и добрый сын ее глуп? Или громко заявить женщине при людях, что у нее порваны чулки? Это значит ходить вокруг людей с видом врача, приставленного к умалишенным. Не так ли?

— Григорий Михайлович, быстро, быстро! Встать, парижане, встать, приготовиться к посадке! Машенька, застегнуться на все пуговицы, бойтесь сырости при выходе на аэродром! Мы летим, Григорий Михайлович, коробки с фильмом погружены в самолет — проверила. Туман рассеивается, через пять минут объявят наш рейс!

Директор группы подошла к столику запыхавшись, с распаренным от делового возбуждения лицом, в распахнутом по-мужски пальто, и Звягин быстро сказал: «Ну, вот и отлично»,— и с облегчением прикоснулся к локтю Маши, она же взволнованно начала застегивать шубку, и, когда, прощаясь, я пожал ее руку, эти слабые, мнилось, лишенные жизни пальчики были ледяными. А Журавлев живо поднялся и, сгибая голову в изысканном поклоне, сверхкорректно и фальшиво простился с Машей и Звягиным, после чего сел, заложив ногу за ногу, выказывая холодное равнодушие.

Злясь на эту его игру, я пошел проводить Звягина в зал ожидания, и он, перекинув плащ через плечо, как-то даже обрадованно полуобнял меня, когда мы выходили из бара.

— Простите, Григорий Михайлович, вы мне Машу не представили, а я постеснялся спросить. Она — ваша жена?— спросил я, мучимый порочным любопытством, глядя на раскачивающуюся впереди длинную заячью шубку.— Вы женились?

— Просто ангельский подарок с небес,— проговорил грустно Звягин и на миг зажмурился.— Наверное, это покажется вам сентиментальностью, но судьба воистину послала ее мне... Она училась в Щепкинском. Потом два года тяжко болела. Странно — в наше время туберкулез. Да, я женат на ней. Вы посмотрите ее на экране. Она прекрасна!— Звягин помолчал и, озадаченно хмурясь, оглянулся в сторону бара.— А вообще — что это творится с вашим попутчиком? За что он столь люто возненавидел меня? Знаете, так, как он, меня ненавидели только женщины... Мои бывшие жены.

Я вернулся в бар, по-прежнему тесно заполненный пассажирами со всех задерживающихся международных рейсов, по-прежнему душный от смешанных запахов горячего кофе, сигаретного дыма, духов, нагретой в тепле влажной одежды, и протиснулся к своему столику меж кресел, возле которых всюду стояли портфели, дорожные сумки, саквояжи. Журавлев сидел все в той же позе (нога закинута за ногу), глаза закрыты, лицо искажено какой-то непонятной горькой мукой, гибкие пальцы потирали виски, он глубоко дышал носом, будто успокаивая сердцебиение. На столике я увидел две налитые рюмки: пока я провожал Звягина, он заказал еще коньяку.

Я сел напротив, удивленный выражением лица Журавлева, недавно насмешливого, презрительно-брезгливого, и он тотчас приоткрыл глаза, настороженно вспыхнувшие злостью и мигом погасшие, затем взял рюмку, сказал неестественно высоким голосом:

— По последней. Знаете за что?

— За что? За вашу злость и доброту? За изменчивость вашего настроения?

— Не изображайте, ради бога, сестру милосердия. Не к чему!— яростно понизил голос Журавлев и, морщась, сильно ударил рюмкой о мою рюмку.— За женщин, без которых мы, мужики, полнейшие обезьяны! За все благословенные ночи, когда они нас терпели! За вашу жену, за мою, за эту вот наивненькую, ангелоподобную Машеньку! Адам и Ева, будь вы прокляты в своем соитии! Выпьем за эту проклятую правду плюса и минуса, которой, в общем-то, никогда не бывает.

— Не бывает?

— А вы так уж счастливы?

Он усмехнулся, жадно опрокинул в некрасиво раскрытый рот рюмку, опять помассажировал, потер виски. А я почему-то вспомнил жену Журавлева, маленькую,

гибкую, с круглым, всегда обтянутым вертлявым задом, темноволосую, всю нервно наэлектризованную, похожую на цыганку смуглостью кожи, чернотой глаз, неизменно наркотически блестящих,— в ее фигуре было что-то обворожительно-притягательное, как тайна, и было нечто отталкивающее в ее лице, в птичьем, островатом подбородке. Детей у них не было, семейная жизнь полностью скрыта от посторонних, но говорили, что порой они жили на разных квартирах — так хотела она, постоянно окруженная энергичными плоскогрудыми приятельницами из околотеатрального мира или молодыми людьми с узкими талиями, поэтому мне не раз казалось, что Журавлев или не вполне счастлив, или сам хотел такой жизни.

— Не очень понял вас,— сказал я сердито.— Что с вами случилось? Набросились, аки тигр, на кино, на Звягина, облили и Машу ядом, непонятно зачем. Маша — жена Звягина.

Журавлев дернулся в кресле, страдальчески прижал ладони к вискам, будто унимая головную боль, простонал:

— Ах, во-он что? Представляю — невинная, очаровательная, почти дитя, лежит с ним в постели и с отвращением покоряется ему, седому и потрепанному козлу. Неужели вы верите, что она любит его?— И мотая головой, договорил хриплым шепотом:— Впрочем, такие, как Маша, часто бывают развратны и лживы. Вы запомнили ее глаза? Глаза неземной чарующей девственницы? А эта слониха-директорша с усиками? Слышали ее медовые сюсю?

— У вас греховно разыгралось воображение,— сказал я, изо всех сил сопротивляясь разъедающей циничности недоброго ума Журавлева, который точно бы мстил за что-то, неизвестное мне, о чем можно было только догадываться.

Что было у него? Несчастная семейная жизнь? Ложь между ним и женою?

— К черту, оставим это,— покривился Журавлев.— Не буду говорить неприятное вам. Кончено. Однако наш рейс все не объявляют. Когда же вылетим? Пойду узнаю. Сидите, я пройдусь.

— Подождите,— сказал я с головокружительной дерзостью.— Вы любите свою жену?

— Безумно,— прошептал он, почти не разжимая зубов.— До самоубийства. И я счастлив. Вам этого не понять.

— И вы ревнуете ее?

— А знаете ли вы разницу между любовью и ненавистью? Не переходит ли одно в другое?

И шелестя материей элегантного пиджака, он зло оттолкнулся от подлокотников, поднял из кресла свое сухое, почти юношеское тело и упругой походкой спортсмена двинулся между столиками в зал ожидания, где за стеклянной стеной все так же полз, переваливался туман, мокро поблескивая на бетонированных дорожках, на металлических телах едва угадываемых во мгле самолетов.

А я смотрел на его спортивную спину и думал о том, что вот объявят посадку и я полечу в Западный Берлин с глубоко несчастным человеком, обреченным на ревность, близкую к ненависти, без надежды на помощь и исцеление, однако выбравшим свое несчастье как счастье.

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ

Его взвод погиб в лесу под Веной в ночь на одиннадцатое мая. Но до того, как в ту весеннюю ночь, разорванную автоматными очередями, стало ясно, что наткнулись на засаду, он еще не знал, что покойная солнечная тишина, теплый брусчатник, воркованье голубей по утрам на карнизах, благодатные, с мягким дождичком дни в озвученных вальсами старинных городках, одурманивающий запах сирени в старинных парках — все лгало ему обещанием навсегда остановленной войны, вечной молодой радости.

Невыносимо было то, что его солдаты в ночь гибели находились на том проклятом шоссе, рядом с ним, в одной машине, и последняя мысль о спасении была, вероятно, обращена к нему, лейтенанту, а он, тяжело раненный в грудь навылет первой же очередью, лежал в кювете, истекал кровью и ничем не мог им помочь. Ему тогда, в общем-то, повезло, и он прожил потом еще целую жизнь, постепенно забывая подробности случившегося тогда: фамилии, лица, голоса солдат, напрасно ждавших от него помощи.

И только изредка, в светлые весенние ночи, он вспоминал ту далекую, обманувшую его ночь — и ему становилось не по себе. Но вдвойне горше было оттого, что большинство людей, встреченных им после войны, не хотели помнить и понимать, что каждый новый день — это

не продолжение, а начало, которого могло и не быть, что каждый новый день — это вся жизнь между рождением и смертью.

«ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ...»

Наверное, никогда не забуду конец зимы, солнечно-синий воздух марта в родных моих переулках и стаи белых голубей в мучительно высокой синеве над Замоскворечьем.

Почему я не могу забыть сочные, зеленые дни, банный запах мокрого от дождя асфальта и особенно, свадебно, шумевшие уличные потоки в водостоках, и милых воробьев, весело купавшихся в парных лужах после обильной июньской грозы?

Почему я так отчетливо помню холодные осенние сумерки, запах сырого ветра, далекие звонки трамваев на Зацепе, застывшие голые ветви в пролете улицы и древние семейства галок, темным пеплом вьющихся меж черных на огненном закате куполов полуразрушенных церковок?

И почему не могу забыть солнечные, пышно-снежные декабрьские утра с голубыми тенями на слепящих сугробах, и разительно черных ворон на густо залепленных свежим снегом заборах?

Это все то, без чего нет моего детства, моей юности, моего прошлого, а значит — и меня.

ДЫХАНИЕ

Засыпая, погружаясь в черное пространство сна, я вдруг услышал тихий, до озноба знакомый и вместе почти бесплотный голос, позвавший меня по имени. Я с внезапным волнением сел на постели, настороженно прислушиваясь, глядя в темноту,— ясно показалось, что из темноты позвала жена, что она хотела предупредить меня о какой-то опасности, спасти, помочь, отвести несчастье.

«Нет, нет, почудилось, приснилось, мы вчера поссорились, и я думал о ней... Но как тревожно, нежно и странно прозвучало мое имя, когда она позвала меня...»

Жена спала в соседней комнате, и там стояло густое, как зимняя ночь, безмолвие — ни шороха, ни звука,— и в страхе от знобящего предчувствия нежданного несчастья, которое должно случиться со мной, с женой, со всем миром, я вскочил с постели и, оглушенный тугими

ударами сердца, по холодному полу босиком подошел к открытой в соседнюю комнату двери.

С трудом я уловил наконец ровное дыхание жены и, боясь ее разбудить, осторожно вернулся к своей постели, но заснуть уже не смог, вспоминая ласково и тихо позвавший меня голос.

Все утро звук этого голоса не выходил у меня из головы, и, окончательно измучившись, я решился и спросил жену, хорошо ли она спала и не звала ли она меня ночью. Она посмотрела на меня вопросительно, удивленно улыбнулась и ответила с медлительной задумчивостью:

— Как странно... Мне кажется, что я ночью проснулась оттого, что позвала тебя. А почему ты спросил?

— Ты проснулась и позвала? Или во сне? Ты меня позвала? Правда?

— Да.

— Я не понял. Значит, во сне позвала?

— Я забыла последовательность.

— Зачем же ты меня позвала? Ты о чем-то подумала?

— Мне стало страшно. Я прислушивалась к твоему дыханию. И так было страшно и одиноко. Ведь, кроме тебя, у меня никого нет.

— Я тоже слушал... твое дыхание, милая.

И я обнял ее, чувствуя родственное тепло ее плеч, ее живое дыхание на своей щеке. Больше мне ничего не было нужно...

ЛИТЕРАТУРА

Если человеку суждено умереть, то как одинок он в трагической жизни своей и как ничтожны страсти его: любовь, честолюбие, корысть. Кто поможет ему? В XX веке гомо сапиенс, подчиняясь вещам, принес в жертву им свою душу и в погоне за благами потерял себя в пустыне равнодушия, зависти и бесстыдства. Но по сути вся его жизнь — это погоня за смертью, чтобы оплатить по всем счетам и вернуть долг земле.

Я не пессимист и не оптимист, я отвергаю позицию бесстрастного наблюдателя, верю в красоту мира, в разум и хочу красотой и некрасотой воздействовать на сознание людей, в конце концов сея зерна надежды и, быть может, обманывая самого себя бессмертием добродетели.

Наверное, для сохранения душевного равновесия и безмятежной бодрости надо жить, не замечая отсчета

времени. Но как только случайно либо намеренно я задерживал внимание на нежных скачках часовых стрелок, то ужасался: невозвратимы еще полчаса, еще час, еще месяц, еще год, а значит — еще мгновение неповторимого бытия утекло в вечность. Как я жил этот день, этот час, эти секунды? Ради чего? Пустота или смысл? Любовь или ненависть? Правда или ложь? Может быть, все это сплетено в один клубок, который невозможно распутать и размотать? Во имя чего?

И я все чаще думаю, что жизнь человека — это бег на короткую дистанцию. Задыхаясь в навязанном ему ритме, он бежит, глотая слезы печали и радости, достигает финиша, в бессилии падает на последнем метре пути — и возвращает свое уставшее бренное тело земле, так и не познав, не осмыслив краткое существование в этом прекраснейшем из миров.

Этот земной путь человека исследует и познает не наука, не философия, не социология, даже не история, а литература, которая по целям своим и предназначению добрее, мудрее и нравственнее всех наук.

ЧАСТИЦА

Однажды на рассвете проснулся под непрерывный шум деревьев за окном и с трепетом и удивлением подумал: кто же задолго до меня рождался и умирал в моем роду? Кто жил, любил, надеялся, страдал в бесконечной череде моих далеких и близких предков по женской и мужской линии — моей матери, отца, деда, прадеда, моих дядей, сестер, братьев и многих, многих тех, чья родственная толика сообщена теплу моей крови?

Едино ли все это? И есть ли это все во мне?

Раз так, значит, я частица огромного целого, всего моего рода, уходящего далеко назад, во тьму тысячелетий. Там, у истоков, были некие он и она, те, кому я обязан жизнью, рождением своих детей, своей удачливой и грустной земной дорогой.

Как я хотел бы угадать сейчас, кто же они были, эти «кто-то»,— далекие, как звезды, он и она, без кого тьма несуществования не раскрылась бы передо мной светом рождения.

ЛИЦО

Муж измучил меня своей ревностью, я не вынесла, и мы расстались в мае сорок первого года. И как странно и страшно, что он был убит в первый месяц войны под Брестом. А когда узнала, что прислали похоронку, то долго и горько плакала, не могла забыть, как он зашел проститься перед отправкой на фронт. В тот день он показался мне уж совсем чужим, непривычно напряженным, бледным, на нем была новая гимнастерка, новая портупея, а рубиновые кубики лейтенанта в петлицах почему-то особенно испугали меня. Он старался бодро улыбаться и все повторял с жуткой мальчишеской бравадой: «Ты не любишь меня, значит — меня убьют». Я никогда раньше не видела, чтобы так жалко, беспомощно блестели его глаза, так жалко дрожали пальцы, в которых он мял пилотку. Что было с ним? Зачем он пришел? Неужели чтобы помучить меня? И помню его ужасные угрожающие слова: «Когда меня убьют, ты замуж не вздумай выходить. Я это предательство с того света увижу. Ангелы мне доложат». И как-то нехорошо засмеялся и попросил: «Ну, поцелуй меня напоследок, чтоб я помнил, когда в смертный час в небо смотреть буду. У тебя ведь глаза, как небо...»

Я не поцеловала, а обняла его, с жалостью прижалась щекой к его груди — и вот до сих пор чувствую запах его новой гимнастерки, его кожаной портупеи. Потом он сказал почти весело: «Прощай»,— и пошел к двери, а я навсегда запомнила его мальчишеский затылок, светлые кудрявые волосы и незнакомую покачивающуюся походку. Нет, я уже не любила его, но бесконечно жаль было всего, связанного с ним.

А после известия о его гибели я не могла найти себе места, все не могла себе простить, все представляла его последний час, как он лежал в поле, умирая, глядел в небо, и страдал, и ненавидел меня за то, что я не поцеловала его, когда прощались.

Потом были страшные годы оккупации в нашем городе, страх, голод, враждебные лица, чужой запах, немецкая речь, а после смерти мамы настали совсем черные ночи без огня, без тепла, когда с сумерек до рассвета ветер гудел по крышам, свистел в развалинах улиц, мертвых пустырей. Я прислушивалась к этому гулу и, кусая подушку, плакала о своем сиротстве, об одиночестве, о прошлом и вспоминала счастливое, солнечное время. И тогда мне казалось, что все, что случилось между мной и мужем, было

непростительно для обоих; я, избалованная, не понимала главного — он до отчаяния измучил меня ревностью только потому, что любил безумно, а после развода сам искал смерти, хотел умереть...

И вот пришли наконец прекрасная весна и прекрасное лето сорок пятого года. Весь наш город днем и ночью радостно выходил к вокзалу — бесконечные эшелоны шли из Берлина с гармонями, смехом, песнями, плясками: возвращались с войны победители. И наш город, как в горячке, ожидал своих счастливцев, кого сохранила судьба, кто остался в живых. А мне некого было ждать. Да я и не ждала, но тоже выходила к поездам, стояла одиноко в стороне от толпы, от этой радости и смотрела на веселые лица солдат, на помолодевших женщин и думала, что сама за годы оккупации постарела на десять лет, стала худа, некрасива, молчалива, как будто жизнь моя была прожита уже до донышка. И однажды поразилась и испугалась, услышав возле себя молодой голос: «Черт побери, какие глазищи, вот Золушка так Золушка!» Я подняла голову, увидела перед собой офицера, почти мальчика, невысокого, белокурого, вся грудь была в орденах, а в руке он держал чайник и как-то удивленно, тихо смеялся. Я вся сжалась, решив, что он смеется надо мной, над моим убогим видом, над моим жалким лицом, рванулась от него, а когда бежала по улице домой, без конца заглядывала в стекла окон, пытаясь увидеть свое лицо, но в стекле отражались только глаза, блестящие, как у зверька. Дома же посмотрелась в зеркало и с горечью долго рассматривала ранние морщинки...

А утром я все-таки не выдержала, привела себя в порядок, выгладила платье, истратила последнюю капельку духов — и опять побежала на вокзал, к людям, к толпе, к музыке, к праздничному шуму, которым продолжал жить наш город. Город же стоял на перекрестке железных дорог, и в тот день на вокзале было настоящее светопреставление, какой-то веселый ад... Подошло сразу несколько эшелонов, и на путях все перемешалось, двигалось, танцевало, солдаты пели, целовались с женщинами, женщины смеялись и плакали, дети искали кого-то в толпе, обнимали за ноги незнакомых солдат, а на площади кто-то пьяненький стрелял в небо ракетами.

И вдруг случилось непонятное движение на платформе, послышались вопли женщин, рыдания, толпа качнулась, раздалась на две стороны, в ней образовался вроде коридор, и странными тенями, как мне показалось, закачались

в коридоре люди в зеленых мундирах, в каскетках. Даже издали по цвету одежды я узнала немцев. О, как долго пугал нас этот цвет на улицах города, как прятались мы от этих мундиров, как отвратительны они были нам! Затем я услышала крики мальчишек: «Фрицы поганые!»

Да, это были пленные, их выгружали с другого эшелона, и конвоиры группами вели их к грузовикам, которые стояли на площади против вокзала. Женщины, встретившие пленных воплями и плачем, неожиданно затихли, мальчишки смолкли, хотя справа и слева на перроне еще играли гармошки и продолжался пляс. Я видела, как немцев сажали в крытые брезентом грузовики, как пятнами обозначались там их изможденные лица. И тут со мной произошло что-то странное, разумом не объяснимое, будто меня обожгло, опалило жарким огнем, будто кто-то скомандовал мне: «Вот оно! Посмотри туда, посмотри! Беги туда, это — последнее! Вот оно!..»

И не понимая, что со мной, я бросилась туда на площадь, где сгрудилась вокруг пленных толпа, увидела последний отъезжающий грузовик и там, в его кузове, среди белых пятен лиц увидела молодое лицо пленного, с расстегнутым воротником мундира, без каскетки, с соломенными волосами, упавшими на висок, увидела глаза, через головы людей вонзившиеся в мои глаза,— неподвижные, восторженные, родные и чужие глаза (такие могут только присниться), незнакомые и до обморока знакомые, ради которых можно было не задумываясь умереть. Я, захлебываясь слезами, рыдая, пробивалась сквозь толпу к машине, а машина уже набирала скорость, и лицо, единственное в машине лицо между пятен других лиц, удалялось, но не сводило с меня расширенных глаз: то ли в ужасе узнавания, то ли в нечеловеческой муке, эти глаза из сотен людей на площади видели лишь одну меня, а я видела только это лицо, только этот взгляд и, прорвавшись через толпу, бежала за машиной, как в сумасшествии, будто по неземной райской дороге, проложенной лучом его взгляда, обещавшим блаженство, счастье, нескончаемую радость.

Я не опомнилась и тогда, когда остановилась посреди дороги, вытирая слезы, не видя людей, которые обходили меня, как некое препятствие; я не слышала их голосов, не различала их, все ушло в глухую ватную пелену, в бездну, в непоправимое несчастье. И словно из толщи ваты дошел до меня чей-то голос, произнесший на всю жизнь оставшуюся в памяти фразу: «Да это, кажись, не немцы, а вла-

совцы. Вот предательское отродье!» И потом добавил, должно быть, про меня: «А эта дуреха очумела, что ли? Никак, больная?»

Не берусь объяснить, что было тогда со мной. Да и зачем, впрочем, объяснять это. Я так и не узнала, немцы это были или власовцы. Но хорошо помню одно: это лицо в машине, нашедшее меня среди сотен людей, не могло быть враждебным, убившим моего мужа, и хорошо помню, что я целый день ничего не видела, кроме этого лица. Нет, нет, это не был ни мой муж... ни немец, ни власовец. Скорее всего — нет. Нет, то было другое, другое — может быть, самое главное, ради чего мы на свет родимся... ради чего можно пойти на страдания, на смерть, на все что угодно.

И вот я, одна-одинешенька, дожила безбедно до вечерней поры своей жизни, давно называюсь уважаемый профессор, преподаю своим студентам умную науку, но, знаете, теперь почему-то все чаще, все радостнее мне снится тот незабвенный день, площадь, толпа и это лицо, это замершее восторженное выражение глаз, и я вижу во сне себя, в безумии надежды бегущую за машиной...

БОГАТСТВО

В Древней Греции ходили в скромных плащах, ели козий сыр и ячменные лепешки (завтрак Сократа), жили в простых домах, и вместо удобств, благ и комфорта «технологической цивилизации» там не один век господствовала культура, а именно: духовная и душевная наполненность, то, что сейчас мы определяем как состояние счастья, радости бытия.

Культура — это богатство, бесценное сокровище, по крупицам тысячелетиями накопленное народом и народами, поэтому ей, культуре, следует доверять. Уроки ее способны предупредить бездумную разрушительность и заморские болезни, прикрытые модным костюмом, синтетическими новшествами. Без строгих нравственных таможен, под победные ритмы «масскулатуры» могут и у нас пышно расцвести времена уродливые, чужие нам, порожденные темным и льстивым подражательством,— времена философов без своих идей, архитекторов без своей архитектуры, ученых без своих открытий, писателей без своих мыслей и чувств.

Всякая система нередко лежит рядом с антисистемой, поэтому альтернатив нет разве только в Дантовом аду. И когда думаешь о судьбе культуры в урбанистической действительности прагматизма, власти денег, неверия и лжи, то с болью и тоской возникают те же самые «детские вопросы», но совсем уже не по Достоевскому: кто ты, современный человек? Разрушительная тень на перекрестке дорог истории? Или венец творения? Уйдешь подобно бесследной тени — и не оставишь после себя ничего, кроме ненасытной алчности, миллионов невинных жертв, заболоченных полей, безобразных бетонных городов, высохших рек, гор мусора на изуродованной машинами земле. Почему же ты, гомо фабер, забыл о назначении своем — творить добро, красоту и приносить пользу?

Так разве «технологическая цивилизация» не движет прогресс, ничего не создает, не усовершенствует? Не может быть, чтобы все то, что рождает и развивает она, есть не творчество, а видимость прогресса, то есть тупик. И вместе с тем это так, ибо на Западе все подчинено не человеку, а всемогущему правителю мира — золотому тельцу, у нас же — безликому и беспощадному властелину нашей действительности: мифическому, придуманному чиновниками плану, за которым уже не видно человека.

ГЕНИАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

— Это что — последний крик интеллектуальной моды? Разбрасывать по холсту красочные пятна? Кто же, наконец, законодатель и бог света в искусстве? Импрессионизм?

— М-да, его красный цвет поразительно звучен. Он действительно импрессионист.

— Па-азвольте возразить, что никакой «изм» отношения к подлинному не имеет. Основа живописи — приближение одного цвета к другому, и это касание вызывает их раздражение, их неравнодушие друг к другу на холсте. Всякий цвет сам по себе всегда живой. Серое пятно на зеленом даже обретает розовый оттенок...

— Да, да, да, только живопись задерживает и останавливает мгновения жизни.

— Я не об этом, простите, ради бога. Однажды в Вене я слушал «Немецкий реквием» Брамса в концертном зале Моцарта. Я слушал, не сдерживая слез; поистине небесные женские голоса соприкасались с вечностью, с любовью,

с судом и прощением... И я в цвете представлял себе человеческую жизнь и человеческую смерть. Это было подлинно гениальное полотно, которое не написать никому.

— И вы помните эти цвета?

— Нет. Если бы я их запомнил, то сошел бы с ума.

ФОРМА

Можно, пожалуй, согласиться и поверить в разумность неизбежных закономерностей, в то, что все имеет свое начало и свой конец, рождаясь и через назначенный срок исчезая, растворяясь в вечности.

Можно согласиться и с тем, что во Вселенной нет ничего бесформенного, ибо, надо полагать, одна форма переходит в другую; стало быть, бесконечности нет — бесконечность не что иное, как слияние форм.

Для нашего сознания нет ничего совершеннее и лучше красоты замкнутого пространства. Любое содержание, любая мысль пытается вылиться в свойственную ей форму, то есть замкнуться в ограниченном пространстве, а не в космической беспредельности, недоступной нашему восприятию.

К примеру, дорога, река, пустыня, созвездия в осеннем небе являют собой форму, которая придает всему сущему обманчивую завершенность и красоту. Форма бывает и безобразной, однако она — тот сосуд, без которого все человеческие мысли, чувства, предметы и вещи растеклись бы в неосязаемое «ничто».

По сравнению с вечностью жизни это — замкнутое пространство в форме движения, красоты, страстей, незавершенных явлений, а люди — покорные слуги их. Только пока еще никому не дано до конца понять, во имя чего существует все это. Во имя чего жизнь и во имя чего смерть. Что это — видоизменение формы материи? Духа? Наказание? Счастье? Мосты для перехода? Или же просто обыденность этого мира, быть может созданного именно так, а не иначе, чтобы не задавать ему «детских» вопросов. Но фальшивый оптимизм, имеющий ответы на все случаи бытия,— это форма ширмы, за которой скрывается сонная и сытая физиономия равнодушия. Тот же, кто пытается почувствовать чужое страдание, как свое, кто готов услышать крик боли и крик о помощи, тот и в грозный час не перестанет искать ответы, выбирая форму зеленой равнины, откуда ближе путь к милосердию.

ПАВЕЛ

Впервые мы увидели ее в холле санатория возле стола для пинг-понга.

Она была в сером свитере, в узкой прямой юбке, ее светлые волосы были коротко подстрижены, она откидывала их со лба после каждого разящего удара ракеткой, при этом темно-серые глаза ее кротко улыбались. В ту послевоенную пору был я студентом, не обходил вниманием ни одну молодую женщину и сразу заметил и эту ее улыбку, и ее сильную, тонкую фигуру, напоминавшую древнюю египетскую статуэтку. И главное, я заметил ее партнера — очень высокого, поразительно хорошо скроенного красавца со статью уверенного в себе человека, почему-то вызвавшего у меня колдовское видение туманного, далекого и студеного Петербурга. Я учился на историческом факультете, не был лишен воображения и, глядя на красавца гиганта, невольно представил сани с медвежьей полостью, мелькающие в морозных кольцах фонари, сыплющуюся изморозь в пролете Невского, над которым накаленно и голо висела январская луна, взвизги полозьев, почти онегинский бобровый воротник на николаевской шинели, покрытой алмазным сверканьем («морозной пылью серебрится...»), и рассеянный снисходительный взгляд кавалергарда.

— Видал, артиллерист, какая пара в нашем доме появилась! Экземпля-ары!..— восхищенно проговорил Павел, мой сосед по палате, бывший полковой разведчик, теперь учитель военного дела в сибирской школе под Иркутском.— Чуешь, какая картинка? Лебеди — да и только! Эк, ежели б не рука, поиграл бы я с нею в пинг-понг!..

В пронзительно синих глазах Павла весело промелькнули отчаянные огоньки; он поправил свой пустой рукав, приколотый английской булавкой к новому офицерскому кителю без погон, и, словно бы потягиваясь, вдохом выпрямил крутую грудь, заслоненную золотым панцирем орденов. А она легко выиграла, спокойно положила ракетку на стол, «кавалергард» с ласковым добродушием усмехнулся ей, набросил пиджак на плечи, и они пошли к выходу, независимые, не замечая никого вокруг.

— Хороша пара, черт ее разбери. Прямо сказка — тысяча и одна ночь. Наверняка молодожены,— сказал Павел и затуманенными глазами проводил их до конца холла.

— Урожденная княгиня Голицына. Урожденный граф Шереметьев,— пошутил я довольно глупо.— Откуда они, эти аристократы? Кто они? Анахронизм.

— Вот именно,— согласился Павел задумчиво.

Помню, мы плохо спали эту ночь, я слышал, как ворочался и дышал Павел, а мне все время представлялась ее безразличная улыбка, прямая спина гимнастки, ее движения возле теннисного стола, не резкие, а плавные взмахи ракеткой, и представлялась нежная усмешка молодого проигравшего партию «кавалергарда», его дорогой пиджак на голубой шелковой подкладке, небрежно наброшенный на плечи. А мой товарищ по палате все длинно вздыхал на своей постели, взбивал кулаком подушку, шуршал одеялом, наконец, спросил негромко:

— Тоже не спишь, что ли? Ясно. Понятно. Небось эта лебедиха в свитере перед глазами?

— Что-то сон не идет,— ответил я, притворно позевывая.

— Угу,— промычал он ядовито и в полумраке сел на постели, пошарил папиросы на тумбочке, заговорил с неожиданной злостью:— Чуешь, паря, что скажу тебе? Не ведаю, почему такое, а со мной иногда дьявольщина случается. Я как красивую бабу увижу, так места себе не нахожу. И глупая мысль покоя не дает: почему она не моя, почему другого целует? Некоторые от анекдота прямо-таки помирают: сотня, мол, жен у султана, и все они, мол, зверски угнетают бедняжку. Согласен принять муку на его месте! Ишак он и слабак турецкий!— Павел возбужденно хохотнул, чиркнул зажигалкой, прикуривая.— До войны я до ужаса баб боялся, краснел, бледнел, потел, слова не мог сказать, если какая из-под ресничек глянет. А в войну началось — вроде черт в душу влез: в госпитале ни одной медсестрички не пропускал, а после войны — вроде совсем с ума сошел, жеребец дундуковый! Женился, а меня все на сторону тянет и тянет, ровно магнитом! Жена, конечно, через полгода к своим родителям убежала, и тут я вконец разгулялся, как кот мартовский. Городок маленький, мужиков и парней нет, а девок-красавиц в каждом доме... Чуешь ты трагизм этого дела? Или нет?

— К чему ты это говоришь, Павел?

— А к тому, что герцогиня эта в свитере как пуля в душу врезалась. Хоть знаю — пустой номер. Осечка получится,— сказал он и упал спиной на постель, затягиваясь папиросой.— Таких у меня еще не было. А знаешь, кто она?

— Кто?

— Не княгиня, не герцогиня, а геологиня. Я у сестричек в регистрации разведку произвел. Геолог она. Можно сказать, землячка. Из Красноярска. Вероника Викторовна. Не замужем. А этот красавец хмырь — не муж. Но вроде жениха. Так я понял ее данные.

— А откуда он?

— Тайна, покрытая шибкой мглой. Пока не разведал. Видать, какой-то непростачковый инженер. В общем, крупняк, судя по внешним данным.

Он замолчал, и в сумраке палаты, налитой снежно-голубоватым отсветом зимней ночи, долго рдел и потухал огонек папиросы.

А на следующий день, когда мы опять встретили ее и его в холле перед обедом, я вдруг увидел, как возле теннисного стола Павел вроде бы мгновенно преобразился, стал тоньше, стройнее в талии, во всем его облике появилось нечто оленье — и гордое, и плавное,— лицо с щегольскими шелковистыми усиками приняло ироническое выражение, смуглый румянец пятнами загорелся на скулах. Он внезапно подхватил с полочки ракетку и смело подошел к «геологине» (она тоже брала ракетку), рыцарским кивком приглашая на партию.

— Разрешите... с вами?— опережая «кавалергарда», проговорил Павел и задорно поиграл ракеткой, глядя в темно-серые, едва успевшие удивиться глаза.— Я позор готов принять. От вас. Готов и не покориться, если повезет. Предупреждаю: играть не умею. А партию с вами хочу...

Она удивленно подняла брови.

— Занятно. Но откуда у вас такая решительность, если вы играть не умеете?

— Давайте, что ли. Одну партию. Поучусь малость.

— Ну что ж. Давайте. Учитесь.— Она равнодушно пожала плечами.

Они начали. Я наблюдал за ними с млеющим в груди холодком, почти не узнавая Павла, а он играл с молчаливой дикой отрешенностью, азартно ударял ракеткой, стараясь гасить, сначала портачил, промахивался, яростно стискивал рот, зло бледнел, пропускал шарики, резко посылаемые ею, безмолвно подхватывал их с пола. Но минут через десять что-то чудодейственно переломилось в игре — он начал работать ракеткой с рассчитанной силой, гибкой ловкостью и быстротой, изумившей меня, и я подумал, что с этим парнем в разведке было бы, пожалуй, надежно. Однако уже в следующую минуту Павел решительно бро-

сил ракетку на стол и, подкидывая и ловя ладонью шарик, упругой походкой подошел к партнерше и, легким наклоном головы изображая светскую учтивость, должно быть, заимствованную из какого-то кинофильма, проговорил ерническим тоном самонадеянного баловня судьбы:

— Очень благодарен. Научили. Но обыгрывать вас не хочу. Очень вы интересная и непонятная женщина. У вас глаза прекрасные, а тепла в них нет. Я таких еще не видел. Благодарю.

— О, как это великодушно! — Она засмеялась, опять пожала плечами.— Научила вас играть, стали меня обыгрывать — и отказались от победы? Изумительно, конечно.

Павел вежливо-холодно показал улыбкой белые до синевы зубы молодого сильного животного, примечательного своей телесной прочностью, атлетически широкой грудью и особенно загадочным сочетанием былого мужества и страдания, о чем напоминал пустой рукав, приколотый к новому кителю.

— Я очень уважаю женщин,— сказал он ровным бесстрастным голосом.— Особенно красивых землячек.

Он без стеснения, без тени неуверенности взял ее руку и, все играя какую-то роль, с театральным наклоном головы поцеловал кончики пальцев.

Она молчала, а губы ее чуть морщились, будто готовые удивленно присвистнуть. Но тут «кавалергард», прищурившись в сторону Павла со снисходительной жалостью, сказал бархатным баритоном:

— Простите, дорогой, вы, вероятно, ошиблись. Здесь нет ваших земляков.

— Во-первых,— проговорил Павел, тонко бледнея,— я ни дорогой, ни дешевый. Свою цену я сам знаю. Во-вторых, я вроде бы пока никого не обидел.

— Совершенно верно,— спокойно ответил «кавалергард».— Пока не обидели (он подчеркнул слово «пока»). Мы вас не задерживаем, дорогой...

— Лично вас я тоже не задерживаю, дешевый...

— Благодарю за комплимент.

— И я тоже: благодарствуйте. Я не на паркетах, а в окопах вошью воспитывался. Поэтому извините уж.

— Извиняю.

— Салют и вальс «На сопках Маньчжурии». Покеда!

Павел невозмутимо посмотрел в глаза «кавалергарда» и вышел из холла, крепкий, гибкий в каждом движении, и я снова представил его надежность в разведке, где он

был хозяином положения, каким, по-видимому, хотел быть и сейчас.

В тот же вечер, вечер субботнего отдыха и танцев, я поразился Павлу вторично, увидев, с какой неотразимой решимостью он пригласил «геологиню» танцевать, как стройно, упруго двигался вместе с ней под звуки радиолы, уверенно охватив одной рукой ее узкую спину. Он что-то говорил, не отводя синеющих глаз от ее вопросительно поднятого к нему лица, а красавец «кавалергард» в ожидании стоял у колонны, скрестив руки на груди, и следил за ними с терпеливым интересом. Я не мог слышать, что говорил ей Павел, мнилось, ласково-иронично, а она, слушая его, все удивленнее изгибала брови, затем со смехом откинула голову, немного отодвинулась, освобождаясь от его дозволенного в этом танце объятия, и он, разочарованно поморщась, повел ее мимо танцующих к колонне, где терпеливо ждал «кавалергард».

— На сегодняшний вечер — осечка,— вполголоса сказал Павел, подходя ко мне и обдавая теплым запахом хорошего одеколона, которым чистоплотно пользовался после тщательного бритья.— Завтра воскресенье, процедур никаких нет — пригласил ее в ресторан, а она взбрыкнула. Назвала меня «очаровательным нахалом из провинции», на что я ей ответил, что жив не буду, а все равно в ресторане хочу с ней посидеть, с землячкой. Ну, сам видишь, чем кончилось. «Перестаньте болтать глупости, иначе я поглупею вместе с вами. Тем более что танцуете вы, как иноходец перед молодой кобылкой. Я ведь не кобылка в конце концов!» М-да!— И Павел вздохнул всей грудью, сузил глаза.— Знаешь, что интересно, скажу тебе. Когда танцевал сейчас с ней, то вроде бы обнял не сильно, как полагается в этом деле, и тут попал прямо в электрическое поле. Горячо стало. Даже в горле пересохло. Это понимаешь или нет?

— Зачем тебе нужно приглашать ее в ресторан?— спросил я с упреком.— Думаешь ее этим удивить? Нет, ты все-таки нарушаешь правила мужского приличия. Забываешь, что она не одна.

— Если придет, значит, все будет как в разведке,— проговорил в раздумье Павел.— Место встречи я ей назначил.

— А она?

— Если придет завтра в парк к мостику, значит, я ей не без интереса. А что до этого «кавалергарда», как ты его

называешь, то пусть хоть на дуэль вызывает. Я готов и на кулаках подраться.

— Что-то тут не так, Павел.

— Все так. Что ж я делать должен, если она меня в узел завязала! Понял? В узел!

— Она тебя завязала? По-моему, ты сам себя завязал.

— Ну, ладно тебе антирелигиозные лекции читать,— оборвал Павел.— Помоги лучше мне насчет интеллигентных разговоров с ней. А то я вроде пугаю ее, как по-фронтовому оглоблей ворочаю.— Он угрюмо нахмурился.— Между прочим, ее испугаешь! И когда молчит, надсмехается, как черт!

— Так как тебе помочь?

— Завтра хочу, чтоб ты со мной пошел. Веселей будет.

— И ты думаешь, она будет тебя ждать у мостика?

— Поглядим, говорю. Я тоже не последний парень на деревне.

Когда вместе с Павлом мы шли по аллее парка, был ясный морозный день, из тех, какие бывают только в Кисловодске. Серебристое сверканье в воздухе, солнечная белизна на деревьях, заснеженные крыши санаториев, холодновато-зимнее бульканье незамерзшего ручья близ тропы, толпы гуляющих около стеклянной галереи в ожидании часа пития нарзана, пустой мостик в центре парка — все это сразу вызвало у меня праздничное настроение погожего январского дня и, главное,— смутной радости оттого, что Вероника Викторовна не пришла к мостику. Но тут я почувствовал укол тревоги, очень четко увидев на аллее среди белого блеска сугробов ее и рядом «кавалергарда», они двигались навстречу нам с другой стороны, приближаясь к мостику через ручей.

Павел ожигающе глянул на меня, лицо его обрело замкнутое, жесткое выражение, и, шагнув навстречу Веронике Викторовне, он сказал твердым голосом убежденного в своей правоте человека:

— Я просил вас лично поговорить со мной, а вы пришли с охраной.

— Слушайте вы, чудак, поймите, я пришла из чистого любопытства, а не потому, что вы неотразимый покоритель женских сердец,— насмешливо заговорила она, и ее опушенные инеем ресницы дрогнули.— Не кажется ли вам, что наше странное знакомство принимает фантастическое направление? Не слишком ли?

— Не слишком,— глухо ответил Павел, точно не сомневаясь ни в чем.— Спасибо. Благодарю.

— За что?

— За то, что пришли.

Она тихонько свистнула, прижала к губам меховую муфту, внимательно разглядывая Павла. А «кавалергард» молчал, плотно вбитый в сибирскую доху, его красивое холеное лицо, брезгливая складка рта как бы подтверждали, что он только из уважения к женщине вынужден сдерживать себя в рамках воспитанности и приличия, терпя этот оскорбляющий слух разговор.

— Ну что ж, пусть так,— после краткого колебания сказала Вероника Викторовна и сухо кивнула «кавалергарду».— Подожди меня, Всеволод, в санатории. Все это очень любопытно.

— Хорошо, я буду ждать,— послушно проговорил «кавалергард», глядя на Павла со спокойной ненавистью.

И по этой фразе я понял, что она сильнее его, а он, величественный, сдержанный, покорен ей, подчинен, предан, и неприятное чувство, будто вместе с Павлом я становлюсь участником несправедливого заговора, покоробило меня.

Помню, в ресторане, совершенно безлюдном в этот дневной час, необычно просторном, с высоким потолком, стыл ледниковый холод, ощутимо дующий по белым скатертям, по снежным пирамидам белых салфеток, по стеклу сиротливых бокалов на столиках; и здесь, когда разделись в пустом же и холодном гардеробе, вошли в зал, Павел весело огляделся и, барственным жестом завсегдатая призывая официанта, восклицательным знаком возникшего из-за портьеры, сказал мне с лихим удовлетворением:

— Эх, и гульнем мы сейчас, как после везучего поиска!

Официант с округлыми белесыми щеками поспешно проводил нас в центр зала, который подобен был арене цирка, к столику, стоявшему на возвышении и, вероятно, из особого уважения предложенному Павлу при виде его орденов. Я же заметил под шелковистыми усиками Павла одобрительную ухмылку; он вежливо отодвинул стул, приглашая Веронику Викторовну сесть, сказал:

— Я прошу вас быть вроде бы у меня в гостях. А застольем разрешите командовать мне.

Вероника Викторовна поправила воротник свитера, выпрямила спину.

— Постараюсь поудачнее сыграть роль гостьи, но о чем мы с вами будем говорить? Павел, Павел... простите, не знаю вашего отчества...

— Павел Алексеевич. На фронте друзья звали меня Павлуша. Мне это нравилось. Что вы будете есть? Что бу-

дете пить? Коньяк или шампанское? Приказывайте, теперь всё в нашей власти. Возьмите меню.

Она взяла меню и, не взглянув, отложила его.

— Представьте, я не пью ни коньяк, ни водку. Шампанское терпеть не могу. Что буду есть? Съем один мандарин. Я сыта. Так о чем мы будем с вами говорить, Павел... Павел Алексеевич?

— Погодите! — с тихой властностью остановил Павел, обволакивая ее синевой глаз, и, откинувшись на спинку стула, подозвал официанта, торопливо подошедшего с почтительно вопрошающим взором.— Так что же, друг, выходит, мы в ресторане одни и чаевых, и заработка нет?— заговорил он дружелюбно, как с давним знакомым.— Ясно и понятно. Что ж, постараемся выручить тебя, друг сердешный. Шашлычок найдется в этом заведении? (Официант чуть опустил брови.) Прекрасно. Суп харчо? (Опять движение бровей.) Замечательно. Ну, к этому все остальное. Травки-муравки всякие. По-русски и по-кавказски. Как в лучших домах Берлина. А главное вот что! — Павел немного подумал, окидывая взглядом огромный пустынный зал, и артистично щелкнул пальцами.— А главное вот что, дружок. Две бутылки коньяку. Самого марочного, лучшего. Ясно? И пять бутылок шампанского, если не жалко. Ясно, дружочек-пастушочек? Быстрота учитывается в ведомости и без нее. О'кей!

— Не чересчур ли? — заметила Вероника Викторовна, ее влажные от растаявшего инея ресницы смешливо подрагивали.— Неужели для одной гостьи вы устраиваете такой роскошный пир? Смотрите, Павел Алексеевич, не хватит чем расплатиться, наберетесь позора перед всем миром.

— Нам не страшен серый волк,— беспечно сказал Павел и, должно быть вступая в крупную игру, опять превесело обратился к официанту, невозмутимо чиркающему карандашиком в блокноте: — Поправку, дружок, на ходу сделай. Три бутылки коньяку. И десять бутылок шампанского. И все тащи сразу, чтоб стоял боезапас на страх врагам и русский глаз радовал. Считай, что в твоем ресторане мы свадьбу играем. А друзья, они, может, еще подойдут. Давай работай, кореш, да на полусогнутых, чтоб скорость была, как в полковой разведке перед наступлением! Ясно? Повторять не надо?

Павел отдал это приказание с выработанной военной четкостью, исключая тоном голоса всякую лишнюю сейчас шутку, и я отметил, что он умеет отлично владеть собой.

И подумав об этом, увидел уже знакомое выражение вопросительной насмешки в глазах Вероники Викторовны. Она спросила:

— Скажите, Павел, кто вы такой? Купец-миллионер? Мот? Сочинитель научно-фантастических романов?

— Вопрос ваш понял. Даю настройку: раз, два, три. Прием,— мгновенно перешел на иронию Павел и, наклонясь к ней, заговорил с ласковой непринужденностью:— Кто я такой? Отвечаю по пунктам анкеты. В гражданской войне не участвовал. В оппозиции не был. Участвовал, однако, в Отечественной. Бывший полковой разведчик, взявший тринадцать «языков». Звание — гвардии лейтенант. Трижды ранен. Войну кончил на Одере. Двадцать шесть лет. Место жительства — Красноярский край. Холост. Ищу подругу жизни. Такую же красивую, как вы. С такими же глазами «дикой серны», как в песне поется, с такой же фигурой, в таком же сером свитере, как у вас.

— Да, да,— проговорила Вероника Викторовна, изображая гримаской шутливую грусть.— Застенчивость вам не угрожает. Впрочем, тринадцать «языков»... Тринадцать — несчастливая цифра, цифра смерти.

— Ерунда!— жарко возразил Павел.— Тринадцать — моя любимая цифра. И служил я в тринадцатой дивизии. Кому как, а мне эта цифра наподобие счастья. А что?— заговорил Павел с нарочитым вызовом.— Я парень, в общем-то, везучий, серьезный, смелый, идите за меня замуж, Вероника, не пожалеете! Уж я-то вас никому в обиду не дам! Как у господина Христа за пазухой... Будем жить хорошо, детей нарожаем штук шесть, нянчить вместе будем. До самой смерти не изменю...

— О, силы небесные!— воскликнула Вероника Викторовна и даже сложила молитвенно ладони под подбородком.— Вы предлагаете мне руку и сердце?

— А почему не верите?— нестеснительно-дерзко выговорил Павел.

— И я вам нарожаю детей шесть штук и буду стирать пеленки и печь пироги?— продолжала Вероника Викторовна оживленно и потянула бледно накрашенными ногтями папиросу из коробки Павла.— И так мы будем жить с вами счастливо, радостно, патриархально? Изо дня в день? До самой смерти?

— Я беречь и жалеть вас буду,— сказал Павел и предупредительно чиркнул зажигалкой.— Я парень хороший. Вам спокойно со мной будет. Только вот,— он помедлил, добавил неодобрительно:— Только вот: курить вам не

разрешил бы. Не женское ведь дело. Не люблю, когда женщины курят.

— Это, пожалуй, надобно учесть.— Она опустила глаза, прикуривая от зажигалки Павла, ее, казалось, невинно-нежные земляничные губы выпустили дым и изогнулись в не сдержанной ею улыбке.— Значит, так: пеленки, агусеньки, шесть штук малюток, которых надо вместе с вами нянчить в полной любви и радости. Какая чудесная идиллия, Павел Алексеевич, дорогой мой нежданный жених!

— Почему смеетесь?— насторожился Павел и тотчас замолчал, строго следя за белесым официантом, который с перегруженным подносом, осторожно ступая, возник перед столом, не совсем уверенно расставляя закуски, бутылки коньяка и бутылки шампанского.— Ну, что застеснялся, друг? Жестикулируй, как положено!— поторопил Павел командирским голосом.— Сколько тебе заказывали шампанского? Десять бутылок? Принеси тринадцать! Учел? Чертову дюжину, на счастье. Одну нам на стол, остальные вон туда — на соседний, все расставь, чтобы красиво было! Почему смеетесь?— повторил он, поворачиваясь к Веронике Викторовне, упорно заглядывая ей в глаза.— Какая еще такая идиллия?

Она закинула ногу на ногу, чуть отклонилась на стуле, ее грудь так полновесно обозначилась под свитером, что скулы Павла покрылись смуглым румянцем.

— Слушайте, Павел, сколько вы получаете, если не секрет?

— До семисот рублей,— ответил он и с беззаботным ухарством заговорил:— А что? Не хватит? Заработать всегда можно! В Сибири да не прокормиться? Одной охотой и рыбой проживем. Со мной ничего бояться не надо! Я ведь парень-ежик!..

Она вздохнула с печальным сожалением.

— Какой вы все-таки наивняк, парень-ежик, в голенище ножик. Так, кажется, в частушке? Я ничуть не сомневаюсь, что вы прекрасный охотник и рыболов. Но я работаю в геологическом управлении и получаю в два раза больше, чем вы. Кто же в семье будет править? Вы? Нет, не вы. Поймите, Павел, женщина всегда должна чувствовать превосходство мужчины во всем. Представьте, как будет задето ваше самолюбие с непослушной женой, которая и детей народить вам не захочет.

— А вы командуйте, рад буду, ежели умно сумеете,— ответил огорченно Павел, налил нетвердой рукой в бокал шампанского, пододвинул бокал к Веронике Викторовне,

затем разлил коньяк в рюмки и в раздумье подмигнул мне, как бы призывая к дружескому участию: — Что ж, за здоровье моей невесты, которая не хочет хорошей женой быть хорошему мужу. А напрасно вы! — сказал он неожиданно страстно, и темный румянец ярче загорелся на его скулах.— На загляденье была бы пара! Напрасно вы, ей-богу!..

С надеждой хоть чуточку согреться я выпил рюмку, но коньяк не согрел меня, ледяной холод волнами стлался по гигантскому залу, где, кроме нас, по-прежнему не было ни души и в огромные, от пола до потолка окна, сплошь заросшие инеем, пусто светило январское солнце, отчего было еще холоднее. Меня пробирала дрожь и от этого пустынного ресторанного ледника, и от этого нелепого и мучительного разговора, который уже недозволенно переходил какую-то хрупкую грань, принятую в общении между почти незнакомыми людьми.

И эта отчаянная искренность Павла, не признающего никаких условностей, его наивная страстность, по всей видимости забавлявшая Веронику Викторовну, были неприятны мне как опасное препятствие, которое не в силах был преодолеть влюбчивый Павел, готовый не шутя подчиниться вот этому вздернутому носику, этим безмятежно смеющимся глазам загадочной геологини.

— Хор-рошая была бы пара! — повторил Павел с азартом и, наклонив голову, бережно взял руку Вероники Викторовны, подержал на своей лопатообразной ладони, подобно драгоценности, вполголоса спросил: — Разрешите поцеловать?

Она легонько потянула кисть из его ладони, взглянула искоса.

— Зачем? К чему еще эта сентиментальность?

— А может, я вас с первого разу полюбил, как увидел только. Может, всю жизнь вас искал. Бывает такое? — снова хрипло сказал Павел.— Бывает или нет?

— В жизни бывает все,— ответила она безразлично и, вздрагивая плечами, оглядела зал.— Даже то, что мы зачем-то сидим на этом северном полюсе и вы говорите мне что-то совсем ненужное, лишнее. Это тоже входит в разряд «бывает». Дорогой мой жених, о чем мы с вами будем говорить, если станем мужем и женой? Мы со скуки умрем оба!

— Со скуки? Это как же? — горячо встрепенулся Павел.— Да ежели бы вы... Да я на руках бы вас носил, как ребенка! Зацеловал бы вас, заласкал бы! Разве вы за-

скучали бы? И говорун я большой, сказки и байки всякие знаю!

— Вы не сможете носить меня на руках. И я не люблю, когда меня целуют,— с еле заметной неприязнью быстро проговорила она, опуская глаза, и отвернулась.— Послушайте, Павел,— поспешно сказала она, уже поправляясь и смягчая случайно вырвавшуюся фразу,— поймите же наконец... Я не гожусь вам в жены. Если я не убегу от вас после первой брачной ночи, то вы сами прогоните меня на второй день. Я не для вас, поймите! Ну, пора, кажется. Хватит. Мне надо идти.

Она встала, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

— Пон-нятно! — с прежней неудержимой и уже страшноватой веселостью отчетливо выговорил Павел, и смуглость сошла с его лица.— Понял отлично! Не могу носить вас на руках, Вероника Викторовна, потому что конечность у меня одна. Единственная. Но она четырех рук стоит!

— Павел Алексеевич...

— И она умеет делать все. Все!..

И он, скривив губы, изо всей силы ударил кулаком по столу, отчего со звоном подпрыгнули тарелки, стукнулись друг о друга бутылки, и стремительно встал, одергивая китель.

— Я готов вас проводить, Вероника Викторовна,— охрипшим голосом произнес он и, рывком вынув портмоне, бросил его на стол, жестко приказал мне:— Расплатись за свадьбу. С чаевыми. Встретимся в палате.

Она, по-прежнему спокойно улыбаясь, тонкая, изящная, торопливо пошла к выходу. Он — за ней следом.

...Когда сейчас, много лет спустя, я вспоминаю о том январском дне в промерзлом ресторане, вызывавшем ознобную дрожь, и о том безумном, обреченном объяснении Павла в любви, я не могу толком объяснить себе, что же это было. Попытка самоутверждения? Неодолимая страсть? Физическое влечение? Или, быть может, ревность к красавцу «кавалергарду», самолюбивое соперничество, где Павел хотел стать хозяином положения?

А тогда, пробродив часа два в одиночестве по горным тропам терренкура, я вернулся в санаторий. В голубых сумерках весь корпус светился окнами, был освещен и вестибюль, и лестница, но везде было еще по-воскресному пусто. Думая о Павле, я поднялся на четвертый этаж и по вытертому ковру длинного коридора заспешил в конец его, где за поворотом была наша палата. Я повернул за

угол коридора — и тут же, ошеломленный, остановился, увидев у стены Павла. Он непрочно стоял на ногах, боком ко мне, стиснув оскаленные зубы, закрыв глаза, пьяный, как показалось, и с глухими всхлипами, будто сумасшедший, ударялся виском о стену. Я бросился к нему, обнял за плечи, но Павел злобно оттолкнул меня, отворачивая лицо, залитое слезами, трезвое, страшное, выхрипнул горлом:

— Дурак я подколодный, трус свистулечный, идиот черный! Сволочь инвалидная!.. А ты за мной, артиллерист, не ходи, сам справлюсь!..— крикнул он в бешенстве, бросил мне ключ от палаты и, с неистовством вытирая кулаком мокрые щеки, твердо и решительно зашагал назад по коридору, в сторону лестницы.

Пришел он только в двенадцатом часу ночи. Я не спал. В палате горел свет. Молча раздеваясь, он глянул на меня погасшими глазами, затем лег на спину, после долгого молчания сказал:

— Надоели мне эти санаторные игры. Завтра уезжаю к чертовой матери. Всё. Авось больше не увидимся. Ты в столицах, я в провинции. Как на разных фронтах. А лебединой паре — от меня горячий привет и исключительные извинения. Устроил я им сейчас тарарам, дал шороху, пусть помнят бывших полковых разведчиков.

— Что ты там наделал, Павел?

— А ничего такого,— сказал он наигранно лениво.— Что ж, постучал вежливо, как положено, не ногой, а пальчиком, зашел к ней в палату, а они сидят, разговаривают. Я говорю «извиняюсь», поднял ее с дивана, взял на одну руку, прижал соответственно, чтобы не брыкалась, и понес по коридору, а этот красавец сзади шастает, вперед забегает, ума не приложит, что делать, и хулиганом, и дураком меня обзывает. Смех и грех!

— А потом что?

— Потом? Донес ее по лестнице до дежурной сестры в вестибюле, посадил к ней на стол, говорю: «Вот моя землячка желала, чтоб я ее на руках поносил. Приказание исполнил». А она сидит на столе и не то плачет, не то смеется от злобы: «Дикарь, нелепый дикарь!» И тут этот «кавалергард» петухом лезет ко мне с ругательными выражениями: «Глупец, дурак, нахал! Я вас в окно выброшу!» Ну, врезал я ему немножко, чтобы остудить с оконными фантазиями.

— Врезал?

— Немножко, говорю. Не до крови. Размазня он, хоть и плечи и рост. Ладно. Конец. Давай спать, артиллерист. Говорить о них больше не хочу. Всё. Спать!

Больше Павел не сказал ни слова, а ранним утром уехал, хмуро простившись со мной; больше мы уже с ним не встречались никогда.

И только сейчас я понимаю, что он был одним из моего поколения, кто пытался и после войны сохранить свое положение хозяина в любых обстоятельствах, еще не сознавая, что его звездные часы безвозвратно остановились в поверженном Берлине и уже не повторятся.

ГОЛОСА

Осень, холодный, водянистый воздух. В сумерках сидели на террасе с открытой дверью в сад, парок шел из носика чайника, каплями запотевали ближние стекла. В раскрытую дверь было видно, как низкие тучи разорванно неслись над шумящими вершинами сада, как сквозь черные сучья месяц зеркально сиял в светлом дыму. Время от времени опахивало горьковато-терпкой свежестью октябрьского вечера. И этот шум ветра в березах, и ослепительный осенний месяц над садом, и запах холода непонятной чудодейственной силой перенесли меня в другой вечер, бывший когда-то в другом неправдоподобном мире, на берегу уральской реки, в избе, пропахшей духом жаркого самовара, горячей ухи, кислой овчины, остывшего пороха от плащей и курток, брошенных в сенях, и явственно услышал я несуществующие уже голоса:

— В кугах он сидит, селезень-то. Пора знать, рыбарь галилейский.

— Ну, селезень, какая невидаль! Днем глухарь и тетерев прячутся на лесных ручьях. Под корневища забираются и дремлют, как в шалаше. К ручью, бывало, напиться подойдешь, а он — фр-р-р, и, родимый, полетел с глаз долой.

— Глухарь — это не пальник, тетерев то есть. Тетерев пуглив. А глухарь и днем из чащобы на отмели летит, пасется, речную гальку глотает. Для пищеварения, можно сказать.

— А вы сома живого видели, нет? Красивый, верно? Царь омутов...

— Я тебе про водоплавающую дичь, а ты мне про глухаря да пальника вкручиваешь. Сома еще вспомнил ни к селу ни к городу. Лучше утиной охоты ничего нет.

— Ты пого-одь, пого-одь! А заяц осенью, в октябре, лежит по чернотропью, в борозде, например...

— Кобылка наша воды обпилась с жару, на ноги села, не доехали мы до озера.

— Я и говорю: утка тучей садится на речных плесах, но там берега открытые — дуриком не подойдешь. Болотная утка — она днем на реке, а ночью летит на озера, в грязи возится. А речная ночью летит на просо, на хлеба, поздно летит, когда солнце уже зашло. Лицом к закату станешь — видно, как летит. На вкус хороша речная-то. А летят они со свистом крыльев, молнией, стрелой, бить влет надо точно. Чирок, он сто пятьдесят километров в час дает, кряква — до ста двадцати.

— Одиннадцать вожжей связывали, в омут опускали — дна нет. Сомовье место, вроде заколдованное. А сомы наши по мелководью к коровам на водопое подкатывались и в полдень молоко, ровно младенцы, сосали. Приходит домой корова, а вымя пустое. Рыбина умная, хитрая. Раз возле омута посадил на жерлицу лягушку, а она, сволочь, шуму наделала, орать стала, как на свадьбе.

— А я прошлым ноябрем вырубал сети изо льда, по закраинкам застекленело, сильно намерзло, устал, как сатана, и упал в воду. Маленько простудился, закашлял...

— Что, водки, что ль, не было для сугреву?

— Не пью я.

— Какой ты рыбак! Непьющий — ни рыбак, ни охотник?

— Вытащил я сети, первые — все порваны, прямо на ура, а вторые — ничего. У щуки сеть меж зубов проваливается, перегрызть никак не может. А насчет этого самого сугреву был такой случай: поехал со мной на озера деятель один. Любовался птичками, стрекозами, облачками — и все к фляжке: буль-буль-буль. Потом смотрю: ползает на четвереньках и то и дело рукой нацеливается, никак кузнечиков ловит, и все вскрикивает: «Ага, не ускачешь, ишь ты, прыткая!» Чего оказывается? Челюсть у него вставная выпала после прикладывания, вот он ее в траве и ловил.

— Хо-хо, это не рыбак, а рыбарь. Громадный ученый!

— Береза только на ветру шумит. А осина разговаривает, хоть и ветра нет, а она шепчется. Такой, видать, характер природой даден.

— А скворец — слышали? Скрипу телеги подражает, петухом кричит. Артист он тоже природный, забавный очень.

— А то еще бывает: двое культурных — муж и жена, сидят в саду на скамейке, а в открытом окне соседа пианино с очень большим чувством играет. Жена на звезды смотрит, слушает, а муж про это дело соображает, отчего челюсти выпадают. Жена и спрашивает: «Ты чего это, Ваня, молчишь? Не слышишь, какая прелесть?» А он: «Черт его знает, чего это он там тренькает на балалайке?»

— Особо люблю я на рассвете соловьев слушать, несравнимое дело! Сидишь в лодке, свежо, парок над рекой, а небо розовеет, вода под днищем ласково так, тихонечко шлюпает, а они, мерзавцы, на берегу начинают греметь, хулиганить, соревнование устраивать во всю ивановскую. Солнца ждут. Они гремят, шумят, а самочки в ответ нежно так, еле слышно: пи-пи, пи-пи.

— Для какой стати это ты про соловьев-хулиганов? Пустой интерес. Да и все вы про чушь говорите. Сидеть с вами совестно.

— Подожди, дед, дай дорассказать. Это когда я на Дальнем Востоке... Поймали акулу, в сетях запуталась хищница, двести пятьдесят шесть килограммов в ней оказалось, когда взвесили. А в зубах у нее огромный окунище был зажат. И вот один молодой паренек увидел это и, видать, ради изучения решил вынуть его. Засунул руку, а акула чуть-чуть сжала зубы и мясо, как чулок, сняла с указательного и среднего пальца у паренька. А ведь часа два с половиной прошло, как вытащили ее. В три ряда зубы у нее, острее бритвы. А дальневосточный краб — величиной вот с эту тарелку. Злится он, когда ему на зад нажмешь. Правой клешней так красный карандаш и перерубает. Вот сила! Зверь!

— А восьминога видел на Дальнем Востоке?

— Приходилось. Этот кровь жертвы сразу через присоски берет. Тоже зверь неприятный.

— Совестно слушать! Чушь! Слоноводное, значит, в наших лесах раньше произрастало и попадалось...

— Опять, дед? Чего ты мелешь?

— Как чего? Зверя такая была прежде. Вроде теперешнего быка... или козла. Копыта и роги были очень сильные. Ежели копытом саданет, наскрозь волка или какую другую хищную животную пронзает. А то на рог подденет, вроде бублика, и вертит, вертит. Сурьезный зверь. Быва-

лыча, жиканом в молодости я его брал. Эдак утром идешь по лесу на лыжах, а он тебе навстречу из чащи выскакивает, глаза огнем горят, из ноздрей пар. Ружье навскид, р-раз, он — брык, и все дела. Все, что мелькнуло, то мое!..

— Ну, что уж, мои матушки! Опять брешет мой старик! Да ты же ружья-то охотного никогда в руках не держал, а про лыжи-то чего такое плетешь!

— Мать, не забижай словами, ты мою биографию плохо знаешь. Охотник я был хороший, когда в парнях ходил, а как тебя в жены взял — прощай свободушка, воля! Ведь почему я охоту бросил? А вот по какой причине. Шел лесом одним прекрасным утром и вдруг вижу в березняке телка, лосиха убитая, а рядом лосеночек, тоже раненый, стоит на коленях перед своей матушкой, голову опустил, и — верите или нет? — слезы у него из глаз так и текут, так и текут по мордочке. И — как отрезало: ружье соседу продал, а себе в упор сказал: «Убивать животную вредно».

— Опять брешешь, старик. Сочинитель ты у меня, горе ты мое! Да вы все горазды...

Я до того внятно слышу эти голоса, что разговор этот, кажется, происходит не в ту ушедшую в вечность осень на Урале, а сейчас, и кажется, что лежу я на протопленной печке, прикрытый тулупом, в избе на берегу живописнейшей благословенной реки, от которой осталось теперь одно лишь название, и вижу за столом при свете керосиновой лампы молодые, раздобревшие, раскрасневшиеся лица незнакомых людей, пришедших к нам на ночлег, вижу черные, запотевшие оконца, с наслаждением чувствую пар и запах самовара, разваренной рыбы, водки, дикого пера, еще мокрых сапог, поставленных сушиться под печью, вижу дедушку, который держит горячую чашку на заскорузлой ладони, дует шумно, при каждом глотке с удивлением подымая седые лохматые брови, и так громко, истово откусывает от кусочка сахара, что я невольно зажмуриваюсь, а бабушка, шутница и спорщица, с озорным возмущением смеется, взмахивает руками, хлопает себя по бокам и восклицает: «Да что уж, мои матушки, разве можно так, старый, людей пугать?»

Голоса наплывали из тьмы лет, из незабытого моего уральского детства, вызывая то веселое миролюбие, то спокойную радость, то восторг, и сейчас в этот осенний вечер моей жизни я понимал, что переживал тогда мальчиком счастливую общность как бы всего человечества, мужскую верность родственного объединения разных людей за сы-

тым столом, в тепле, уюте, доброжелательстве, чувство, которое появлялось только на войне после удачного боя, но позже не повторялось уже никогда.

НИКАКИЕ

Неужели его известное имя не удержится в памяти потомков?

Если же спросить, каковы его открытия в экономике, науке или литературе, каковы его гражданские поступки, каков он во всех смыслах, то ответим, глаза потупив смиренно: он ежедневно безукоризненно опрятен, чистоплотно выбрит, в своей речи тих, обходителен, даже ласково-серьезен. Весь он — едва заметная улыбка, заученное мягкое пожатие руки, тщательный, слегка влажный зачес, аккуратно застегнутый на среднюю пуговицу костюм, скромный галстук, готовые обтекаемые фразы на высокой трибуне и в кулуарах, приятные, сделанные годами и усилиями морщинки в уголках глаз и очень маленький рот (и глаза, и рот не устают быть рисунком доброты, выдающие, однако, гастронома), умелое молчание, чаще всего — значительное, глубокомысленные фразы вполголоса: «подумаем», «надо подумать», «это следует обсудить», «посоветоваться» — слова эти вежливо обещают простакам все и, в сущности, ничего. Вместе с тем серьезных решений никогда не принимает, так как чрезвычайно осторожен, к тому же тайно и разрушительно завистлив к талантам. Но уважаемый этот муж пока удовлетворяет весьма многих, ибо неопасен и весь бесцветен, вернее — никакой.

Никакие — это привратники гибели всех надежд, что еще остались в человечестве; бескровными и алчными руками ничтожеств мостится дорога в никуда...

ЧУДО

Кто может объяснить, каким образом рождается поэзия самой поэзии?

Можно говорить о ритме, рифме, единственном «золотом» эпитете, о «серебряном» парадоксе, о неожиданном алогизме, однако не это рождает чудо. Чудодейство, наверное, исходит от того умонастроения, от того чувства печали и надежды, которое разлито по всей вещи и насыщает собой каждое слово художника, забывшего назвать себя талантом.

Так или иначе, остается неразгаданной поэтическая тайна, красота и прелесть непревзойденного шедевра мировой литературы «Слова о полку Игореве».

МОКРАЯ МОНЕТА

Ностальгия — это чувственная память прожитого, молодой поры жизни, это возвращение к себе, к истокам, к чистоте, может быть, даже тщетная погоня за самим собою в ожидании не такого уж далекого прощания со всем сущим.

Обычно болезнь эта возникает после сорока пяти лет, особенно обостряется после пятидесяти.

Что же приносит настоящее блаженство — путь через разум к ощущению или через ощущение к разуму?

Возвращаясь к прошлому, я хорошо сознавал и чувствовал, что невозможно в жизни повторить самого себя и одновременно то, что прошло солнечным светом в годы незабвенные.

Но воспоминание о мокрой монете, пятикопеечной сдаче, когда знойным июльским днем, ожидая увидеть в тени аллеи мельканье ее легонького платья, я покупал стакан холодной, колющей в нос газировки под душными от жары акациями Парка культуры, приносит мне счастье довоенной поры.

ЗАПОВЕДИ

Не раз приходилось слышать, что талантливые люди — счастливцы, что их работа и жизнь — бесконечное наслаждение, веселый праздник славы.

Знаю ли я, как пишутся книги? Пусть и для самонадеянной науки это останется тайной, которую не нужно разрушать и самому писателю честолюбивыми объяснениями. В студенческие годы я слышал умную притчу о сороконожке, притчу, как бы охраняющую все «секреты» всякого творческого движения, зарождение которого невидимо постороннему глазу. Однажды любознательные мужи науки спросили сороконожку, что она думает, что чувствует, когда двигает тридцать девятой левой ножкой и двадцать седьмой правой. И что же она? Бедная задумалась — и перестала ползти.

Не самое ли насущное, духовное, неистребимое в нас —

это потребность в труде? Гомо фабер, не делающий ничего полезного,— никчемное растение, дикий вьюн, бессмысленно обвивающий древо жизни. Поэтому так называемое творчество серьезного писателя — нескончаемая работа, без воскресных удовольствий и развлечений. Это неосвобожденность от самого себя, угрызение совести, неудовлетворение, бессилие, разочарование, отчаяние, короткая, как вспышка, радость, похожая на обман, и снова бесконечная погоня за почти неосуществимым и неуловимым, что есть память об этой жизни в слове.

И часто, когда бывает тяжеловато, я мысленно повторяю две заповеди, пришедшие мне в голову после сорока пяти лет: «Не проси у судьбы легкокрылых удач, а проси побольше сил, чтобы преодолеть все тяготы», «Не думай о том, что вознаградят тебя с почестями, а думай о том, как вознаградишь ты других в меру своих способностей».

Эти заповеди действенны только в зрелые годы.

1985—1987

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.

Б81 Игра: Роман; Мгновения: Миниатюры.— М.: Худож. лит., 1987.— 287 с.

В книгу входит новый роман Бондарева «Игра», своей проблематикой тесно связанный с его предыдущими романами о современной творческой интеллигенции («Берег, «Выбор»). Обращаясь к судьбе кинорежиссера Крымова, автор вновь поднимает многие из вечных вопросов бытия. Это раздумья о добре и зле, правде и лжи, любви и смерти, о необходимости уметь различать нравственные ценности, истинные и фальшивые.

Философски насыщенны, емки по содержанию и включенные в книгу новые миниатюры цикла «Мгновения», начатого писателем еще в 70-е годы.

Б $\frac{4702010200\text{-}337}{028(01)\text{-}87}$ 46-88 ББК 84Р7

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

ИГРА

Роман

МГНОВЕНИЯ

Миниатюры

Редактор В. Борисова

Художественный редактор Т. Самигулин

Технический редактор Г. Моисеева

Корректор Г. Ганапольская

ИБ № 5185

Сдано в набор 16.01.87. Подписано в печать 24.07.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12. Уч.-изд. л. 16,27. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-2755. Заказ № 810. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

1 р. 40 к.


ЮРИЙ БОНДАРЕВ